



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были поданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

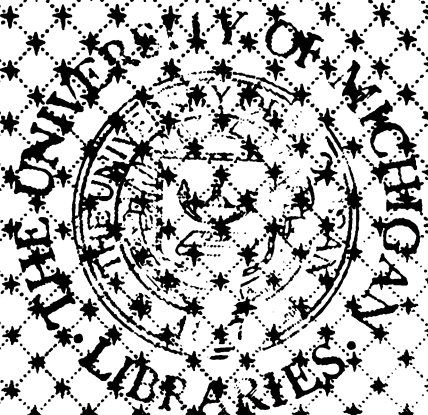
Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

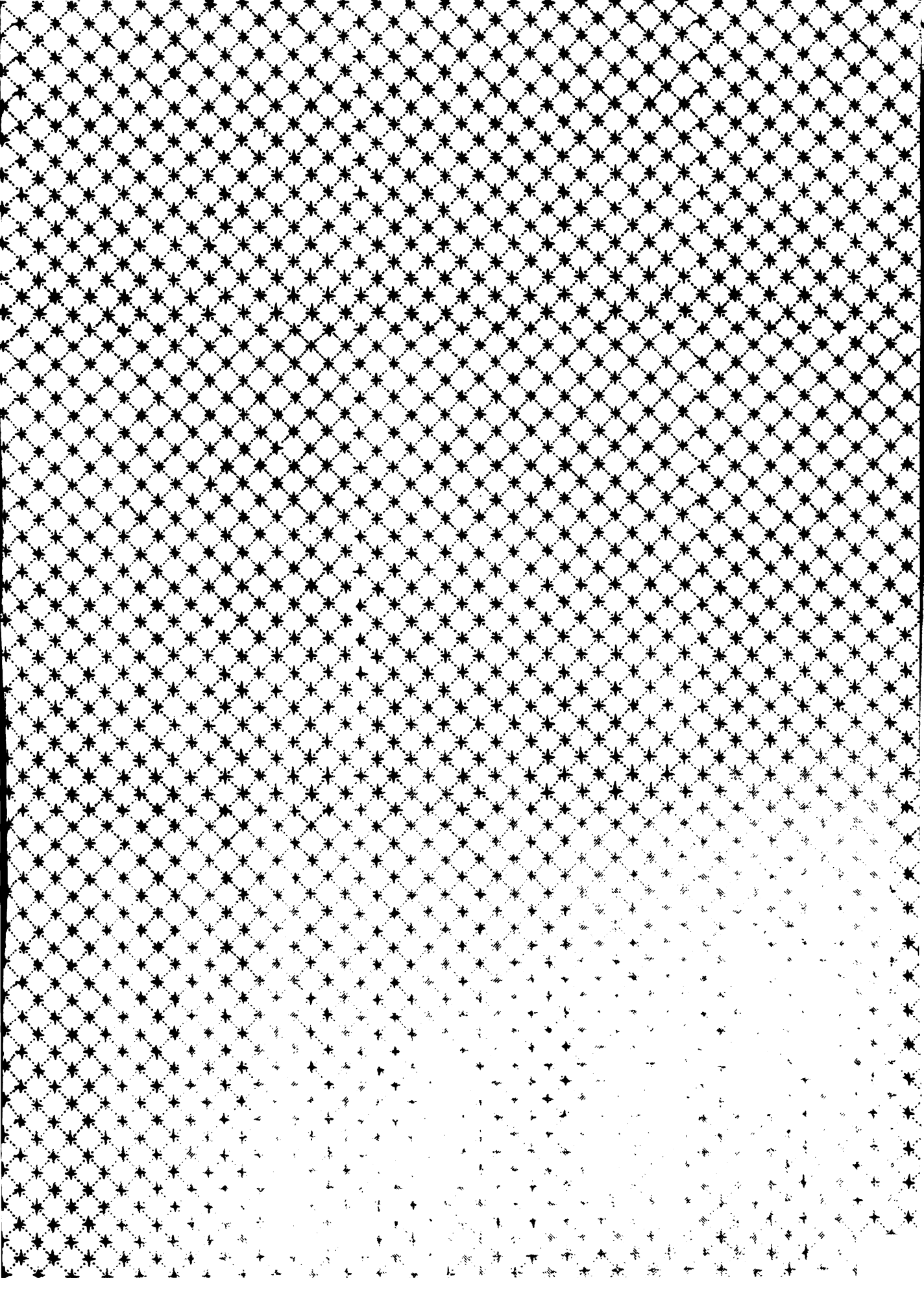
Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>





Lermontov, M.

М. Ю. Лермонтовъ.

СОЧИНЕНІЯ.

Нѣтъ, я не Байронъ, я другой,
Еще невѣдомый избранникъ—
Какъ онъ, гонимый міромъ странникъ,
Но только съ русскою душой.
Я раньше началъ, кончу рать,
Мой умъ не много совершитъ;

Въ душѣ моей, какъ въ океанѣ,
Надеждъ разбитыхъ грузъ лежатъ.
Кто можетъ, океанъ утѣмля,
Твоемъ извѣдать тайны? Кто
Толпѣ моя расскажетъ думы?
Я или Богъ,—или никто!..

Рисунки художниковъ:

И. К. Айвазовскаго, В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, М. А. Врубеля, Е. Е. Волнова, Н. Н. Дубовскаго, С. В. Иванова, К. А. Коровина,
В. К. Мейера, В. Е. Мамонтова, В. Д. Полтынова, Л. О. Пастернака, И. Е. Рѣпина, К. А. Савицкаго, В. А. Стрѣлова, К. А. Трутовскаго,
И. И. Шишкина.

ТОМЪ II.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНІЕ

Т-ва И. И. КУШНЕРЕВЪ и К^о и книжнаго магазина П. И. ПРИИШНИКОВА.

МОСКВА.

Типо-литографія Высочайше утвержден. Т-ва И. И. Кушнеревъ и К^о,
Пискаревская улица, собственн. домъ.

1891.



GRAD/Buhr

891.78

L6

1891

v.2

Клише рисунковъ изготовлены въ цинкографическихъ мастерскихъ въ Парижѣ у Башета, въ Мюнхенѣ у Мейзенбаха, въ Петербургѣ у Яблонскаго и въ Москвѣ у Ренара.

Фототипія изготовлены въ собственной мастерской Т-ва И. Н. Кушнеревъ и К^о.

G.L.
614-3519
RUS
6-14-90
A00.006.

ОГЛАВЛЕНИЕ II ТОМА.

Демонъ	3	Герой нашего времени (продолженіе).	
Мцыри	20	Княжна Мери	137
Бѣглець	32	Фаталистъ	182
Казначейша	36	Ашикъ Керибъ. Турецкая сказка	189
Бояринъ Орша	47	Отрывокъ изъ начатой повѣсти	195
Измаиль Бей	62	Другой отрывокъ изъ начатой повѣсти	204
Хаджи Абрекъ	92	Примѣчанія къ II тому	207
Герой нашего времени	98	Демонъ	209
Баба	99	Мцыри	215
Максимъ Максимычъ	121	Бѣглець, Бояринъ Орша	217
Таманъ	130	Герой нашего времени	218



ОПИСАНІЕ РИСУНКОВЪ.

	Стр.		Стр.
Д Е М О Н Ъ.			
„Я тотъ, которому внимала“ (къ 12 стр.) (Фототипія). В. Д. Полтнова	1	Спускаться началъ“. Л. О. Паотернака . . .	25
„И надъ вершинами Кавказа Изгнанникъ рая пролеталъ“... М. А. Врубеля	3	„Держа кувшинъ надъ головой, Грузинка узкою тропой Сходила къ берегу...“ Н. Н. Дубовскаго .	26
„Верблюды съ ужасомъ глядѣли“... Его же	6	„И грызъ сырую грудь земли“. Л. О. Па- отернака.	27
„Несется конь быстрѣ лани“... Его же..	7	„И съ этой мыслью я засну, И никого не проклянута!“ Н. Н. Дубовскаго .	31
„Не плачь дитя, не плачь напрасно“ (Фо- тотипія). Его же	8	Б Ъ Г Л Е Ц Ъ.	
„И передъ утромъ сонъ желанный Глаза усталые смежилъ“ (Фототипія). В. А. Сѣрова	8	„Гарунъ бѣжалъ быстрѣ лани“... Н. Н. Ду- бовскаго	32
„Къ тебѣ я стану прилетать“... М. А. Врубеля .	9	„Ступай, достоинъ ты презрѣнья...“ (Фото- типія). Его же	33
„И, чудо!—Изъ померкшихъ глазъ Слеза тяжелая катится...“ М. А. Врубеля .	11	„Ты рабъ и трусъ... а мнѣ не сынъ!—“ Его же.	34
„Я дамъ тебѣ все, все земное— Люби меня!...“ (Фототипія). Его же	15	„И кровь его съ глубокой раны Лизалъ, рыча, домашній песъ“. Его же . .	35
„Какъ перн спящая мила“ (Фототипія). Его же	16	КАЗНАЧЕЙША.	
„Въ пространствѣ синяго эфира“ (Фототи- пія). Его же	17	„И любопытно пробѣгаютъ Глаза опухшіе дѣвицъ Ряды суровыхъ, пыльных лицъ“. К. А. Тру- товскаго	37
„И вновь остался онъ надменный“... Его же	18	„И бросила ему въ лицо Свое вѣнчальное кольцо“ (Фототипія). Его же.	45
„Но грустенъ замокъ“... Его же.	19	БОЯРИНЪ ОРПА.	
М Ц Ы Р И.		„Стоять бояринъ у дверей Свѣтлицы дочери своей“. С. В. Иванова . .	49
Заглавный рисунокъ. Л. О. Паотернака . .	20	„Произведя ударъ глухой „Упало что-то.“ Его же.	50
.. Былъ монастырь... Н. П. Дубовскаго. .	21	„Покровъ одеждою раба, Стоялъ Арсеній у столба“. Его же	52
„Смотрѣлъ, вдыхая, на востокъ“. Л. О. Па- отернака	22	„Пришли, глядятъ: расплелена Рѣшетка узкаго окна...“. Его же	56
„Я зналъ одной лишь думы власть“ и т. д. къ стр. 22 (Фототипія). Его же	21	„Средь вопли женщинъ и дѣтей, „Всѣ повскакали на коней“. Его же	57
„Я видѣлъ горные хребты“. Н. Н. Дубовскаго.	23		
„...Курлился, какъ алтари, Ихъ выси въ небѣ голубомъ“ (Фототипія). Его же.	23		
„Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ“ (Фото- типія). Его же	25		
„Съ плиты на плиту я, какъ могъ,			

Стр.
„И всадникъ въѣхалъ на курганъ“ (Фототипія). Его же 58

ИЗМАИЛЪ БЕЙ.

„Какъ сѣрая скала, сѣдой старикъ,
Задумавшись, главой своей поникъ...“ М. А. Врубеля 63

„Уныло Зара передъ нимъ
Коня походнаго держала...“ (Фототипія).
Его же 70

„Иную мѣсть родной странѣ,
Иную славу надо мнѣ...“ Н. Н. Дубовскаго . 76
„Пусть кончатъ жизнь, какъ началъ, оди-
ночь!...“ М. А. Врубеля 91

ХАДЖИ АБРЕКЪ.

„Развеселить его желая,
Лепла бубенъ свой беретъ“ (Фототипія).
Л. О. Пастернака 94

„И острой шашки лезвее
„Обтеръ волнистою косою“ (Фототипія).
Его же 96

„Какъ нить истлѣвшая давно,
Разорвалося вдругъ оно... Его же . . . 97

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Печоринъ. М. А. Врубеля 98

В ѐ л а.

Сакля была прильплена однимъ бокомъ къ
скалѣ. А. М. Вагнцова 101

И вотъ къ нему подошла меньшая дочь хо-
зяина, дѣвушка лѣтъ шестнадцати, и прошѣ-
ла ему... Какъ бы сказать въ родѣ компли-
мента“ (Фототипія). В. А. Стрѣкова 104

Сильная рука оттолкнула его прочь и онъ
ударился объ плетень такъ, что плетень за-
шатался.... М. А. Врубеля 106

Стр.
...Сидитъ въ углу, закутавшись въ покры-
вало, не говорить и не смотреть; пуглива,
какъ дикая серна... (стр. 109). В. А. Стрѣкова . 110

МАКОИМЪ МАКОИМЫЧЪ.

...Я нашелъ его у воротъ сидящаго на ска-
мейкѣ. Н. Н. Дубовскаго 124

— Боже мой, Боже мой! Да куда это такъ
спѣшите?.. Его же 126

...Бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же
мѣстѣ въ глубокой задумчивости.... (Фототи-
пія). Его же 127

...Въ его досадѣ было что-то дѣтское; мнѣ
стало смѣшно и жалко... Его же 128

ТАМАНЬ. К. А. Савицкаго 130

...На крышѣ хаты моей стояла дѣвушка
въ полосатомъ платьѣ, съ распущенными воло-
сами, настоящая русалка. Его же 133

Лодка закачалась, но я справился и между
нами началась отчаянная борьба. (Фототипія).
Его же 135

КНЯЖНА МЕРИ.

Легче птички она къ нему подскочила, на-
гнулась, подняла стаканъ и подала ему. (Фо-
тотипія). М. А. Врубеля 140

— Смотрите на верхъ! шепнулъ я ей: это
ничего, только не бойтесь; я съ вами... (Фо-
тотипія). В. А. Стрѣкова 165

...Когда дымъ разсѣялся, Грушницкаго на
площадкѣ не было... (Фототипія). М. А. Врубеля . 178

...Это становилось невыносимо: еще минута
и я бы упалъ къ ногамъ ея... (Фототипія). В. А.
Стрѣкова 181

ФАТАЛИСТЪ К. А. Слепикова. 182

— Господа, я васъ прошу не трогаться съ
мѣста!—сказалъ Вуличъ, приставивъ дуло пи-
стоleta ко лбу.... (Фототипія). Его же . . . 184

Убийца заперся въ пустой хатѣ, на концѣ
станіицы.. Его же 187



ДЕМОНЪ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

(1838 — 1840).

Въ изданіяхъ „Демона“, вышедшихъ въ Карлсруэ въ 1856 и 1857 гг., напечатаны, сдѣланныя прежнимъ владѣльцемъ рукописи, слѣдующія заглавіе и замѣтка:

„ДЕМОНЪ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ,

СОЧИНЕНІЯ

Михайломъ Юрьевичемъ Лермонтовымъ“.

„Переписана съ первой своеручной его рукописи, съ означеніемъ сдѣланныхъ имъ на оной перемарокъ, исправленій и измѣненій. Оригинальная рукопись такъ чиста, что, перелистывая оную, подумаешь, что она писана подъ диктовку, или списана съ другой“.

„Сентября 13-го 1841 года.“

На экземплярѣ же, хранищемся въ Лермонтовскомъ музеѣ, имѣется слѣдующая *пояснительная* надпись Д. А. Столыпина:

„Рукопись эта, переданная мнѣ Акимомъ Павловичемъ Шанъ-Гиреемъ, написана рукою Лермонтова, о чемъ можно удостовѣриться по статьѣ А. П., помѣщенной въ журналѣ „Русское Обозрѣніе“ за августъ 1890 года. Рукопись эту попросилъ у меня генераль-адъютантъ Алексѣй Илларионовичъ Философовъ, по женѣ Аннѣ Григорьевнѣ, рожденной Столыпиной, приходившійся родственникомъ Лермонтову, и напечаталъ ее въ Карлсруэ.—Д. Столыпинъ“.

Помарки и измѣненія, сдѣланныя поэтомъ, внесены нами въ примѣчанія къ „Демону“.

Предлагаемый текстъ „Демона“ можетъ считаться самымъ достовѣрнымъ, въ чемъ, помимо изложенныхъ выше обстоятельствъ, убѣждаетъ насъ почти полное сходство нашего текста съ текстомъ „Демона“, тщательно переписаннымъ собственноручно В. Г. Бѣлинскимъ.

Рукопись эта доставлена въ апрѣлѣ 1891 г. изъ гор. Корфу Г. А. Джаншиеву отъ свояченицы В. Г. Бѣлинскаго, Аграфены Васильевны Орловой. Бѣлинскій писалъ ее въ 1846 г., когда былъ женихомъ, и поднесъ ее невѣстѣ своей Маріи Васильевнѣ Орловой. Рукописью этою до настоящаго времени никто не пользовался и она, по желанію г-жи Орловой, передана на храненіе въ Московскій Румянцевскій музей. Мы, приобрѣтя исключительное право пользованія этой рукописью до 15 іюля 1891 года, внесли всѣ ея несходства съ нашимъ текстомъ и варианты, помѣщенные въ рукописи В. Г. Бѣлинскаго, въ примѣчанія къ „Демону“.





ДЕМОНЪ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

г.



Печальный Демонъ, духъ изгнанный,
Леталъ надъ грѣшною землею;
И лучшихъ дней воспоминанья

Предъ нимъ тѣснилися толпой,—
Тѣхъ дней, когда въ жилищѣ свѣта
Блисталъ онъ, чистый херувимъ,
Когда бѣгушая комета
Улыбкой ласковой привѣта
Любила помѣняться съ нимъ;
Когда сквозь вѣчные туманы,
Познанья жадный, онъ слѣдилъ
Кочующіе караваны
Въ пространствѣ брошенныхъ свѣтилъ;
Когда онъ вѣрилъ и любилъ,

Счастливый первенецъ творенья,
Не зналъ ни злобы, ни сомнѣнья,
И не грозилъ уму его
Вѣковъ безплодныхъ рядъ унылый...
И много, много... и всего
Припомнить не имѣлъ онъ силы.

и.

Давно отверженный блуждалъ
Въ пустынь мѣра безъ пріюта.
Вослѣдъ за вѣкомъ вѣкъ бѣжалъ,
Какъ за минутою минута,
Однообразной чередой.
Ничтожной властвуя землею,
Онъ сѣялъ зло безъ наслажденья;
Нигдѣ искусству своему
Онъ не встрѣчалъ сопротивленья,—
И зло наскучило ему.

III.

И надъ вершинами Кавказа
Изгнанникъ рая пролеталъ.
Подъ нимъ Казбекъ, какъ грань алмаза,
Снѣгами вѣчными сіялъ,
И, глубоко внизу чернѣя,
Какъ трещина, жилище змѣя,
Вился излучистый Дарьялъ;
И Терекъ, прыгая, какъ львица,
Съ косматой гривой на хребтѣ,
Ревѣлъ; и горный звѣрь, и птица,
Кружась въ лазурной высотѣ,
Глаголу водъ его внимали,
И золотыя облака
Изъ южныхъ странъ, издалека,
Его на сѣверъ провожали;
И скалы тѣсною толпой,
Таинственной дремоты полны,
Надъ нимъ склонялись головой,
Слѣдя мелькающія волны;
И башни замковъ на скалахъ
Смотрѣли грозно сквозь туманы:
У вратъ Кавказа на часахъ
Сторожевые великаны.
И дикъ, и чуденъ былъ вокругъ
Весь Божій міръ; но гордый духъ
Презрительнымъ окинулъ окомъ
Творенье Бога своего,
И на челѣ его высокомъ
Не отразилось ничего...

IV.

И передъ нимъ иной картины
Красы живыя расцвѣли:
Роскошной Грузіи долины
Ковромъ раскинулись вдали.
Счастливый, пышный край земли!
Столпообразныя раины,
Звонко-бѣгущіе ручьи
По дну изъ камней разноцвѣтныхъ,
И кущи розъ, гдѣ соловьи
Поютъ красавицъ, безотвѣтныхъ
На сладкій голосъ ихъ любви;
Чинаръ развѣсистыя сѣни,
Густымъ вѣнчанныя плющемъ;

Пещеры, гдѣ палящимъ днемъ
Таятся робкіе олени;
И блескъ, и жизнь, и шумъ листовъ,
Стозвучный говоръ голосовъ,
Дыханье тысячи растеній,
И полдня сладострастный зной,
И ароматною росой
Всегда увлажненыя ночи,
И звѣзды яркія, какъ очи,
Какъ взоръ грузинки молодой...
Но, кромѣ зависти холодной,
Природы блескъ не возбудилъ
Въ груди изгнанника безплодной
Ни новыхъ чувствъ, ни новыхъ силъ,—
И все, что предъ собой онъ видѣлъ,
Онъ презиралъ иль ненавидѣлъ.

V.

Высокій домъ, широкій дворъ
Сѣдой Гудаль себѣ построилъ...
Трудовъ и слезъ онъ много стоилъ
Рабамъ послушнымъ съ давнихъ поръ.
Съ утра на скатъ сосѣднихъ горъ
Отъ стѣнъ его ложатся тѣни;
Въ скалѣ нарублены ступени:
Онѣ отъ башни угловой
Ведутъ къ рѣкѣ; по нимъ мелькая,
Покрыта бѣлою чадрой
Княжна Тамара молодая
Къ Арагвѣ ходитъ за водой.

VI.

Всегда безмолвно на долины
Глядѣлъ съ утеса мрачный домъ;
Но пиръ большой сегодня въ немъ,
Звучитъ зурна и льются вины:
Гудаль сосваталъ дочь свою;
На пиръ онъ созвалъ всю семью.
На кровлѣ, устланной коврами,
Сидитъ невѣста межъ подругъ;
Средь игръ и пѣсенъ ихъ досугъ
Проходитъ. Дальними горами
Ужъ спрятанъ солнца полукругъ.
Въ ладони мѣрно ударяя,
Онѣ поютъ, и бубенъ свой
Беретъ невѣста молодая.

И вотъ она, одной рукой
Кружа его надъ головой,
То вдругъ помчится легче птицы,
То остановится,—глядитъ,
И влажный взоръ ея блеститъ
Изъ-подъ завистливой рѣсницы;
То черной бровью поведетъ,
То вдругъ наклонится немножко,
И по ковру скользитъ, плыветъ
Ея божественная ножка;
И улыбается она,
Веселья дѣтскаго полна.
Но лучъ луны, по влагѣ зыбкой
Слегка играющій порой,
Едва-ль сравнится съ той улыбкой,
Какъ жизнь, какъ молодость, живой.

VII.

Клянусь полночною звѣздой,
Лучемъ заката и востока,
Властитель Персіи златой
И ни единый царь земной
Не цѣловаль такого ока;
Гарема брызжущій фонтанъ
Ни разу, жаркою порою,
Своей жемчужною росой
Не омываль подобный станъ;
Еще ни чья рука земная,
По милому челу блуждая,
Такихъ волосъ не расплела.
Съ тѣхъ поръ, какъ міръ лишился рая,
Клянусь, красавица такая
Подъ солнцемъ юга не цвѣла.

VIII.

Въ послѣдній разъ она плясала...
Увы! заутра ожидала
Ее, наслѣдницу Гудала,
Свободы рѣзвое дитя,
Судьба печальная рабыни,
Отчизна чуждая понынѣ
И незнакомая семья.
И часто тайное сомнѣнье
Темнило свѣтлыя черты;
И были всѣ ея движенья
Такъ стройны, полны выраженя,

Такъ полны милой простоты,
Что если бъ Демонъ, пролетая,
Въ то время на нее взглянулъ,
То, прежнихъ братій вспоминая,
Онъ отвернулся бъ—и вздохнулъ...

IX.

И Демонъ видѣлъ... На мгновенье
Неизъяснимое волненье
Въ себѣ почувствовалъ онъ вдругъ.
Нѣмой души его пустыню
Наполнилъ благодатный звукъ,
И вновь постигнулъ онъ святыню
Любви, добра и красоты...
И долго сладостной картиной
Онъ любовался—и мечты
О прежнемъ счастьѣ, цѣпью длинной,
Какъ будто за звѣздой звѣзда,
Предъ нимъ катилися тогда.
Прикованный незримой силой,
Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ,
Въ немъ чувство вдругъ заговорило
Роднымъ когда-то языкомъ.
То былъ ли признакъ возрожденя?
Онъ словъ коварныхъ искушеня
Найти въ умѣ своемъ не могъ...
Забуть?—Забвенья не далъ Богъ,
Да онъ и не взялъ бы забвенья...

X.

Измучивъ добраго коня,
На брачный пиръ, къ закату дня,
Спѣшилъ женихъ нетерпѣливой.
Арагвы свѣтлой онъ счастливо
Достигъ зеленыхъ береговъ.
Подъ тяжелой ношею даровъ
Едва-едва переступая,
За нимъ верблюдовъ длинный рядъ
Дорогой тянется, мелькая;
Ихъ колокольчики звенятъ...
Онъ самъ, властитель Синодала,
Ведетъ богатый караванъ.
Ремнемъ затянуть ловкій станъ;
Оправа сабли и кинжала
Блеститъ на солнцѣ; за спиной

Ружье съ насѣчкой вырѣзной;
Играетъ вѣтеръ рукавами
Его чухи; кругомъ она
Вся галуномъ обложена.
Цвѣтными вышито шелками
Его сѣдло; узда съ кистями;
Подъ нимъ весь въ мылѣ конь лихой,
Безцѣнной масти золотой.
Питомецъ рѣзвый Карабаха
Прядетъ ушами и, полный страха,
Храпя, косится съ крутизны
На пѣну скачущей волны.
Опасень, узокъ путь прибрежный:
Утесы съ лѣвой стороны,
Направо глубь рѣки мятежной.
Ужъ поздно. На вершинѣ снѣжной
Румянецъ гаснетъ; всталъ туманъ...
Прибавилъ шагу караванъ.

XI.

И вотъ часовня на дорогѣ...
Тутъ съ давнихъ лѣтъ почіетъ въ Богѣ
Какой-то князь, теперь святой,

Отъ мусульманскаго кинжала.
Но прѣзрѣлъ удалой женихъ
Обычай прадѣдовъ своихъ,—
Его, коварною мечтою,
Лукавый Демонъ возмущалъ:
Онъ въ мысляхъ подъ ночью тьмою
Уста невѣсты цѣловалъ...
Вдругъ впереди мелькнули двое,
И больше... Выстрѣлъ... Что такое?...
Привставъ на звонкихъ стременахъ,
Надвинувъ на брови папахъ,
Отважный князь не молвилъ слова;
Въ рукѣ сверкнулъ турецкій стволъ,
Нагайка шелкъ,—и какъ орелъ
Онъ кинулся... и выстрѣлъ снова,
И дикій крикъ, и стонъ глухой
Промчались въ глубинѣ долины.
Недолго продолжался бой:
Бѣжали робкіе грузины.

XII.

Затихло все... Тѣснясь толпой,
На трупы всадниковъ порой,



Убитый мстительной рукой.
Съ тѣхъ поръ, на праздникъ, иль на битву,
Куда бы путникъ ни спѣшилъ,
Всегда усердную молитву
Онъ у часовни приносилъ;
И та молитва сберегала

Верблюды съ ужасомъ глядѣли,
И глухо въ тишинѣ степной
Ихъ колокольчики звенѣли.
Разграбленъ пышный караванъ,
И надъ тѣлами христіанъ
Чертить круги ночная птица.

Не ждётъ ихъ мирная гробница
Подъ слоємъ монастырскихъ плитъ,
Гдѣ прахъ отцовъ ихъ былъ зарытъ;
Не придутъ сестры съ матерями,
Покрыты длинными чадрами
Съ тоской, рыданьемъ и мольбами,
На гробъ ихъ изъ далекихъ мѣстъ!
За-то усердною рукою,
Здѣсь у дороги, надъ скалою,
На память водружится крестъ;
И плющъ, разросшійся весною,

То разомъ въ землю ударя
Шипами звонкими копытъ,
Взмахнувъ растрепанною гривой,
Впередъ безъ памяти летить.
На немъ есть всадникъ молчаливой;
Онъ бьется на сѣдлѣ порой,
Припавъ на гриву головой.
Ужъ онъ не править поводами
Задвинулъ ноги въ стремяна,
И кровь широкими струями
На чепракъ его видна.



Его, ласкаясь, обовѣтъ
Своею сѣткой изумрудной;
И, своротивъ съ дороги трудной,
Не разъ усталый пѣшеходъ
Подъ Божьей тѣнью отдохнетъ...

хш.

Несется конь быстрѣ лани,
Храпитъ и рвется будто къ брани;
То вдругъ осадить на скаку,
Прислушается къ вѣтерку,
Широко ноздри раздувая;

Скакунъ лихой, ты господина
Изъ боя вынесъ, какъ стрѣла,
Но злая пуля осетина
Его во мракъ догнала.

хiv.

Въ семьѣ Гудала плачъ и стоны,
Толпится на дворѣ народъ:
Чей конь примчался запалённый
И палъ на камни у воротъ?
Кто этотъ всадникъ бездыханный?
Хранили слѣдъ тревоги бранной

Морщины смутлаго чела.
 Въ крови оружіе и платье;
 Въ послѣднемъ бѣшенѣ пожатъ
 Рука на гривѣ замерла.
 Недолго жениха младова,
 Невѣста, взоръ твой ожидалъ!
 Сдержалъ онъ княжеское слово:
 На брачный пиръ онъ прискакалъ...
 Увы! но никогда ужъ снова
 Не сядетъ на коня лихова!...

xv.

На беззаботную семью,
 Какъ громъ, слетѣла Божья кара.
 Упала на постель свою,
 Рыдаетъ бѣдная Тамара;
 Слеза катится за слезой,
 Грудь высока и трудно дышитъ.
 И вотъ она какъ будто слышитъ
 Волшебный голосъ надъ собой:
 «Не плачь, дитя, не плачь напрасно!
 Твоя слеза на трупъ безгласной
 Живой росой не упадетъ;
 Она лишь взоръ туманитъ ясный,
 Ланиты дѣвственныя жогетъ.
 Онъ далеко, онъ не узнаетъ,
 Не оцѣнитъ тоски твоей;
 Небесный свѣтъ теперь ласкаетъ
 Безплотный взоръ его очей;
 Онъ слышитъ райскіе напѣвы...
 Что жизни мѣлочныя сны,
 И стонъ, и слезы бѣдной дѣвы
 Для гостя райской стороны?
 Нѣтъ, жребій смертнаго творенья,
 Повѣрь мнѣ, ангелъ мой земной,
 Не стоитъ одного мгновенья
 Твоей печали дорогой.

«На воздушномъ океанѣ,
 Безъ руля и безъ вѣтриль,
 Тихо плаваютъ въ туманѣ
 Хоры стройныя свѣтиль.

Средь полей необозримыхъ
 Въ небѣ ходятъ безъ слѣда
 Облаковъ неуловимыхъ
 Волокнистыя стада.

Чась разлуки, чась свиданья—

Имъ не радость, не печаль;
 Имъ въ грядущемъ нѣтъ желанья,
 И прошедшаго не жаль.

Въ день томительный несчастья
 Ты объ нихъ лишь вспомяни,
 Будь къ земному безъ участя
 И безпечна, какъ они!

«Лишь только ночь своимъ покровомъ
 Верхи Кавказа осѣнитъ,
 Лишь только міръ, волшебнымъ словомъ
 Завороженный, замолчитъ;
 Лишь только вѣтеръ надъ скалою
 Увявшей шевельнетъ травкою,
 И птичка, спрятанная въ ней,
 Порхнетъ во мракъ веселій;
 И подъ лозою виноградной,
 Росу небесъ глотая жадно,
 Цвѣтокъ распухнетъ ночью;
 Лишь только мѣсяцъ золотой
 Изъ-за горы тихонько встанетъ
 И на тебя украдкой взглянетъ,—
 Къ тебѣ я стану прилетать,
 Гостить я буду до денницы,
 И на шелковыя рѣсницы
 Сны золотые навѣвать...»

xvi.

Слова умолкли... Въ отдаленіи
 Вослѣдъ за звукомъ умеръ звукъ.
 Она, вскочивъ, глядитъ вокругъ...
 Невыразимое смятеніе
 Въ ея груди; печаль, испугъ,
 Восторга пылъ—ничто въ сравненіи;
 Всѣ чувства въ ней кипѣли вдругъ.
 Душа рвала свои оковы,
 Огонь по жиламъ пробѣгалъ,
 И этотъ голосъ чудно новый,
 Ей мнилось, все еще звучалъ.
 И передъ утромъ сонъ желанный
 Глаза усталые смежилъ;
 Но мысль ея онъ возмутилъ
 Мечтой пророческой и странной:
 Пришлецъ туманный и нѣмой,
 Красой блистая неземной,
 Къ ея склонился изголовью;
 И взоръ его съ такой любовью,



Такъ грустно на нее смотрѣлъ,
Какъ будто онъ объ ней жалѣлъ.
То не былъ ангелъ-небожитель,
Ея божественный хранитель:
Вънецъ изъ радужныхъ лучей

Не украшалъ его кудрей;
То не былъ ада духъ ужасный,
Порочный мученикъ,—о, нѣтъ!
Онъ былъ похожъ на вечеръ ясный:
Ни день, ни ночь, ни мракъ, ни свѣтъ!...



ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

«Отецъ! отецъ! оставь угрозы,
Свою Тамару не брани.
Я плачу. Видишь эти слезы?
Уже не первыя они.
Напрасно женихи толпою
Спѣшатъ сюда изъ дальнихъ мѣстъ...
Не мало въ Грузіи невѣстъ!
А мнѣ не быть ни чьей женою!...
О, не брани, отецъ, меня.
Ты самъ замѣтилъ: день отъ дня:
Я вяну, жертва злой отравы!
Меня терзаетъ духъ лукавый
Неотразимую мечтой;
Я гибну—сжался надо мной!
Отдай въ священную обитель
Дочь безразсудную свою:

Тамъ защититъ меня Спаситель,
Предъ Нимъ тоску мою пролью.
На свѣтъ нѣтъ ужъ мнѣ веселья...
Святыни миромъ оскѣня,
Пусть приметъ сумрачная келья,
Какъ гробъ, заранѣе меня.»

II.

И въ монастырь уединенный
Ее родные отвезли,
И власяницею смиренной
Грудь молодую облекли.
Но и въ монашеской одеждѣ,
Какъ подъ узорною парчой,
Все незаконною мечтой
Въ ней сердце билось, какъ прежде.
Предъ алтаремъ, при блескѣ свѣчъ,
Въ часы торжественнаго пѣнья,

Знакомая, среди моленья,
 Ей часто слышалася рѣчь.
 Подъ сводомъ сумрачнаго храма
 Знакомый образъ иногда
 Скользилъ безъ звука и слѣда;
 Въ туманѣ легкомъ еймиама
 Сіялъ онъ тихо, какъ звѣзда,
 Манилъ и звалъ онъ... но куда?...

III.

Въ прохладѣ межъ двумя холмами
 Таился монастырь святой.
 Чинарь и тополей рядами
 Онъ окруженъ былъ,—и порой,
 Когда ложилась ночь въ ущельи,
 Сквозь нихъ мелькала въ окнахъ кельи
 Лампада грѣшницы молодой.
 Кругомъ въ тѣни деревъ миндальныхъ,
 Гдѣ рядъ стоитъ крестовъ печальныхъ,—
 Безмолвныхъ сторожей гробницъ,
 Спѣвались хоры легкихъ птицъ;
 По камнямъ прыгали, шумѣли
 Ключи студеною волной,
 И подъ нависшею скалой,
 Сливаясь дружески въ ущельи,
 Катились дальше межъ кустовъ,
 Покрытыхъ инеемъ цвѣтовъ.

IV.

На сѣверъ видны были горы,
 При блескѣ утренней авроры,
 Когда синѣющій дымокъ
 Курится въ глубинѣ долины,
 И, обращаясь на востокъ,
 Зовутъ къ молитвѣ муэззины;
 И звучный колокола гласъ
 Дрожитъ, обитель пробуждая,
 Въ торжественный и мирный часъ,
 Когда грузинка молодая
 Съ кувшиномъ длиннымъ за водой
 Съ горы спускается крутой,—
 Вершины цѣпи снѣговой,
 Свѣтло-лиловою стѣной
 На чистомъ небѣ рисовались,
 И въ часъ заката одѣвались
 Онѣ румяной пеленой.

И между нихъ, прорѣзавъ тучи,
 Стоялъ, всѣхъ выше головой,
 Казбекъ, Кавказа царь могучій,
 Въ чалмѣ и ризѣ парчевой.

V.

Но, полно думою преступной,
 Тамары сердце недоступно
 Восторгамъ чистымъ. Передъ ней
 Весь міръ одѣтъ угрюмой тѣнью;
 И все ей въ немъ—предлогъ мученью,
 И утра лучъ, и мракъ ночей.
 Бывало, только ночи сонной
 Прохлада землю обойметъ,
 Передъ божественной иконой
 Она въ безумьи упадетъ—
 И плачетъ; и въ ночномъ молчаньѣ
 Ея тяжелое рыданье
 Тревожитъ путника вниманье,
 И мыслить онъ: «то горный духъ
 Прикованный въ пещерѣ стонетъ!»
 И, чуткой напрягая слухъ,
 Коня измученнаго гонитъ...

VI.

Тоской и трепетомъ полна,
 Тамара часто у окна
 Сидитъ въ раздумьи одинокомъ,
 И смотреть въ даль прилежнымъ окомъ,
 И цѣлый день, вздыхая, ждетъ...
 Ей кто-то шепчетъ: «онъ придетъ!»
 Не даромъ сны ее ласкали,
 Не даромъ онъ являлся ей
 Съ глазами полными печали
 И чудной нѣжностью рѣчей.
 Ужъ много дней она томится,
 Сама не зная почему;
 Святымъ захочетъ ли молиться,
 А сердце молится ему;
 Утомлена борьбой всегдашней
 Склонится ли на ложе сна—
 Подушка жжетъ, ей душно, страшно,
 И вся, вскочивъ, дрожитъ она;
 Пылаютъ грудь ея и плечи,
 Нѣтъ силъ дышать, туманъ въ очахъ,
 Объяты жално ищутъ встрѣчи,



Лобзан

. . .
. . .

Вече

Ужъ :

Привъ

Въ об

Но д

Святъ

Нару

Когд

Оста

Зад

Онъ

Безт

Онъ

Оза

Ког

Лобзанья тають на устахъ...

.
.

vii.

Вечерней мглы покровъ воздушный
Ужъ холмы Грузіи одѣлъ.
Привыкѣ сладостной послушный,
Въ обитель Демонъ прилетѣлъ.
Но долго, долго онъ не смѣлъ
Святыню мирнаго пріюта
Нарушить.—И была минута,
Когда казался онъ готовъ
Оставить умысль жестокой.
Задумчивъ, у стѣны высокой
Онъ бродить; отъ его шаговъ
Безъ вѣтра листь въ тѣни трепещеть.
Онъ поднялъ взоръ: ея окно,
Озарено лампадой, блещеть;
Кого-то ждетъ она давно.

И вотъ средь общаго молчанья
Чингара стройное бряцанье
И звуки пѣсни раздались;
И звуки тѣ лились, лились,
Какъ слезы, мѣрно, другъ за другомъ;
И эта пѣснь была нѣжна,
Какъ будто для земли она
Была на небѣ сложена.
Не ангелъ ли съ забытымъ другомъ
Вновь повидаться захотѣлъ,
Сюда украдкою слетѣлъ,
И о быломъ ему пропѣлъ,
Чтобъ усладить его мученье?...
Тоску любви, ея волненье
Постигнулъ Демонъ въ первый разъ...
Онъ хочетъ въ страхѣ удалиться,—
Его крыло не шевелится!
И, чудо!—изъ померкшихъ глазъ
Слеза тяжелая катится...
Понинѣ возлѣ кельи той



Насквозь прожженный видѣнь камень
Слезою жаркою, какъ пламень,
Не человѣческой слезой!...

viii.

И входитъ онъ, любить готовый,
Съ душой, открытой для добра;
И мыслить онъ, что жизни новой
Пришла желанная пора.
Неясный трепетъ ожиданья,
Страхъ неизвѣстности нѣмой,
Какъ будто въ первое свиданье,
Спознались съ гордою душой;
То было злое предвѣщанье...
Онъ входитъ, смотритъ, передъ нимъ
Посланникъ рая—херувимъ,
Хранитель грѣшницы прекрасной,
Стоитъ съ блистающимъ челомъ,
И отъ врага, съ улыбкой ясной,
Пріосѣнилъ ее крыломъ...
И лучъ божественнаго свѣта
Вдругъ ослѣпилъ нечистый взоръ,
И вмѣсто сладкаго привѣта
Раздался тягостный укоръ:

ix.

«Духъ безпокойный, духъ порочный,
Кто звалъ тебя во тѣмѣ полночной?
Твоихъ поклонниковъ здѣсь нѣтъ;
Зло не дышало здѣсь понынѣ!
Къ моей любви, къ моей святынѣ
Не пролагай преступный слѣдъ!
Кто звалъ тебя?»

Ему въ отвѣтъ
Злой духъ коварно усмѣхнулся;
Зардѣлся ревностію вглядъ,
И вновь въ душѣ его проснулся
Старинной ненависти ядъ.
«Она моя!—сказалъ онъ грозно—
Оставь ее! она моя!
Явился ты, защитникъ, поздно,
И ей, какъ мнѣ, ты не судья.
• На сердце, полное гордыни,
Я наложилъ печать мою;
Здѣсь больше нѣтъ твоей святыни;
Здѣсь я владѣю и люблю!»

И ангелъ грустными очами
На жертву бѣдную взглянулъ
И, медленно взмахнувъ крылами,
Въ эфиръ неба потонулъ...

.

x.

ТАМАРА.

О, кто ты? Рѣчь твоя опасна!
Тебя послалъ мнѣ адъ иль рай?
Чего ты хочешь?...

демонъ.

Ты прекрасна!

ТАМАРА.

Но молви, кто ты?... Отвѣчай!...

демонъ.

Я тотъ, которому внимала
Ты въ полуночной тишинѣ,
Чья мысль душѣ твоей шептала,
Чью грусть ты смутно отгадала,
Чей образъ видѣла во снѣ;
Я тотъ, чей взоръ надежду губить,
Едва надежда расцвѣтетъ,
Я тотъ, кого никто не любитъ,
И все живущее клянеть.
Ничто пространство мнѣ и годы;
Я бичъ рабовъ моихъ земныхъ,
Я царь познанья и свободы,
Я врагъ небесъ, я зло природы,
И видишь—я у ногъ твоихъ!
Тебѣ принесъ я въ умиленіи
Молитву тихую любви,
Земное первое мученье
И слезы первыя мои.
О, выслушай изъ сожалѣнья!
Меня добру и небесамъ
Ты возратить могла бы словомъ;
Твоей любви святымъ покровомъ
Одѣтый, я предсталъ бы тамъ,
Какъ новый ангелъ, въ блескѣ новомъ.
О, только выслушай, молю!
Я рабъ твой, я тебя люблю!
Лишь только я тебя увидѣлъ,
И тайно вдругъ возненавидѣлъ

Безсмертіе и власть мою.
Я позавидоваль невольно
Неполной радости земной:
Не жить, какъ ты, мнѣ стало больно,
И страшно—розно жить съ тобой.
Въ безкровномъ сердцѣ лучъ неожиданный....
Опять затеплился живѣй,
И грусть на днѣ старинной раны
Зашевелилася какъ змѣй.
Что безъ тебя мнѣ эта вѣчность?
Моихъ владѣній безконечность?
Пустыя, звучныя слова,
Обширный храмъ безъ божества!

ТАМАРА.

Оставь меня, о духъ лукавый!
Молчи, не вѣрю я врагу!
Творецъ!... увы, я не могу
Молиться... гибельной отравой
Мой умъ слабѣющій объять.
Послушай, ты меня погубишь;
Твои слова—огонь и ядъ....
Скажи, зачѣмъ меня ты любишь?

ДЕМОНЪ.

Зачѣмъ, красавица?—Увы,
Не знаю; полонъ жизни новой,
Съ моей преступной головы
Я гордо снялъ вѣнецъ терновый;
Я все бывшее бросилъ въ прахъ;
Мой рай, мой адъ въ твоихъ очахъ!
Люблю тебя не здѣшней страстью,
Какъ полюбить не можешь ты:
Всѣмъ упоеніемъ, всей властью
Безсмертной мысли и мечты.
Въ душѣ моей съ начала міра
Твой образъ былъ напечатлѣнъ,
Передо мной носился онъ
Въ пустыняхъ вѣчнаго ээира.
Давно тревожа мысль мою,
Мнѣ имя сладкое звучало;
Во дни блаженства мнѣ въ раю
Одной тебя не доставало.
О, если бъ ты могла понять,
Какое горькое томленье
Всю жизнь, вѣка, безъ раздѣленья

И наслаждаться, и страдать,
За зло похвалъ не ожидать,
Ни за добро вознагражденія;
Жить для себя, скучать собой
И этой вѣчною борьбой
Безъ торжества, безъ примиренья!
Всегда жалѣть, и не желать,
Все знать, все чувствовать, все видѣть,
Стараться все возненавидѣть,
И все на свѣтѣ презирать!...

Лишь только Божіе проклятье
Исполнилось,—съ того же дня
Природу жаркія объятъ
На вѣкъ остыли для меня...
Синѣло предо мной пространство,
Я видѣлъ брачное убранство
Свѣтилъ, знакомыхъ мнѣ давно...
Они текли въ вѣнцахъ изъ злата;
Но что же?—прежняго собрата
Не узнавало ни одно!
Изгнанниковъ, себѣ подобныхъ,
Я звать въ отчаяніи сталъ,
Но словъ, и лицъ, и взоровъ злобныхъ,
Увы! я самъ не узнавалъ.
И въ страхѣ я, взмахнувъ крылами,
Помчался... но куда? зачѣмъ?—
Не знаю. Препными друзьями
Я былъ отвергнутъ; какъ эдемъ
Міръ для меня сталъ глухъ и нѣмъ.
По вольной прихоти теченья,
Такъ поврежденная ладья
Безъ парусовъ и безъ руля
Плыветъ, не зная назначенья;
Такъ ранней утренней порой
Отрывокъ тучи громовой,
Въ лазурной вышинѣ чернѣя,
Одинъ, нигдѣ пристать не смѣя,
Летитъ безъ цѣли и слѣда,
Богъ вѣсть, откуда и куда!

И я людьми не долго правилъ,
Грѣху не долго ихъ училъ,
Все благородное безславиль
И все прекрасное хулилъ;
Не долго... Пламень чистой вѣры
Легко навѣкъ я залилъ въ нихъ...
А стоили-ль трудовъ моихъ

Одни глупцы, да лицемѣры?
 И скрылся я въ ущельяхъ горъ;
 И сталъ бродить, какъ метеоръ,
 Во мракѣ полночи глубокой...
 И мчался путникъ одинокой,
 Обманутъ близкимъ огонькомъ,
 И, въ бездну падая съ конемъ,
 Напрасно звалъ—и слѣдъ кровавый
 За нимъ вился по крутизнѣ...
 Но злобы мрачныя забавы
 Не долго нравились мнѣ.
 Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ,
 Какъ часто, подымая прахъ,
 Одѣтый молнией и туманомъ,
 Я шумно мчался въ облакахъ,
 Чтобы въ толпѣ стихій мятежной
 Сердечный ропотъ заглушить,
 Спасти отъ думы неизбежной—
 И незабвенное забыть!
 Что повѣсть тягостныхъ лишеній,
 Трудовъ и бѣдъ толпы людской,
 Грядущихъ, прошлыхъ поколѣній,
 Передъ минутою одной
 Моихъ непризнанныхъ мученій?
 Что люди? Что ихъ жизнь и трудъ?
 Они прошли, они пройдутъ!
 Надежда есть: ждетъ правый судъ;
 Простить онъ можетъ, хоть осудить!
 Моя жъ печаль безсмѣнно тутъ,
 И ей конца, какъ мнѣ, не будетъ,
 И не вздремнуть въ могилѣ ей!
 Она—то ластится какъ змѣй,
 То жоветъ и плещетъ будто пламень,
 То давитъ мысль мою какъ камень—
 Надеждъ погибшихъ и страстей
 Несокрушимый мавзолей!

ТАМАРА.

Кто бъ ни былъ ты, мой другъ слу-
 чайный,

Покой навѣки погубя,
 Невольно я съ отрадой тайной,
 Страдалецъ, слушаю тебя.
 Но если рѣчь твоя лукава,
 Но если ты, обманъ тая...
 О, пощади!... какая слава!...

На что душа тебѣ моя?
 Ужели небу я дороже
 Всѣхъ незамѣченныхъ тобой?
 Онѣ, увы! прекрасны тоже;
 Какъ здѣсь, ихъ дѣвственное ложе
 Не смято смертнаго рукой!...
 Нѣтъ! дай мнѣ клятву роковую...
 Скажи,—ты видишь: я тоскую,
 Ты видишь женскія мечты!
 Невольно страхъ въ душѣ ласкаешь...
 Но ты все понялъ, ты все знаешь
 И сжалишься, конечно, ты!
 Клянися мнѣ... отъ злыхъ стяжаній
 Отречься нынѣ дай обѣтъ!
 Ужель ни клятвъ, ни обѣщаній
 Ненарушимыхъ больше нѣтъ?...

ДЕМОНЪ.

Клянусь я первымъ днемъ творенья,
 Клянусь его послѣднимъ днемъ,
 Клянусь позоромъ преступленья
 И вѣчной правды торжествомъ;
 Клянусь паденья горькой мукой,
 Побѣды краткою мечтой;
 Клянусь свиданіемъ съ тобой
 И вновь грозящею разлукой;
 Клянуся сонмищемъ духовъ,
 Судьбою братій мнѣ подвластныхъ,
 Мечами ангеловъ безстрастныхъ,
 Моихъ недремлющихъ враговъ;
 Клянуся небомъ я и адомъ,
 Земной святыней и тобой;
 Клянусь твоимъ послѣднимъ взглядомъ,
 Твоею первою слезой,
 Незлобныхъ устъ твоихъ дыханьемъ,
 Волною шолоковыхъ кудрей;
 Клянусь блаженствомъ и страданьемъ,
 Клянусь любовію моею,—
 Отрекся я отъ старой мести,
 Отрекся я отъ гордыхъ думъ;
 Отнынѣ ядъ коварной лести
 Ни чей ужъ не встревожитъ умъ;
 Хочу я съ небомъ примириться,
 Хочу любить, хочу молиться,
 Хочу я вѣровать добру.
 Слезой раскаянья сотру



Я на челѣ, тебя достойномъ,
 Слѣды небеснаго огня,
 И мѣръ въ невѣдѣннѣ спокойномъ
 Пусть дошвѣтаетъ безъ меня!
 О, вѣрь мнѣ: я одинъ понинѣ
 Тебя постигъ и оцѣнилъ.
 Избравъ тебя моей святыней,
 Я власть у ногъ твоихъ сложилъ;
 Твоей любви я жду какъ дара,
 И вѣчность дамъ тебѣ за мигъ;
 Въ любви, какъ въ злѣбѣ, вѣрь, Тамара,
 Я неизмѣненъ и великъ.
 Тебя я, вольный сынъ эмира,
 Возьму въ надзвѣздные края,
 И будешь ты царицей міра,
 Подруга первая моя;
 Безъ сожалѣнья, безъ участія
 Смотрѣть на землю станешь ты,
 Гдѣ нѣтъ ни истиннаго счастья,
 Ни долговѣчной красоты,
 Гдѣ преступленья лишь, да казни,
 Гдѣ страсти мелкой только жить;
 Гдѣ не умѣютъ безъ боязни
 Ни ненавидѣть, ни любить.
 Иль ты не знаешь, что такое
 Людей минутная любовь?—
 Волненье крови молодое!
 Но дни бѣгутъ,—и стынетъ кровь.
 Кто устоитъ противъ разлуки,
 Соблазна новой красоты,
 Противъ усталости и скуки,
 И своенравія мечты?
 Нѣтъ! не тебѣ, моей подругѣ,
 Узнай, назначено судьбой
 Увянуть молча въ тѣсномъ кругѣ
 Ревнивой грубости рабой,
 Средь малодушныхъ и холодныхъ,
 Друзей притворныхъ и враговъ,
 Боязней и надеждъ безплодныхъ,
 Пустыхъ и тягостныхъ трудовъ!
 Печально за стѣной высокой
 Ты не угаснешь безъ страстей,
 Среди молитвъ, равно далеко
 Отъ божества и отъ людей.
 О, нѣтъ! прекрасное созданье,
 Къ иному ты присуждена;

Тебя иное ждетъ страданье,
 Иныхъ восторговъ глубина!
 Оставь же прежнія желанья
 И жалкій свѣтъ его судьбѣ:
 Пучину гордаго познанья
 Въ замѣнъ открою я тебѣ.
 Толпу духовъ моихъ служебныхъ
 Я приведу къ твоимъ стопамъ;
 Прислужницъ легкихъ и волшебныхъ
 Тебѣ, красавица, я дамъ;
 И для тебя съ звѣзды восточной
 Сорву вѣнечъ я золотой,
 Возьму съ цвѣтовъ росы полночной,
 Его усыплю той росой;
 Лучемъ румянаго заката
 Твой станъ, какъ лентой, обовью;
 Дыханьемъ чистымъ аромата
 Окрестный воздухъ напою!
 Всечасно дивною игрою
 Твой слухъ лелѣять буду я;
 Чертоги пышные построю
 Изъ бирюзы и янтара;
 Я опушусь на дно морское,
 Я полечу за облака,
 Я дамъ тебѣ все, все земное—
 Люби меня!...

xi.

—И онъ слегка

Коснулся жаркими устами
 Ея трепещущимъ губамъ;
 Соблазна полными рѣчами.
 Онъ отвѣчалъ ея мольбамъ.
 Могучій взоръ смотрѣлъ ей въ очи,—
 Онъ жегъ ее. Во мракѣ ночи,
 Надъ нею прямо онъ сверкалъ,
 Неотразимый, какъ кинжалъ.
 Увы, злой духъ торжествовалъ!
 Смертельный ядъ его лобзанья
 Мгновенно въ грудь ея проникъ...
 Мучительный, ужасный крикъ
 Ночное возмутилъ молчанье...
 Въ немъ было все: любовь, страданье,
 Упрекъ съ послѣднею мольбой,
 И безнадежное прощанье—
 Прощанье съ жизнью молодой...

.

xii.

Въ то время сторожъ полуночный,
 Одинъ вокругъ стѣны крутой,
 Свершая тихо путь урочный,
 Бродилъ съ чугуною доской.
 И возлѣ кельи дѣвы юной
 Онъ шагъ свой мѣрный укротилъ,
 И руку надъ доской чугунной,
 Смутясь душой, остановилъ.
 И сквозь окрестное молчанье,
 Ему казалось, слышалъ онъ
 Двухъ устъ согласное лобзанье,
 Минутный крикъ, и слабый стонъ...
 И нечестивое сомнѣнье
 Проникло въ сердце старика...
 Но пронеслось еще мгновенье—
 И стихло все; издалика
 Лишь дуновенье вѣтерка
 Роптанье листьевъ приносило,
 Да съ темнымъ берегомъ уныло
 Шепталась горная рѣка.
 Канонъ угодника святаго
 Спѣшитъ онъ въ страхѣ прочитать,
 Чтобъ наводнение духа злаго
 Отъ грѣшной мысли отогнать;
 Крестить дрожащими перстами
 Мечтой взволнованную грудь,
 И, молча, скорыми шагами
 Обычный продолжаетъ путь.

xiii.

Какъ пери спящая мила,
 Она въ гробу своемъ лежала;
 Бѣлѣй и чище покрывала
 Былъ томный цвѣтъ ея чела.
 Навѣкъ опущены рѣсницы...
 Но кто бъ, о небо! не сказалъ,
 Что взоръ подъ ними лишь дремалъ
 И, чудный, только ожидалъ
 Иль поцѣлуя, иль денницы?
 Но бесполезно лучъ дневной
 Скользиль по нимъ струей златой;
 Напрасно ихъ въ нѣмой печали
 Уста родныя цѣловали...

Нѣтъ, смерти вѣчную печать
 Ни что не въ силахъ ужъ сорвать!

xiv.

Ни разу не былъ въ дни веселья,
 Такъ разноцвѣтенъ и богатъ
 Тамары праздничный нарядъ.
 Цвѣты родимаго ущелья
 [Такъ древній требуетъ обрядъ]
 Надъ нею льютъ свой ароматъ,
 И, сжаты мертвою рукою,
 Какъ бы прощаются съ землею.
 И ничего въ ея лицѣ
 Не намекало о концѣ
 Въ пылу страстей и упоенья;
 И были всѣ ея черты
 Исполнены той красоты,
 Какъ мраморъ, чуждой выраженья,
 Лишенной чувства и ума,
 Таинственной, какъ смерть сама.
 Улыбка странная застыла,
 Мелькнувши по ея устамъ;
 О многомъ грустномъ говорила
 Она внимательнымъ глазамъ:
 Въ ней было хладное презрѣнье
 Души, готовой отцвѣсти,
 Послѣдней мысли выраженья
 Землѣ беззвучное: прости!
 Напрасный отблескъ жизни прежней,
 Она была еще мертвѣй,
 Еще для сердца безнадежнѣй
 Навѣкъ угаснувшихъ очей.
 Такъ въ часъ торжественный заката,
 Когда, растаявъ въ морѣ злата,
 Ужъ скрылась колесница дня,
 Снѣга Кавказа на мгновенье,
 Отливъ румяный сохраняя,
 Сіяютъ въ темномъ отдаленьѣ;
 Но этотъ лучъ полуживой
 Въ пустынь отблеска не встрѣтитъ,
 И путь ни чей онъ не освѣтитъ
 Съ своей вершины ледяной...

xv.

Толпой сосѣди и родные
 Ужъ собрались въ печальный путь.





Терзая локоны сѣдые,
 Безмолвно поражая грудь,
 Въ послѣдній разъ Гудаль садится
 На бѣлогриваго коня,—
 И поѣздъ тронулся.—Три дня,
 Три ночи путь ихъ будетъ длиться.
 Межъ старыхъ дѣдовскихъ костей
 Приютъ покойный вырытъ ей.
 Одинъ изъ праотцевъ Гудала,
 Грабитель странниковъ и селя,
 Когда болѣзнь его сковала
 И часть раскаянья пришелъ,
 Грѣховъ минувшихъ въ искупленье,
 Построить церковь обѣщалъ
 На вышинѣ гранитныхъ скалъ,
 Гдѣ только вьюги слышно пѣнье,
 Куда лишь коршунъ залеталъ.
 И скоро межъ снѣговъ Казбека
 Поднялся одинокій храмъ,
 И кости злаго человѣка
 Вновь успокоилися тамъ;
 И превратилася въ кладбище
 Скала, родная облакамъ:
 Какъ будто ближе къ небесамъ
 Теплѣй посмертное жилище;
 Какъ будто дальше отъ людей
 Послѣдній сонъ не возмутится...
 Напрасно! мертвымъ не приснится
 Ни грусть, ни радость прошлыхъ дней.

xvi.

Въ пространствѣ синяго ээира
 Одинъ изъ ангеловъ святыхъ
 Летѣлъ на крыльяхъ золотыхъ,
 И душу грѣшную отъ міра
 Онъ несъ въ объятіяхъ своихъ;
 И сладкой рѣчью упованья
 Ея сомнѣнья разгонялъ,
 И слѣдъ проступка и страданья
 Съ нея слезами онъ смывалъ.
 Издалека ужъ звуки рая
 Къ нимъ доносились—какъ вдругъ,
 Свободный путь пересѣкая,
 Взвился изъ бездны адскій духъ...
 Онъ былъ могущъ какъ вихорь шумный,
 Блисталъ какъ молніи струя,

И гордо, въ дерзости безумной,
 Онъ говорить: «она моя!»
 Къ груди хранительной прижалась,
 Молитвой ужасъ заглуша,
 Тамары грѣшная душа.
 Судьба грядущаго рѣшалась:
 Передъ нею снова онъ стоялъ.
 Но, Боже!—кто бѣ его узналъ?
 Какимъ смотрѣлъ онъ злобнымъ взглядомъ,
 Какъ полонъ былъ смертельнымъ ядомъ
 Вражды, незнающей конца,
 И вѣяло могильнымъ хладомъ
 Отъ неподвижнаго лица.

«Исчезни мрачный духъ сомнѣнья!»
 Посланникъ неба отвѣчалъ:
 «Довольно ты торжествовалъ;
 Но часъ суда теперь насталъ,
 И благо Божіе рѣшенъ!
 Дни испытанія прошли;
 Съ одеждой брэнной земли
 Оковы зла съ нея ниспали.
 Узнай, давно ее мы ждали!
 Ея душа была изъ тѣхъ,
 Которыхъ жизнь—одно мгновенье
 Невыносимаго мученья,
 Недостигаемыхъ утѣхъ;
 Творецъ изъ лучшаго ээира
 Соткалъ живыя струны ихъ,
 Онѣ не созданы для міра,
 И міръ былъ созданъ не для нихъ!
 Цѣной жестокой искупила
 Она сомнѣнія свои...

Она страдала и любила,—
 И рай открылся для любви!»

И ангель строгими очами
 На искушителя взглянулъ,
 И, радостно взмахнувъ крылами,
 Въ сіяньи неба потонулъ.
 И проклятъ Демонъ побѣжденный
 Мечты безумныя свои,
 И вновь остался онъ, надменный,
 Одинъ, какъ прежде, во вселенной
 Безъ упованья и любви!...



На склонѣ каменной горы,
 Надъ Койшаурскою долиной,
 Еще стоятъ до сей поры
 Зубцы развалины старинной.
 Разказовъ, страшныхъ для дѣтей,
 О нихъ еще преданья полны...
 Какъ призракъ, памятникъ безмолвный,
 Свидѣтель тѣхъ волшебныхъ дней,
 Между деревьями чернѣтъ.
 Внизу разсыпался аулъ,
 Земля цвѣтетъ и зеленѣтъ,
 И голосовъ нестройный гулъ
 Теряется, — и караваны
 Идутъ, звеня, издалека.
 И, низвергаясь сквозь туманы,
 Блеститъ и пѣнится рѣка.
 И жизнью вѣчно-молодою,
 Прохладой, солнцемъ и весною
 Природа тѣшится шутя,
 Какъ беззаботное дитя.

Но грустенъ замокъ, отслужившій
 Когда-то въ очередь свою,
 Какъ бѣдный старецъ, пережившій
 Друзей и милую семью.

И только ждутъ луны восхода
 Его незримые жилицы:
 Тогда имъ праздникъ и свобода!
 Жужжать, бѣгутъ во всѣ концы.
 Съдой паукъ, отшельникъ новый,
 Прядетъ сѣтей своихъ основы;
 Зеленыхъ ящерицъ семья
 На кровлѣ весело играетъ,
 И осторожная змѣя
 Изъ темной щели выползаетъ
 На плиту старого крыльца:
 То вдругъ совьется въ три кольца,
 То ляжетъ длинной полосой,
 И блещетъ, какъ булатный мечъ,
 Забытый въ полѣ давнихъ сѣчъ,
 Ненужный падшему герою...
 — Все дико. Нѣтъ нигдѣ слѣдовъ
 Минувшихъ лѣтъ: рука вѣковъ
 Прилежно, долго ихъ сметала,
 И не напомнитъ ничего
 О славномъ имени Гудала,
 О милой дочери его!
 Но церковь на крутой вершинѣ,
 Гдѣ взяты кости ихъ землей,

Хранима властію святой,
Видна межъ тучъ еще понынѣ;
И у воротъ ея стоятъ
На стражѣ черные граниты,
Пластами снѣжными покрыты;
И на груди ихъ, вмѣсто латъ,
Льды вѣковѣчные горятъ.
Обваловъ сонныя громады
Съ уступовъ, будто водопады
Морозомъ схваченные вдругъ,
Висятъ, нахмурившись, вокругъ.
И тамъ метель дозоромъ ходитъ,
Сдувая пыль со стѣнъ сѣдыхъ,

То пѣсню долгую заводитъ,
То окликаетъ часовыхъ.
Услыша вѣсти въ отдаленьѣ
О чудномъ храмѣ въ той странѣ,
Съ востока облака однѣ
Спѣшатъ толпой на поклоненье;
И надъ семьей могильныхъ плитъ
Давно никто ужъ не груститъ.
Скала угрюмаго Казбека
Добычу жадно сторожить,
И вѣчный ропотъ человѣка
Ихъ вѣчный миръ не возмутитъ.





М Ц Ы Р И.

Вкушая вкусна мало меда, и се ахъ умираю.

— Книга Царствъ.

1.

Не много лѣтъ тому на-
задъ,
Тамъ, гдѣ, сливаясь, шу-
мятъ,
Обнявшись, будто двѣ
сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Былъ монастырь. Изъ-за горы
И нынче видить пѣшеходъ
Столбы обрушенныхъ воротъ,
И башни, и церковный сводъ;
Но не курится ужъ подъ нимъ



Кадильницъ благовонный дымъ,
Не слышно пѣнье въ поздній часъ
Молящихъ иноковъ за насъ.
Теперь одинъ старикъ сѣдой,

Ребенка плѣннаго онъ везъ.
Тотъ занемогъ, не перенесъ
Трудовъ далекаго пути.
Онъ былъ, казалось, лѣтъ шести;



Развалины стражъ полуживой,
Людьми и смертію забыты,
Считаетъ пыль съ могильныхъ плитъ,
Которыхъ надпись говоритъ
О славѣ прошлой—и о томъ,
Какъ, удрученъ своимъ вѣнцомъ,
Такой-то царь, въ такой-то годъ,
Вручалъ Россіи свой народъ.

*

И Божья благодать сошла
На Грузію!—Она цвѣла
Съ тѣхъ поръ въ тѣни своихъ садовъ,
Не опасая враговъ,
За гранью дружескихъ штыковъ.

II.

Однажды русскій генераль
Изъ горъ къ Тифлису проѣзжалъ;

Какъ серна горъ, пугливъ и дикъ,
И слабъ и гибокъ, какъ тростникъ.
Но въ немъ мучительный недугъ
Развилъ тогда могучій духъ
Его отцовъ. Безъ жалобъ онъ
Томился, даже слабый стонъ
Изъ дѣтскихъ губъ не вылеталъ,
Онъ знакомъ пищу отвергалъ,
И тихо, гордо умиралъ.
Изъ жалости, одинъ монахъ
Больнаго призрѣлъ, и въ стѣнахъ
Хранительныхъ остался онъ,
Искусствомъ дружескимъ спасенъ.
Но, чуждъ ребяческихъ утѣхъ,
Сначала бѣгалъ онъ отъ всѣхъ,
Бродилъ безмолвенъ, одинокъ,
Смотрѣлъ, вздыхая, на востокъ,
Томимъ неясною тоской

По сторонѣ своей родной.
Но послѣ къ плѣну онъ привыкъ,



Сталъ понимать чужой языкъ,
Былъ окрещенъ святымъ отцомъ
И, съ шумнымъ свѣтомъ незнакомъ,
Уже хотѣлъ во цвѣтѣхъ лѣтъ
Изречь монашескій обѣтъ,
Какъ вдругъ однажды онъ исчезъ
Осенней ночью. Темный лѣсъ
Тянулся по горамъ кругомъ.
Три дня всѣ поиски по немъ
Напрасны были; но потомъ
Его въ степи безъ чувствъ нашли
И вновь въ обитель принесли.
Онъ страшно блѣденъ былъ и худъ
И слабъ, какъ будто долгій трудъ,
Болѣзнь, иль голодъ испыталъ.
Онъ на допросъ не отвѣчалъ
И съ каждымъ днемъ примѣтно вялъ.
И близокъ сталъ его конецъ;
Тогда пришелъ къ нему чернецъ

Съ увѣщаньемъ и мольбой;
И, гордо выслушавъ, больной
Привсталъ, собравъ остатокъ силъ,
И долго такъ онъ говорилъ:

III.

«Ты слушать исповѣдь мою
Сюда пришелъ, благодарю.
Все лучше передъ кѣмъ-нибудь
Словами облегчить мнѣ грудь;
Но людямъ я не дѣлалъ зла,
И потому мои дѣла
Не много пользы вамъ узнать,—
А душу можно ль рассказать?
Я мало жилъ, и жилъ въ плѣну
Такихъ двѣ жизни за одну,
Но только полную тревогъ,
Я промѣнялъ бы, если-бъ могъ.
Я зналъ одной лишь думы власть,
Одну—но пламенную страсть:
Она, какъ червь во мнѣ жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
Отъ келій душевныхъ и молитвъ
Въ тотъ чудный міръ тревогъ и
битвъ,

Гдѣ въ тучахъ прячутся скалы,
Гдѣ люди вольны, какъ орлы.
Я эту страсть во тьмѣ ночной
Вскормилъ слезами и тоской;
Ее предъ небомъ и землей
Я нынѣ громко признаю
И о прощеньи не молю.

IV.

«Старикъ! я слышалъ много разъ,
Что ты меня отъ смерти спасъ—
Зачѣмъ?... Угрюмъ и одинокъ,
Грозой оторванный листокъ,
Я выросъ въ сумрачныхъ стѣнахъ,
Душой дитя, судьбой монахъ.
Я никому не могъ сказать
Священныхъ словъ «отецъ» и «мать».
Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,
Чтобъ я въ обители отвыкъ
Отъ этихъ сладостныхъ именъ—



Напрасно: звукъ ихъ былъ рожденъ
 Со мной. Я видѣлъ у другихъ
 Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,
 А у себя не находилъ
 Не только милыхъ душъ—могилъ!
 Тогда, пустыхъ не тратя слезъ,
 Въ душѣ я клятву произнесъ:
 Хотя на мигъ, когда-нибудь,
 Мою пылающую грудь
 Прижать съ тоской къ груди другой,
 Хотя незнакомой, но родной.
 Увы! теперь мечтанья тѣ
 Погибли въ полной красотѣ,
 И я, какъ жилъ, въ землѣ чужой
 Умру рабомъ и сиротой.

V.

«Меня могила не страшить:
 Тамъ, говорятъ, страданье спитъ
 Въ холодной, вѣчной тишинѣ;
 Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ.
 Я молодъ, молодъ... зналъ ли ты
 Разгульной юности мечты?
 Или не зналъ, или забылъ,
 Какъ ненавидѣлъ и любилъ;
 Какъ сердце билось живѣй
 При видѣ солнца и полей
 Съ высокой башни угловой,
 Гдѣ воздухъ свѣжъ, и гдѣ порой
 Въ глубокой скважинѣ стѣны,
 Дитя невѣдомой страны,
 Прижавшись, голубъ молодой
 Сидитъ, испуганный грозой?
 Пускай теперь прекрасный свѣтъ
 Тебѣ постылъ: ты слабъ, ты сѣдъ,
 И отъ желаній ты отвыкъ.
 Что за нужда? Ты жилъ, старикъ!
 Тебѣ есть въ мѣрѣ что забыть,
 Ты жилъ,—я также могъ бы жить!

VI.

«Ты хочешь знать, что видѣлъ я
 На волѣ?—Пышныя поля,
 Холмы, покрытые вѣнцомъ
 Деревъ, разросшихся кругомъ,
 Шумящихъ свѣжею толпой,

Какъ братья въ пляскѣ круговой.
 Я видѣлъ груди темныхъ скалъ,
 Когда потокъ ихъ раздѣлялъ,
 И думы ихъ я угадалъ:



Мнѣ было выше то дано!
 Простерты въ воздухъ давно
 Объяты каменные ихъ
 И жаждутъ встрѣчи каждый мигъ;
 Но дни бѣгутъ, бѣгутъ года—
 Имъ не сойтиться никогда!
 Я видѣлъ горные хребты,
 Причудливые какъ мечты,
 Когда въ часъ утренней зари
 Курились, какъ алтари,
 Ихъ выси въ небѣ голубомъ,
 И облачко за облачкомъ,
 Покинувъ тайный свой ночлегъ,
 Къ востоку направляло бѣгъ,
 Какъ будто бѣлый караванъ
 Залетныхъ птицъ изъ дальнихъ странъ!
 Вдали я видѣлъ сквозь туманъ,
 Въ снѣгахъ, горящихъ какъ алмазъ,
 Сѣдой, незабываемый Кавказъ,—
 И было сердцу моему
 Легко, не знаю почему.
 Мнѣ тайный голосъ говорилъ,
 Что нѣкогда и я тамъ жилъ,
 И стало въ памяти моей
 Прошедшее яснѣй, яснѣй...

vii.

«И вспомнилъ я отцовскій домъ,
Ущелье наше, и кругомъ
Въ тѣни разсыпанный аулъ;
Мнѣ слышался вечерній гулъ
Домой бѣгущихъ табуновъ
И дальній лай знакомыхъ псовъ.
Я помнилъ смуглыхъ стариковъ,
При свѣтѣ лунныхъ вечеровъ
Противъ отцовскаго крыльца
Сидѣвшихъ съ важною лица;
И блескъ оправленныхъ ножонъ
Кинжаловъ длинныхъ... и какъ сонъ
Все это смутной чередой
Вдругъ пробѣгало предо мной.
А мой отецъ? Онъ какъ живой
Въ своей одеждѣ боевой
Являлся мнѣ, и помнилъ я
Кольчуги звонъ, и блескъ ружья,
И гордый, непреклонный взоръ,—
И молодыхъ моихъ сестеръ...
Лучи ихъ сладостныхъ очей
И звукъ ихъ пѣсень и рѣчей
Надъ колыбелю моею...
Въ ущельи тамъ бѣжалъ потокъ,
Онъ шуменъ былъ, но неглубокъ;
Къ нему, на золотой песокъ,
Играть я въ полдень уходилъ
И взоромъ ласточекъ слѣдилъ,
Когда онѣ передъ дождемъ
Волны касались крыломъ.
И вспомнилъ я нашъ мирный домъ
И предъ вечернимъ очагомъ
Разказы долгіе о томъ,
Какъ жили люди прежнихъ дней,
Когда былъ міръ еще пышнѣй.

viii.

«Ты хочешь знать, что дѣлалъ я
На волѣ? Жилье—и жизнь моя
Безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней
Была-бъ печальнѣй и мрачнѣй
Безсильной старости твоей.
Давнымъ-давно задумалъ я
Взглянуть на дальнія поля,

Узнать, прекрасна ли земля;
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этотъ свѣтъ родимся мы—
И въ часъ ночной, ужасный часъ,
Когда гроза пугала васъ,
Когда, столпясь при алтарѣ,
Вы ницъ лежали на землѣ,
Я убѣжалъ. О! я какъ братъ
Обняться съ бурей былъ бы радъ!
Глазами тучи я слѣдилъ,
Рукою молнію ловилъ...
Скажи мнѣ, что средъ этихъ стѣнъ
Могли бы дать вы мнѣ въ замѣнъ
Той дружбы краткой, но живой,
Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

ix.

«Бѣжалъ я долго—гдѣ, куда,
Не знаю! Ни одна звѣзда
Не озаряла трудный путь.
Мнѣ было весело вдохнуть
Въ мою измученную грудь
Ночную свѣжесть тѣхъ лѣсовъ,—
И только. Много я часовъ
Бѣжалъ, и наконецъ, уставъ,
Прилежъ между высокихъ травъ;
Прислушался: погоди нѣтъ.
Гроза утихла. Блѣдный свѣтъ
Тянулся длинной полосой
Межъ темнымъ небомъ и землей,
И различалъ я, какъ узоръ,
На ней зубцы далекихъ горъ.
Недвижимъ, молча, я лежалъ.
Порой въ ущельи шакалъ
Кричалъ и плакалъ какъ дитя,
И, гладкой чешуей блестя,
Змѣя скользила межъ камней;
Но страхъ не сжалъ души моей;
Я самъ, какъ звѣрь, былъ чуждъ людей,
И ползъ и прятался какъ змѣй.

x.

«Внизу глубоко подо мной
Потокъ, усиленный грозой,
Шумѣлъ, и шумъ его глухой
Сердитыхъ сотнѣ голосовъ



Подобился. Хотя безъ словъ,
 Мнѣ внятенъ былъ тотъ разговоръ,
 Немолчный ропотъ, вѣчный споръ
 Съ упрямой грудю камней.
 То вдругъ стихалъ онъ, то сильнѣй
 Онъ раздавался въ тишинѣ;
 И вотъ, въ туманной вышинѣ
 Запѣли птички, и востокъ
 Озолотился; вѣтерокъ
 Сырые шевельнулъ листы;
 Дохнули сонные цвѣты,
 И какъ они, навстрѣчу дню
 Я поднятъ голову мою...
 Я осмотрѣлся; не таю:
 Мнѣ стало страшно; на краю
 Грозящей бездны я лежалъ,
 Гдѣ выль, крутятся, сердитый валь;
 Туда вели ступени скалъ;
 Но лишь злой духъ по нимъ шагаль,
 Когда, низверженный съ небесъ,
 Въ подземной пропасти исчезъ.

хл.

«Кругомъ меня цвѣлъ Божій садъ;
 Растеній радужный нарядъ
 Хранилъ слѣды небесныхъ слезъ,
 И кудри виноградныхъ лозъ
 Вились, красуясь межъ деревъ
 Прозрачною зеленью листовъ;
 И грозды полные на нихъ,
 Серегъ подобье дорогихъ,
 Висѣли пышно, и порой
 Къ нимъ птицъ леталъ пугливый рой.
 И снова я къ землѣ припалъ,
 И снова вслушиваться сталъ
 Къ волшебнымъ, страннымъ голосамъ;
 Они шептались по кустамъ,
 Какъ будто рѣчь свою вели
 О тайнахъ неба и земли;
 И всѣ природы голоса
 Сливались тутъ; не раздался
 Въ торжественный хваленъя часъ
 Лишь человѣка гордый гласъ.
 Все, что я чувствовалъ тогда,
 Тѣ думы,—имъ ужъ нѣтъ слѣда;
 Но я-бъ желалъ ихъ рассказать,

Чтобъ жить, хоть мысленно, опять.
 Въ то утро былъ небесный сводъ
 Такъ чистъ, что ангела полетъ
 Прилежный взоръ слѣдить бы могъ;
 Онъ такъ прозрачно былъ глубокъ,
 Такъ полонъ ровной синевой!
 Я въ немъ глазами и душой
 Тонулъ, пока полдневный зной
 Мои мечты не разогналъ,
 И жаждой я томиться сталъ.

хл.

«Тогда къ потоку съ высоты,
 Держась за гибкіе кусты,



Съ плиты на плиту я, какъ могъ,
 Спускаться началъ. Изъ-подъ ногъ,
 Сорвавшись, камень иногда

Катился внизъ,—за нимъ бразда
Дымила, прахъ вился столбомъ;
Гудя и прыгая, потомъ
Онъ поглощаемъ былъ волной;
И я висѣлъ надъ глубиной,—
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не
страшна!

Лишь только я съ кру-
тыхъ высотъ
Спустился, свѣжесть гор-
ныхъ водъ
Повѣяла навстрѣчу мнѣ,
И жадно я припалъ къ
волнѣ.
Вдругъ голосъ — легкій
шумъ шаговъ...
Мгновенно скрывшись
межъ кустовъ,
Невольнымъ трепетомъ
объятъ,
Я поднялъ боязливый
взглядъ
И жадно вслушиваться
сталъ:
И ближе, ближе все зву-
чалъ
Грузинки голосъ молодой,
Такъ безыскусственно
живой,
Такъ сладко вольный,
будто онъ
Лишь звуки дружескихъ
именъ
Произносить былъ приу-
ченъ.
Простая пѣсня то была,
Но въ мысль она мнѣ за-
легла,
И мнѣ, лишь сумракъ на-
стаетъ,
Незримый духъ ее поетъ.

хш.

«Держа кувшинъ надъ головой,
Грузинка узкою тропой

Сходила къ берегу. Порой
Она скользила межъ камней,
Смѣясь неловкости своей.
И бѣденъ былъ ея нарядъ;
И шла она легко, назадъ
Изгибы длинные чадры



Откинувъ. Лѣтніе жары
Покрыли тѣнью золотой
Лицо и грудь ея; и зной
Дышалъ отъ устъ ея и щекъ.
И мракъ очей былъ такъ глубокъ,

Такъ полонъ тайнами любви,
 Что думы пылкія мои
 Смутились. Помню только я
 Кувшина звонъ,—когда струя
 Вливалась медленно въ него,
 И шорохъ... больше ничего.
 Когда же я очнулся вновь
 И отлила отъ сердца кровь,
 Она была ужъ далеко;
 И шла хоть тише—но легко,
 Стройна подъ ношею своей,
 Какъ тополь, царь ея полей...
 Недалеко, въ прохладной мглѣ,
 Казалось, приросли къ скалѣ
 Двѣ сакли дружною четой;
 Надъ плоской кровлею одной
 Дымокъ струился голубой.
 Я вижу будто бы теперь,
 Какъ отперлась тихонько дверь
 И затворилась опять...
 — Тебѣ, я знаю, не понять
 Мою тоску, мою печаль;
 И если-бъ могъ,—мнѣ было-бъ жаль:
 Воспоминанья тѣхъ минутъ
 Во мнѣ, со мной пускай ум-
 рутъ.

xiv.

«Трудами ночи изнуренъ,
 Я легъ въ тѣни. Отрадный
 сонъ
 Сомкнулъ глаза невольно
 мнѣ...
 И снова видѣлъ я во снѣ
 Грузинки образъ молодой.
 И странной, сладкою тоской
 Опять моя заныла грудь.
 Я долго силился вздохнуть—
 И пробудился. Ужъ луна
 Вверху сіяла, и одна
 Лишь тучка кралась за ней,
 Какъ за добычею своей,
 Объятыя жадныя раскрывъ.
 Міръ темень былъ и молчаливъ;
 Лишь серебристой бахромой
 Вершины цѣпи снѣговой

Вдали сверкали предо мной,
 Да въ берега плескалъ потокъ.
 Въ знакомой саклѣ огонекъ
 То трепеталъ, то снова гасъ:
 На небесахъ въ полночный часъ
 Такъ гаснетъ яркая звѣзда!
 Хотѣлось мнѣ... но я туда
 Взойти не смѣлъ. Я цѣль одну,—
 Пройти въ родимую страну,
 Имѣлъ въ душѣ,—и превозмогъ
 Страданье голода, какъ могъ.
 И вотъ дорогою прямой
 Пустился, робкій и нѣмой;
 Но скоро въ глубинѣ лѣсной
 Изъ виду горы потерялъ
 И тутъ съ пути сбиваться сталъ.

xv.

«Напрасно, въ бѣшенствѣ, порой
 Я рвалъ отчаянной рукой
 Терновникъ, спутанный плющемъ:
 Все лѣсъ былъ, вѣчный лѣсъ кругомъ,
 Страшнѣй и гуще каждый часъ;



И миллиономъ черныхъ глазъ
 Смотрѣла ночи темнота
 Сквозь вѣтви каждого куста...
 Моя кружилась голова.

Я сталъ влѣзать на дерева;
 Но даже на краю небесъ
 Все тотъ же былъ зубчатый лѣсъ.
 Тогда на землю я упалъ
 И въ изступленіи рыдалъ,
 И грызъ сырую грудь земли,
 И слезы, слезы потекли
 Въ нее горячею росой...
 Но, вѣрь мнѣ, помощи людской
 Я не желалъ... Я былъ чужой
 Для нихъ навѣкъ, какъ звѣрь степной;
 И если-бъ хоть минутный крикъ
 Мнѣ измѣнилъ—клянусь, старикъ,
 Я-бъ вырвалъ слабый мой языкъ.

хvi.

«Ты помнишь, въ дѣтскіе года
 Слезы не зналъ я никогда;
 Но тутъ я плакалъ безъ стыда.
 Кто видѣть могъ? Лишь темный лѣсъ,
 Да мѣсяцъ, плывшій средь небесъ!
 Озарена его лучемъ,
 Покрыта мохомъ и пескомъ,
 Непроницаемой стѣной
 Окружена, передо мной
 Была поляна. Вдругъ по ней
 Мелькнула тѣнь, и двухъ огней
 Промчались искры... и потомъ
 Какой-то звѣрь однимъ прыжкомъ
 Изъ чащи выскочилъ и легъ,
 Играя, навзничъ на песокъ.
 То былъ пустыни вѣчный гость—
 Могучій барсъ. Сырую кость
 Онъ грызъ и весело визжалъ;
 То взоръ кровавый устремлялъ,
 Мотая ласково хвостомъ,
 На полный мѣсяцъ,—и на немъ
 Шерсть отливалась серебромъ.
 Я ждалъ, схвативъ рогатый сукъ,
 Минуту битвы; сердце вдругъ
 Зажглося жаждою борьбы
 И крови... да, рука судьбы
 Меня вела инымъ путемъ...
 Но нынче я увѣренъ въ томъ,
 Что быть бы могъ въ краю отцовъ
 Не изъ послѣднихъ удалцовъ.

хvii.

«Я ждалъ. И вотъ въ тѣни ночной
 Врага почуялъ онъ, и вой
 Протяжный, жалобный какъ стонъ,
 Раздался вдругъ... и началъ онъ
 Серdito лапой рыть песокъ,
 Всталъ на дыбы, потомъ прилегъ,
 И первый бѣшенный скачокъ
 Мнѣ страшной смертію грозилъ...
 Но я его предупредилъ.
 Ударъ мой вѣренъ былъ и скоръ.
 Надежный сукъ мой, какъ топоръ,
 Широкий лобъ его разсѣкъ...
 Онъ застоналъ, какъ человѣкъ,
 И опрокинулся. Но вновь,—
 Хотя лила изъ раны кровь
 Густой, широкою волной,—
 Бой закипѣлъ, смертельный бой!

хviii.

«Ко мнѣ онъ кинулся на грудь;
 Но въ горло я успѣлъ воткнуть
 И тамъ два раза повернуть
 Мое оружье... Онъ завылъ,
 Рванулся изъ послѣднихъ силъ,
 И мы, сплетаясь, какъ пара змѣй,
 Обнявшись крѣпче двухъ друзей,
 Упали разомъ, и во мглѣ
 Бой продолжался на землѣ.
 И я былъ страшенъ въ этотъ мигъ;
 Какъ барсъ пустынный, золь и дикъ,
 Я пламенѣлъ, визжалъ, какъ онъ:
 Какъ будто самъ я былъ рожденъ
 Въ семействѣ барсовъ и волковъ
 Подъ свѣжимъ пологомъ лѣсовъ.
 Казалось, что слова людей
 Забылъ я—и въ груди моей
 Родился тотъ ужасный крикъ,
 Какъ будто съ дѣтства мой языкъ
 Къ иному звуку не привыкъ...
 Но врагъ мой сталъ изнемогать,
 Метаться, медленнѣй дышать,
 Сдавилъ меня въ послѣдній разъ...
 Зрачки его недвижныхъ глазъ
 Блеснули грозно—и потомъ

Закрылись тихо вѣчнымъ сномъ;
Но съ торжествующимъ врагомъ
Онъ встрѣтилъ смерть лицомъ къ лицу,
Какъ въ битвѣ слѣдуетъ бойцу!...

хix.

«Ты видишь на груди моей
Слѣды глубокіе когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покровъ ихъ освѣжить
И смерть навѣки заживить.
О нихъ тогда я позабылъ,
И, вновь собравъ остатокъ силъ,
Побрелъ я въ глубинѣ лѣсной...
Но тщетно спорилъ я съ судьбой:
Она смѣялась надо мной!

хх.

«Я вышелъ изъ лѣсу. И вотъ
Проснулся день, и хороводъ
Свѣтилъ напутственныхъ исчезъ
Въ его лучахъ. Туманный лѣсъ
Заговорилъ. Вдали аулъ
Куриться началъ. Смутный гулъ
Въ долинѣ съ вѣтромъ пробѣжалъ...
Я сѣлъ и вслушиваться сталъ;
Но смолкъ онъ вмѣстѣ съ вѣтеркомъ.
И кинулъ взоры я кругомъ:
Тотъ край, казалось, мнѣ знакомъ.
Иѣ страшно было мнѣ—понять
Не могъ я долго, что опять
Вернулся я къ тюрьмѣ моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замыселъ ласкалъ,
Терпѣлъ, томился и страдалъ,
И все зачѣмъ?... Чтобъ въ цвѣтѣхъ лѣтъ,
Едва взглянувъ на Божій свѣтъ,
При звучномъ ропотѣ дубравъ
Блаженство вольности познавъ,
Унести въ могилу за собой
Тоску по родинѣ святой,
Надеждъ обманутыхъ укоръ
И вашей жалости позоръ!...
Еще въ сомнѣннѣ погружонъ,

Я думалъ—это страшный сонъ...
Вдругъ дальній колокола звонъ
Раздался снова въ тишинѣ—
И тутъ все ясно стало мнѣ...
О, я узналъ его тотчасъ!
Онъ съ дѣтскихъ глазъ уже не разъ
Сгонялъ видѣнья сновъ живыхъ
Про милыхъ ближнихъ и родныхъ,
Про волю дикую степей,
Про легкихъ, бѣшенныхъ коней,
Про битвы чудныя межъ скалъ,
Гдѣ всѣхъ одинъ я побѣждалъ!...
И слушалъ я безъ слезъ, безъ силъ.
Казалось, звонъ тотъ выходилъ
Изъ сердца—будто кто-нибудь
Желѣзомъ ударялъ мнѣ въ грудь.
И смутно понималъ я тогда,
Что мнѣ на родину слѣда
Не проложить ужъ никогда.

ххi.

«Да, заслужилъ я жребій мой!
Могучій конь, въ степи чужой,
Плохаго сбросивъ сѣдока,
На родину издалека
Найдетъ прямой и краткій путь...
Что я предъ нимъ?—Напрасно грудь
Полна желаньемъ и тоской:
То жаръ безсильный и пустой,
Игра мечты, болѣзнь ума.
На мнѣ печать свою тюрьма
Оставила... Таковъ цвѣтокъ
Темничный: выросъ одинокъ
И блѣденъ онъ межъ плитъ сырыхъ,
И долго листьявъ молодыхъ
Не распускалъ, все ждалъ лучей
Живительныхъ. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цвѣтка,
И былъ онъ въ садъ перенесенъ,
Въ сосѣдство розъ. Со всѣхъ сторонъ
Дышала сладость бытія...
Но что-жъ? Едва взошла заря,
Палящій лучъ ея обжогъ
Въ тюрьмѣ воспитанный цвѣтокъ...

xxii.

«И, какъ его, палилъ меня
Огонь безжалостнаго дня.
Напрасно пряталъ я въ траву
Мою усталую главу:
Иссохшій листь ея вѣнцомъ
Терновымъ надъ моимъ челомъ
Свивался,—и въ лицо огнемъ
Сама земля дышала мнѣ.
Сверкая быстро въ вышинѣ,
Кружились искры; съ бѣлыхъ скалъ
Струился паръ. Миръ Божій спалъ,
Въ оцѣпенѣніи глухомъ,
Отчаянья тяжелымъ сномъ.
Хотя бы крикнулъ коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячій лепетъ... Лишь змѣя,
Сухимъ бурьяномъ шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Какъ будто надписью златой
Покрытый до-низу клинокъ,
Браздя разсыпчатый песокъ,
Скользила бережно; потомъ,
Играя, нѣжась на немъ,
Тройнымъ свивался кольцомъ;
То, будто вдругъ обожжена,
Металась, прыгала она
И въ дальнихъ пряталась кустахъ...

xxiii.

«И было все на небесахъ
Свѣтло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернѣли двѣ горы.
Нашъ монастырь изъ-за одной
Сверкалъ зубчатою стѣной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвивъ каймой изъ серебра
Подошвы свѣжихъ острововъ,
По корнямъ шепчущихъ кустовъ
Бѣжали дружно и легко...
До нихъ мнѣ было далеко!
Хотѣлъ я встать—передо мной
Все закружилось съ быстротой,
Хотѣлъ кричать—языкъ сухой
Беззвученъ и недвижимъ былъ...

Я умиралъ. Меня томилъ
Предсмертный бредъ.

Казалось мнѣ,
Что я лежу на влажномъ днѣ
Глубокой рѣчки—и была
Кругомъ таинственная мгла.
И, жажду вѣчную поя,
Какъ ледъ холодная струя,
Журча, вливалась мнѣ въ грудь...
И я боялся лишь заснуть,—
Такъ было сладко, любо мнѣ...
А надо мною въ вышинѣ
Волна тѣснилася къ волнѣ
И солнце сквозь хрусталь волны
Сіяло сладостнѣй луны...
И рыбокъ пестрая стада
Въ лучахъ играли иногда.
И помню я одну изъ нихъ:
Она привѣтливѣй другихъ
Ко мнѣ ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ея спина. Она вилась
Надъ головою моею не разъ,
И взоръ ея зеленыхъ глазъ
Былъ грустно-нѣженъ и глубокъ...
И надивиться я не могъ:
Ея сребристый голосокъ
Мнѣ рѣчи странныя шепталъ,
И пѣлъ, и снова замолкалъ.
Онъ говорилъ:

«Дитя мое,
Останься здѣсь со мной:
Въ водѣ привольное житье—
И холодъ и покой.

*

«Я созову моихъ сестеръ:
Мы пляской круговой
Развеселимъ туманный взоръ
И духъ усталый твой.

*

«Усни: постель твоя мягка,
Прозраченъ твой покровъ.
Пройдутъ года, пройдутъ вѣка
Подъ говоръ чудныхъ сновъ.

*

«О, милый мой! не утаю,

Что я тебя люблю,
Люблю, какъ вольную струю,
Люблю, какъ жизнь мою...»

«И долго, долго слушалъ я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихій ропотъ свой
Съ словами рыбки золотой.
Тутъ я забылся. Божій свѣтъ
Въ глазахъ угасъ. Безумный бредъ
Безсилью тѣла уступилъ...

xxiv.

«Такъ я найдѣнъ и поднятъ былъ...
Ты остальное знаешь самъ.
Я кончилъ. Вѣрь моимъ словамъ,
Или не вѣрь, мнѣ все равно.
Меня печалить лишь одно:
Мой трупъ холодный и нѣмой
Не будетъ тлѣть въ землѣ родной,
И повѣсть горькихъ мукъ моихъ
Не призоветъ межъ стѣнъ глухихъ
Вниманье скорбное ни чье
На имя темное мое.

xxv.

«Прощай, отецъ... дай руку мнѣ:
Ты чувствуешь, моя въ огнѣ...
Знай, этотъ пламень, съ юныхъ дней
Таяся, жилъ въ груди моей;
Но нынѣ пиши нѣтъ ему,
И онъ прожогъ свою тюрьму,
И возвратится вновь къ Тому,
Кто всѣмъ законной чередой
Даетъ страданье и покой...
Но что мнѣ въ томъ? Пускай
въ раю,
Въ святомъ, заоблачномъ краю,
Мой духъ найдетъ себѣ пріютъ...
Увы! за нѣсколько минутъ
Между крутыхъ и темныхъ
скалъ,
Гдѣ я въ ребячествѣ игралъ,
Я-бъ рай и вѣчность промѣ-
нялъ!...

xxvi.

«Когда я стану умирать,
И, вѣрь, тебѣ не долго ждать—
Ты перенеси меня вели
Въ нашъ садъ, въ то мѣсто, гдѣ цвѣли
Акацій бѣлыхъ два куста...
Трава межъ ними такъ густа,
И свѣжій воздухъ такъ душистъ,
И такъ прозрачно золотистъ
Играющій на солнцѣ листь!
Тамъ положить вели меня.
Сіяньемъ голубаго дня
Упьюся я въ послѣдній разъ.
Оттуда виденъ и Кавказъ!
Быть можетъ, онъ съ своихъ высотъ
Привѣтъ прощальный мнѣ пришлетъ,
Пришлетъ съ прохладнымъ вѣтеркомъ...
И близъ меня передъ концомъ
Родной опять раздастся звукъ!
И стану думать я, что другъ
Иль братъ, склонившись надо мной,
Отеръ внимательной рукой
Съ лица кончины хладный потъ,
И что въ-полголоса поетъ
Онъ мнѣ про милую страну...
И съ этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!...»

1839 года, августа 5.





БѢГЛЕЦЪ.

ГОРСКАЯ ЛЕГЕНДА.



Гарунъ бѣжалъ быстрѣ лани,
Быстрѣй чѣмъ заяцъ отъ орла:
Бѣжалъ онъ въ страхѣ съ по-
ля брани,

Лишь онъ одинъ
пришелъ домой,
И къ саклѣ онъ

спѣшитъ знакомой;

Гдѣ кровь черкесская текла.
Отецъ и два родные брата
За честь и вольность тамъ легли,
И подъ пятой у супостата
Лежатъ ихъ головы въ пыли.
Ихъ кровь течетъ и проситъ мщенья.
Гарунъ забылъ свой долгъ и стыдъ,
Онъ растерялъ въ пылу сраженья
Винтовку, шашку,—и бѣжитъ.
И скрылся день; клубясь, туманы
Одѣли темныя поляны
Широкой бѣлой пеленой.
Пахнуло холодомъ съ востока
И надъ пустынею Пророка
Всталъ тихо мѣсяцъ золотой.
Усталый, жаждою томимый,
Съ лица стирая кровь и потъ,
Гарунъ межъ скалъ аулъ родимый
При лунномъ свѣтѣ узнаетъ.
Подкрался онъ, никѣмъ незримый;
Кругомъ молчанье и покой.
Съ кровавой битвы невредимый

Тамъ блещетъ свѣтъ: хозяинъ—дѣма.
Скрѣпясь душой, какъ только могъ,
Гарунъ ступилъ черезъ порогъ.
Селима звалъ онъ прежде другомъ;
Селимъ пришельца не узналъ;
На ложѣ, мучимый недугомъ,
Одинъ, онъ молча умиралъ.
«Великъ Аллахъ! отъ злой отравы
Онъ свѣтлымъ ангеламъ своимъ
Велѣлъ беречь тебя для славы...
Что новаго?...» спросилъ Селимъ,
Поднявъ слабѣющія вѣжды.
И взоръ блеснулъ огнемъ надежды,
И онъ привсталъ, и кровь бойца
Вновь разыгралась въ часъ конца.
—Два дня мы бились въ тѣснинѣ:
Отецъ мой палъ, и братья съ нимъ.
И скрылся я одинъ въ пустынѣ,
Какъ звѣрь преслѣдуемъ, гонимъ,
Съ окровавленными ногами
Отъ острыхъ камней и кустовъ,
Я шелъ безвѣстными тропами



По слѣду вепрей и волковъ.
 Черкесы гибнутъ. Врагъ повсюду.
 Прими меня, мой старый другъ,
 И, вотъ Пророкъ!—твоихъ услугъ,
 Я до могилы не забуду.
 И умирающій въ отвѣтъ:
 «Ступай! достоинъ ты презрѣнья!
 Ни крова, ни благословенья
 Здѣсь у меня для труса нѣтъ!»
 Стыда и тайной муки полный,
 Безъ гнѣва выслушавъ упрекъ,
 Ступилъ опять Гарунъ безмолвный
 За непривѣтливый порогъ.
 И саклю новую минуя,
 На мигъ остановился онъ,
 И прежнихъ дней летучій сонъ
 Вдругъ обдалъ жаромъ поцѣлуя
 Его холодное чело.
 И стало сладко и свѣтло
 Его душѣ; во мракѣ ночи,
 Казалось, пламенные очи
 Блеснули ласково предъ нимъ,
 И онъ подумалъ: «я любимъ...
 Она лишь мной живетъ и дышитъ...»
 И хочетъ онъ войти—и слышитъ...
 И слышитъ пѣсню старины.
 И сталъ Гарунъ блѣднѣй луны.

«Мѣсяцъ плыветъ,
 И тихъ, и спокоенъ,
 И юноша-воинъ
 На битву идетъ.
 Ружье заряжаетъ джигитъ,
 И дѣва ему говоритъ:
 «Мой милый, смѣлѣе
 Ввѣряйся ты року.
 Молися Востоку,
 Будь вѣренъ Пророку,
 Будь славѣ вѣрнѣе.
 Своимъ измѣнившій—
 Измѣной кровавой,
 Врага не сразивши,
 Погибнетъ безъ славы;
 Дожди его ранъ не обмоютъ,
 И звѣри костей не заруютъ».
 Въ горахъ никого нѣтъ,

Кто-бъ вынесъ позоръ,
 И труса прогонитъ
 Красавица горъ!»

Главой поникнувъ, съ быстротою
 Гарунъ свой продолжаетъ путь,
 И крупная слеза, порою,
 Съ рѣсницы падаетъ на грудь.
 Но вотъ, отъ бури наклоненный,
 Предъ нимъ родной бѣлѣтъ домъ;
 Надеждой снова ободренный,
 Гарунъ стучится подъ окномъ;
 Тамъ, вѣрно, теплыя молитвы
 Восходятъ къ небу за него;
 Старуха-мать ждетъ сына съ битвы,
 Но ждетъ его—не одного.
 «Мать, отвори! я странникъ бѣдный,
 Я твой Гарунъ, твой младшій сынъ,
 Сквозь пули русскія безвредно
 Пришелъ къ тебѣ...»

— Одинъ?

«Одинъ!»

— А гдѣ отецъ и братья?

«Пали.

Пророкъ ихъ смерть благословилъ,
 И ангелы ихъ души взяли».

— Ты отомстилъ?

«Не отомстилъ...»

Но я стрѣлой пустился въ горы,
 Оставилъ мечъ въ чужомъ краю,
 Чтобы твои утѣшить взоры
 И утереть слезу твою.
 — Молчи, молчи! гяуръ лукавый,
 Ты умереть не могъ со славой!
 Такъ удались, живи одинъ.
 Твоимъ стыдомъ, бѣглецъ свободы,
 Не омрачу я стары годы.
 Ты рабъ и трусь... а мнѣ не сынъ!—
 Умолкло слово отверженья,
 И все кругомъ объято сномъ.
 Проклятя, стоны и моленья
 Звучали долго подъ окномъ;
 И наконецъ ударъ кинжала
 Пресѣкъ несчастнаго позоръ,
 И мать поутру увидала,
 И хладно отвернула взоръ.

И трупъ, отъ праведныхъ изгнанный,
Никто къ кладбищу не отнесъ,
И кровь его съ глубокой раны

Въ преданьяхъ вольности остались
Позоръ и гибель бѣглеца.
Душа его отъ глазъ Пророка



Лизалъ, рыча, домашній песъ.
Ребята малые ругались
Надъ хладнымъ тѣломъ мертвеца;

Со страхомъ удалилась прочь,
И тѣнь его въ горахъ Востока
Понинѣ бродить въ темну ночь;

И подъ окномъ, поутру рано,
Онъ въ саклю просится, стуча;
Но, внемля громкій стихъ Корана,

Бѣжитъ опять подъ сѣнь тумана,
Какъ прежде бѣгаль отъ меча.

1841 г.



КАЗНАЧЕЙША.

Играй, да не отыгрывайся.

Пословица.

ПОСВЯЩЕНИЕ.

II.



Рускай слыву я старовѣромъ,
Мнѣ все равно, я даже радъ;
Пишу Онѣгина размѣромъ:
Пою, друзья, на старый ладъ.
Прошу послушать эту сказку;
Ея неожиданную развязку
Одобрите, быть можетъ, вы
Склоненьемъ легкимъ головы.
Обычай древній наблюдая,
Мы благодѣтельнымъ виномъ—
Стихи негладкіе запѣмъ—
И пробѣгутъ они, хромая,
За мирною своей семьей
Къ рѣкѣ забвенья на покой.

I.

Тамбовъ на картѣ генеральной
Кружкомъ означенъ не всегда;
Онъ прежде городъ былъ опальный,
Теперь же, право, хоть куда!
Тамъ есть три улицы прямая,
И фонари и мостовыя;
Тамъ два трактира есть: одинъ
Московский, а другой Берлинъ;
Тамъ есть еще четыре будки,
При нихъ два будочника есть,
По формѣ отдають вамъ честь,
И смѣна имъ два раза въ сутки;
.
Короче, славный городокъ!

Но скука, скука, Боже правый,
Гостить и тамъ, какъ надъ Невой,
Поить васъ прѣсною отравой
Ласкаетъ черствою рукой.
И тамъ есть чопорные франты,
Неумолимые педанты,
И тамъ нѣтъ средства отъ глупцовъ
И музыкальныхъ вечеровъ;
И тамъ есть дамы—просто, чудо!
Діаны строгія въ чепцахъ,
Съ отказомъ вѣчнымъ на устахъ.
При нихъ нельзя подумать худо:
Въ глазахъ грѣховное прочтутъ,
И васъ осудятъ, проклянутъ.

III.

Вдругъ оживился кругъ дворянскій,
Губернскихъ дѣвъ нельзя узнать,
Пришло извѣстье: полкъ уланскій
Въ Тамбовѣ будетъ зимовать.
Уланы, ахъ! такіе хваты!...
Полковникъ, вѣрно, неженатый;
А ужъ бригадный генералъ
Конечно дастъ блестящій балъ.
У матушекъ сверкнули взоры;
За то, несносные скупцы,
Неумолимые отцы
Пришли въ раздумье: сабли, шпоры—
Бѣда для крашенныхъ половъ...
Такъ волновался весь Тамбовъ.

IV.

И вотъ однажды утромъ рано,
Въ часъ лучшій дѣвственнаго сна,
Когда сквозь пелену тумана
Едва проглядываетъ Цна,
Когда лишь куполы собора
Роскошно золотитъ Аврора,
И, тишины, извѣстный врагъ,
Еще безмолствовалъ кабакъ,

.
.

Уланы справа—по шести
Вступили въ городъ; музыканты,
Дремля на лошадахъ своихъ,
Играли маршъ изъ Двухъ Слѣпыхъ.

Тутъ не запрыгало сильнѣй?
Забута жаркая перина...
«Малашка, дура! Катерина!
«Скорѣе туфли и платокъ!
«Да гдѣ Иванъ? какой мѣшокъ!
«Два года ставни отворяютъ...»
Вотъ ставни настѣжъ. Цѣлый домъ
Третъ стекла тускляя сукномъ—
И любопытно пробѣгаютъ
Глаза опухшіе дѣвицъ
Ряды суровыхъ, пыльныхъ лицъ.

VI.

«Ахъ, посмотри сюда, кухня,
Вотъ этотъ!»—Гдѣ? майоръ? «О, нѣтъ!
Какъ онъ хорошъ, а конь—картина!



V.

Услыша ласковое ржанье
Желанныхъ вороныхъ коней,
Чье сердце, полное вниманья,

Да жаль—онъ, кажется, корнетъ...
Какъ ловко, смѣло избочился...
Повѣришь ли, онъ мнѣ приснился...
Я послѣ не могла уснуть...»
И тутъ дѣвическая грудь

Косынку тихо поднимаетъ—
И разыгравшейся мечтой
Слегка темнится взоръ живой.
Но полкъ прошелъ. За нимъ мелькаетъ
Толпа мальчишекъ городскихъ,
Немытыхъ, шумныхъ и босыхъ.

vii.

Противъ гостинницы Московской,
Притона буйныхъ усачей,
Жилъ нѣкто господинъ Бобковскій,
Губернскій старый казначей.
Давно былъ домъ его построенъ;
Хотя невзраченъ, но спокоенъ;
Межъ двухъ облупленныхъ колоннъ
Держался кое-какъ балконъ.
На кровлѣ треснувшія доски
Зеленымъ мохомъ поросли,
За то предъ окнами цвѣли
Четыре стриженныхъ березки:
Взѣмѣнъ гардинъ и пышныхъ сторъ—
Невинной роскоши уборъ.

viii.

Хозяинъ былъ старикъ угрюмый,
Съ огромной лысой головой;
Отъ юныхъ лѣтъ съ казенной суммой
Онъ жилъ, какъ съ собственной казной.
Въ пучинахъ сумрачныхъ разчета
Блуждать была его охота,
И потому онъ былъ игрокъ
[Его единственный порокъ].
Любилъ налѣво и направо
Онъ въ зимній вечеръ прометнуть,
Четвертый кушъ перечеркнуть,
Рутѣрой понтирнуть со славой,
И талью скверную порой
Запить цимлянскаго струей.

ix.

Онъ былъ врагомъ трудовъ полезныхъ,
Трибунъ тамбовскихъ удалцовъ,
Гроза всѣхъ матушекъ уѣздныхъ
И воспитатель ихъ сынковъ.
Его краплѣнны колоды
Не разъ невинные доходы

Съ индѣекъ, масла и овса
Вдругъ пожирали въ полчаса.
Губернскій врачъ, судья, исправникъ—
Таковъ его всегдашній кругъ;
Послѣдній былъ дѣлецъ и другъ,
И за столомъ такой забавникъ,
Что казначейша иногда
Сгорить, бывало, отъ стыда.

x.

Я не повѣдалъ вамъ, читатель,
Что казначей мой былъ женатъ.
Благословилъ его Создатель,
Пославъ ему въ супругъ кладъ.
Ее цѣнилъ онъ тысячь во сто,
Хотя держалъ довольно просто
И не выписывалъ чепцовъ
Ей изъ столичныхъ городовъ.
Предавъ ей таинства науки,
Какъ бросить вздохъ, иль томный взоръ,
Чтобъ легче влюбчивый понтеръ
Не разглядѣлъ проворной шулки,
Межъ тѣмъ догадливый старикъ
Съ глазъ не спускалъ ее на мигъ.

xi.

И впрямь, Авдотья Николавна
Была прелакомый кусокъ.
Идетъ, бывало, гордо, плавно—
Чуть тронетъ землю башмачекъ.
Въ Тамбовѣ не запомнятъ люди
Такой высокой, полной груди:
Бѣла какъ сахаръ, такъ нѣжна,
Что жилка каждая видна.
Казалось, для нѣжной страсти
Она родилась. А глаза...
Ну, что такое бирюза?
Что небо? Впрочемъ, я отчасти
Поклонникъ голубыхъ очей,
И не гожусь въ число судей.

xii.

А этотъ носикъ! эти губки—
Два свѣжихъ розовыхъ листка!
А перламутровые зубки,
А голосъ сладкій, какъ мечта!

Она картавя говорила,
 Нечисто *p* произносила,
 Но этотъ маленький порокъ
 Кто извинить бы въ ней не могъ?
 Любилъ трепать ея ланиты,
 Разнѣжась, старый казначей.
 Какъ жаль, что не было дѣтей
 У нихъ!

хш.

Для бѣльшей ясности романа
 Здѣсь объявить мнѣ вамъ пора,
 Что страстно влюблена въ улана
 Была одна ея сестра.
 Она, какъ должно, тайну эту
 Открыла Дунѣ по секрету.
 Вамъ не случилось двухъ сестеръ
 Замужнихъ слышать разговоръ?
 О чемъ тутъ, Боже справедливый,
 Не судятъ милыя уста!
 О, русскихъ нравовъ простота!
 Я, право, человѣкъ нелживый—
 А изъ-за ширмовъ раза два
 Такія слышалъ я слова...

xiv.

Итакъ тамбовская красотка
 Цѣнить умѣла ужъ усы

 Что жъ? знаніе ея сгубило!
 Одинъ уланъ повѣса милый
 [Я вмѣстѣ часто съ нимъ бывалъ],
 Въ трактирѣ нумеръ занималъ
 Окно въ окно съ ея уборной.
 Онъ былъ мужчина въ тридцать лѣтъ;
 Штабсъ-ротмистръ, строенъ какъ корнетъ;
 Взоръ пылкій, усъ довольно-черный:
 Короче, идеаль дѣвищъ,
 Одно изъ славныхъ русскихъ лицъ.

хv.

Онъ все отцовское имѣнье
 Еще корнетомъ прокутилъ;

Съ тѣхъ поръ дарами провидѣнья,
 Какъ птица Божія, онъ жилъ.
 Онъ спать, лежать привыкъ, не вѣ-
 дать—
 Чѣмъ будетъ завтра пообѣдать.
 Шатаясь по Руси кругомъ,
 То на курьерскихъ, то верхомъ,
 То полупьянымъ ремонтѣромъ,
 То волокитой отпускнымъ,
 Привыкъ онъ къ случаямъ такимъ,
 Что я бы самъ почелъ ихъ вздоромъ,
 Когда бы всѣ его слова
 Хоть тѣнь имѣли хвастовства.

хvi.

Страстями земными не смущаемъ,
 Онъ не терялся никогда.

 Бывало, въ дѣлѣ, подъ картечью
 Всѣхъ размѣшитъ надутой рѣчью,
 Гримасой, фарсой площадной,
 Иль неподдѣльной остротой.
 Шутя, однажды, послѣ спора,
 Всадилъ онъ другу пулю въ лобъ;
 Шутя и самъ онъ легъ бы въ гробъ,
 Иль сталъ душою заговора;
 Порой, незлобенъ, какъ дитя,
 Былъ добръ и честенъ, но шутя.

хvii.

Онъ не былъ тѣмъ, что волокитой
 У насъ привыкли называть;
 Онъ не ходилъ тропой избитой,
 Свой путь умѣя пролагать;
 Не дѣлалъ страстныхъ изъясненій,
 Не становился на колѣни;
 А не смотря на то, друзья,
 Счастливѣй былъ, чѣмъ вы и я.

 Таковъ-то былъ штабсъ-ротмистръ Га-
 ринъ:

По крайней мѣрѣ мой портретъ
 Былъ схожъ тому назадъ пять лѣтъ.

xviii.

Спѣшилъ о рѣдкостяхъ Тамбова
Онъ у трактирщика узнать.
Узналъ немало онъ смѣшнова—
Интригъ секретныхъ шесть иль пять;
Узналъ, невѣсты какъ богаты,
Гдѣ свахи водятся, иль сваты;
Но занялъ болѣе всего
Мысль безпокойную его
Разсказъ о молодой сосѣдкѣ.
«Бѣдняжка!» думаетъ уланъ:
«Такой безжизненный болванъ
Имѣетъ право въ этой клѣткѣ
Тебя стеречь! и я, злодѣй,
Не тронусь участію твоей?»

xix.

Къ окну поспѣшно онъ садится,
Надѣвъ персидскій архалукъ;
Въ устахъ его едва дымитъ
Узорный, бисерный чубукъ.
На кудри мягкіе надѣта
Ермолка вишневаго цвѣта
Съ каймой и кистью золотой—
Даръ молдаванки молодой.
Сидитъ и смотритъ онъ прилежно...
Вотъ, промелькнувши какъ во мглѣ,
Обрисовался на стеклѣ
Головки милой профиль нѣжный;
Вотъ будто стукнуло окно...
Вотъ открывается оно.

xx.

Еще безмолвенъ городъ сонный;
На окнахъ блещетъ утра свѣтъ;
Еще по улицѣ мошеной
Не раздается стукъ каретъ...
Что жъ казначейшу молодую
Такъ рано подняло? Какую
Назвать причину повѣртія?
Ужъ не безсонница ль у ней?...
На ручку опершись головкой,
Она вздыхаетъ, а въ рукѣ
Чулокъ; но дѣло не въ чулкѣ—
Заняться этимъ намъ неловко...

И если правду ужъ сказать,
Ну, кстати ль было бѣ ей вязать?

xxi.

Сначала взоръ ея прелестной
Бродилъ по синимъ небесамъ,
Потомъ склонился къ поднебесной
И вдругъ... какой позоръ и срамъ!
Напротивъ, у окна трактира,
Сидитъ мужчина—безъ мундира.
Скорѣй, штабсъ-ротмистръ, вашъ сюртукъ!
И подѣломъ... окошко стукъ...
И скрылось милое видѣнье.
Конечно, добрые друзья,
Такая грустная статья
На васъ навѣяла бѣ смушенье;
Но я отдамъ улану честь—
Онъ молвилъ: «что жъ? начало есть!»

xxii.

Два дня окно не отворялось.
Онъ терпѣливъ. На третій день
На стеклахъ снова показалась
Ея плѣнительная тѣнь.
Тихонько рама заскрипѣла;
Она съ чулкомъ къ окну подсѣла.
Но опытный замѣтилъ взглядъ
Ея заботливый нарядъ.
Своей удачею довольный,
Онъ всталъ и вышелъ со двора—
И не вернулся до утра.
Потомъ, хоть было очень больно,
Собравъ запасъ душевныхъ силъ,
Три дня къ окну не подходилъ.

xxiii.

Но эта маленькая ссора
Имѣла участь нѣжныхъ ссоръ:
Межъ нихъ завелся очень скоро
Нѣмой, но внятный разговоръ.
Языкъ любви, языкъ чудесный,
Одной лишь юности извѣстный.
Кому, кто разъ хотъ былъ любимъ,
Не сталъ ты языкомъ роднымъ?
Въ минуту страстнаго волненья
Кому хотъ разъ ты не помогъ

Близъ милыхъ устъ, у милыхъ ногъ?
Кого подъ игомъ принужденя,
Въ толпѣ завистливой и злой,
Не спасъ ты, чудный и живой?

xxiv.

Скажу короче: въ двѣ недѣли
Нашъ Гаринъ твердо могъ узнать,
Когда она встаетъ съ постели,
Пьетъ съ мужемъ чай, идетъ гулять,
Отправится ль она къ обѣдни—
Онъ въ церкви, вѣрно, не послѣдній:
Къ сырой колоннѣ прислонясь,
Стоитъ, все время не крестясь.
Лучемъ краснѣющей лампы
Его лицо озарено:
Какъ мрачно, холодно оно!
А испытующіе взгляды
То вдругъ померкнуть, то блестятъ—
Проникнуть въ грудь ея хотятъ.

xxv.

Давно разрѣшено сомнѣнье,
Что любопытенъ нѣжный полъ.
Уланъ большое впечатлѣнье
На казначейшу произвелъ
Своею странностью. Конечно,
Не надо было бѣ мысли грѣшной
Дорогу въ сердце пролагать,
Ее бояться и ласкать!

.
.
.

Жизнь безъ любви такая скверность!
А что, скажите, за предметъ
Для страсти мужъ, который сѣдъ?

xxvi.

Но время шло. «Пора къ развязкѣ!»
Такъ говорилъ любовникъ мой.
«Вздыхаютъ молча только въ сказкѣ,
А я не сказочный герой.»
Разъ входитъ, кланяясь пренизко,
Лакей.—Что это?—«Вотъ-съ записка;
Вамъ баринъ кланяться велѣлъ-съ;
Самъ не пріѣхалъ—много дѣлъ-съ;

Да приказалъ васъ звать къ обѣду,
А вечеромъ потанцовать.
Онъ самъ изволилъ такъ сказать.»
— Ступай, скажи, что я пріѣду.—
И въ три часа, надѣвъ колетъ,
Летитъ штабсъ-ротмистръ на обѣдъ.

xxvii.

Амфитріонъ былъ предводитель—
И въ день рожденія жены,
Порядка ревностный блюститель,
Созвалъ губернскіе чины
И цѣлый полкъ. Хотя бригадный
Заставилъ ждать себя изрядно
И послѣ цѣлый день зѣвалъ,
Но праздникъ въ томъ не потерялъ.
Онъ былъ устроенъ очень мило;
Въ огромныхъ вазахъ по столамъ
Стояли яблоки для дамъ;
А для мужчинъ въ буфетѣ было
Еще съ утра принесено
Въ большихъ трехъ ящикахъ вино.

xxviii.

Впередъ подъ-ручку съ генеральшей
Пошелъ хозяинъ. Вотъ за столъ
Усѣлся отъ мужчинъ подальше
Прекрасный, но стыдливый полъ,
И дружно загремѣлъ съ балкона,
Средь утѣшительнаго звона
Тарелокъ, ложекъ и ножей,
Весь хоръ уланскихъ трубачей.
Обычай древній, но прекрасный:
Онъ возбуждаетъ аппетитъ,
Порою кстати заглушить
Межъ двухъ сосѣдей говоръ страстный;
Но въ наше время рѣшено,
Что все старинное—смѣшно.

xxix.

Родовъ, обычаевъ боярскихъ
Теперь и слѣду не ищи,
И только на пирахъ гусарскихъ
Гремятъ, какъ прежде, трубачи.
О, скоро ль мнѣ придется снова
Сидѣть среди кружка родного,

Съ бокаломъ влаги золотой,
 При звукахъ пѣсни полковой?
 И скоро ль ментиковъ червонныхъ
 Привѣтный блескъ увижу я,—
 Въ тотъ сѣрый часъ, когда заря
 На строй гусаровъ полусонныхъ
 И на бивакъ ихъ, у лѣска
 Бросаетъ лучъ изподтишка?

xxx.

Съ Авдотьей Николавной рядомъ
 Сидѣлъ штабсъ-ротмистръ удалой:
 Впился въ нее упрямымъ взглядомъ,
 Крутя усы одной рукой.
 Онъ видѣлъ, какъ въ ней сердце билось..
 И вдругъ—не знаю, какъ случилось,
 Ноги ея, иль башмачка,
 Коснулся шпорой онъ слегка.
 Тутъ начались извиненья
 И завязался разговоръ;
 Два комплимента, нѣжный взоръ—
 И ужъ дошло до изъясненія..
 Да, да, какъ честный офицеръ!
 Но казначейша—не примѣръ.

xxxi.

Она, въ отвѣтъ на нѣжный шопотъ,
 Нѣмой восторгъ спѣша сокрыть,
 Невинной дружбы тяжкій опытъ
 Ему рѣшилась предложить—
 Таковъ обычай деревенскій!
 Помучить—способъ самый женскій.
 Но ужъ давно извѣстна намъ
 Любовь друзей и дружба дамъ!
 Какое адское мученье
 Сидѣть весь вечеръ tête-à-tête,
 Съ красавицей въ осьмнадцать лѣтъ!

.

xxxii.

Вобщемъ, я могъ въ году послѣднемъ
 Въ дѣвицахъ нашихъ городскихъ
 Замѣтить страсть къ воздушнымъ бред-
 нямъ

И мистицизму. Бойтесь ихъ!
 Такая мудрая супруга,
 Въ часы любовнаго досуга,
 Вамъ вдругъ захочетъ доказать,
 Что 2 и 3 совсѣмъ не пять;
 Иль, вмѣсто пламенныхъ лобзаній,
 Магнитизировать начнетъ—
 И счастливъ мужъ, коли заснетъ!..
 Плоды подобныхъ замѣчаній,
 Конечно бѣ, могъ не вѣдать міръ,
 Но польза, польза— мой кумиръ.

xxxiii.

Я балъ описывать не стану,
 Хотя это былъ блестящій балъ.
 Весь вечеръ моему улану
 Амуръ прилежно помогалъ.
 Увы!
 Не вѣрують Амуру нынѣ;
 Забыть любви волшебный царь;
 Давно остылъ его алтарь!
 Но за столичнымъ просвѣщеніемъ
 Провинціалы не спѣшатъ;

.

xxxiv.

И сердце Дуни покорилося;
 Его сковаль могучій взоръ...
 Ей дома цѣлу ночь все снилось
 Бряцанье сабли или шпоръ.
 Поутру, вставъ часу въ девятомъ,
 Садится въ шлафорѣ измятомъ
 Она за вѣчную канву—
 Все тотъ же сонъ и наяву.
 По службѣ занять мужъ ревнивый,
 Она одна—разгулъ мечтамъ!
 Вдругъ дверью стукнули. «Кто тамъ?
 Андрюшка! Ахъ, тюлень лѣнивый!...»
 Вотъ чей-то шагъ—и передъ ней
 Явился... только не Андрей.

xxxv.

Вы отгадаете, конечно,
 Кто этотъ гость неожиданный былъ.

Немного, можетъ быть, поспѣшно
 Любовникъ смѣлый поступилъ;
 Но, впрочемъ, взявши въ разсмотрѣнье
 Его минувшее терпѣнье,
 И разсудивъ, легко поймешь,
 Зачѣмъ рискуеть молодежь.
 Кивнувъ легонько головою,
 Онъ къ Дунѣ молча подошелъ,
 И на лицо ея навелъ
 Взоръ, отуманенный тоскою;
 Потомъ сталъ длинный усъ крутить,
 Вздохнулъ и началъ говорить:

xxxvi.

«Я вижу, вы меня не ждали—
 Прочестъ легко изъ вашихъ глазъ;
 Ахъ! вы еще не испытали,
 Что въ страсти значить день, что
 часть!

Среди сердечнаго волненья
 Нѣтъ силъ, нѣтъ власти, нѣтъ тер-
 пѣнья.

Я здѣсь—на все рѣшился я...
 Тебѣ я преданъ... ты моя!
 Ни мелочныя толки свѣта,
 Ничто, ничто не страшно мнѣ;
 Презрѣныя свѣтской болтовнѣ—
 Иль я умру отъ пистолета...
 О, не пугайся, не дрожи!
 Вѣдь я любимъ—скажи, скажи!...»

xxxvii.

И взоръ его притворно-скромный,
 Склоняясь къ ней, то угасалъ,
 То, разгараясь страстью томной,
 Огнемъ сверкающимъ пылалъ.
 Блѣдна, въ смущеніи оставалась
 Она предъ нимъ... Ему казалось,
 Что чрезъ минуту для него
 Любви наступитъ торжество...
 Какъ вдругъ внезапный и невольный
 Стыдъ овладѣлъ ея душой—
 И, вспыхнувъ вся, она рукой
 Толкнула прочь его: «довольно!
 Молчите—слышать не хочу!
 Оставьте ль?... я кричу!...»

xxxviii.

Онъ смотритъ: это не притворство,
 Не шутики—какъ ни говори—
 А просто, женское упорство,
 Капризы—чортъ ихъ побери!
 И вотъ... о, верхъ всѣхъ униженій!
 Штабсъ-ротмистръ преклонилъ колѣни
 И молить жалобно... Какъ вдругъ
 Дверь настѣжъ—и въ дверяхъ супругъ.
 Красотка «ахъ!» Они взглянули
 Другъ другу сумрачно въ глаза;
 Но молча разнеслась гроза,
 И Гаринъ вышелъ. Дома пули
 И пистолеты снарядилъ,
 Присѣлъ—и трубку закурилъ.

xxxix.

И черезъ часъ ему приносить
 Записку грязную лакей.
 Что это? Чудо! нынче просить
 Къ себѣ на вистикъ казначей:
 Онъ именинникъ—будутъ гости...
 Отъ удивленія и злости
 Чуть не задохся нашъ герой.
 Ужъ не обманъ ли тутъ какой?
 Весь день проводить онъ въ волненьи.
 Насталъ и вечеръ наконецъ.
 Глядитъ въ окно: каковъ хитрецъ!
 Домъ полонъ; что за освѣщенье!
 А все—засунуть, или нѣтъ,
 Въ карманъ, на случай, пистолетъ?

xl.

Онъ входитъ въ домъ. Его встрѣчаетъ
 Она сама, потупя взоръ.
 Вздохъ полновѣсный прерываетъ
 Едва начатый разговоръ.
 О сценѣ утренней ни слова.
 Они другъ другу чужды снова.
 Онъ о погодѣ говорить;
 Она—«да-съ», «нѣтъ-съ», и замолчить...
 Измученъ тайною досадой,
 Идетъ онъ дальше въ кабинетъ...
 Но здѣсь спѣшить намъ нужды нѣтъ,
 Притомъ спѣшить нигдѣ не надо.

Итакъ, позвольте отдохнуть,
А тамъ dokonчимъ какъ нибудь.

XLI.

Я жить спѣшилъ въ былые годы,
Искалъ волненій и тревогъ;
Законы мудрые природы
Я безразсудно пренебрегъ.
Что жъ вышло? Право, смѣхъ и жалость!
Сковала душу мнѣ усталость,
А сожалѣнье день и ночь
Твердить о прошломъ. Чѣмъ помочь?
Назадъ не возвратятъ усилія.
Такъ въ клѣткѣ молодой орель,
Глядя на горы и на доль,
Напрасно не подъемятъ крылья,
Кровавой пищи не клюетъ,
Сидить, молчить и смерти ждать.

XLII.

Ужель исчезъ ты возрастъ милый,
Когда все сердцу говоритъ,
И бьется сердце съ дивной силой,
И мысль восторгами кипитъ?
Не все жъ томиться бесполезно
Орлу за клѣткою желѣзной.
Онъ свой воздушный прежній путь
Еще найдетъ когда-нибудь,
Туда, гдѣ снѣгомъ и туманомъ
Одѣты темныя скалы,
Гдѣ гнѣзда выютъ одни орлы,
Гдѣ тучи бродятъ караваномъ—
Тамъ можно крылья развернуть
На вольный и роскошный путь.

XLIII.

Но есть всему конецъ на свѣтѣ
И даже выпреннимъ мечтамъ.
Ну, къ дѣлу. Гаринъ въ кабинетѣ...
О, чудеса! хозяинъ самъ
Его встрѣчаетъ съ восхищеньемъ.
Сажаетъ, подчууетъ варенье,
Несетъ шампанскаго стаканъ.
«Гуда!» мыслить мой уланъ.
Толпа гостей тѣснилась шумно
Вокругъ зеленого стола;

Игра ужъ дѣльная была,
И банкъ притомъ благоразумный.
Его держалъ самъ казначей
Для облегченія друзей.

XLIV.

И такъ какъ господинъ Бобковскій
Великимъ дѣломъ занятъ самъ,
То здѣсь блестящій кругъ тамбовскій
Позвольте мнѣ представить вамъ.
Во-первыхъ, господинъ совѣтникъ—
Блюститель нравовъ, мирный сплетникъ,
.
.
А вотъ уѣздный предводитель—
Весь спрятанъ въ галстухъ, фракъ до
пятъ,

Дискантъ, усы и мутный взглядъ;
А вотъ спокойствія рачитель
Сидитъ и самъ исправникъ... но
Объ немъ ужъ я сказалъ давно.

XLV.

Вотъ въ полуфрачкѣ, раздуженный,
Временъ новѣйшихъ Митрофанъ;
Нетѣсанный, недоученый,
А ужъ безнравственный болванъ.
Довѣрье полное имѣя
Къ игрѣ и знанью казначея,
Онъ понтируетъ какъ велятъ—
И этой чести очень радъ.
Еще тутъ были... но довольно,
Читатель милый, будетъ съ васъ;
И такъ несвязный мой рассказъ,
Перу покорствуя невольно
И своенравію чернилъ,
Богъ знаетъ чѣмъ я испестрилъ.

XLVI.

Пошла игра. Одинъ, блѣднѣя,
Рвалъ карты, вскрикивалъ; другой,
Повѣрить проигрышъ не смѣя,
Сидѣлъ съ поникшей головой.
Иные, при удачной тальи,
Стаканы шумно наливали
И чокались. Но банкометъ



Былъ нѣмъ и мраченъ. Хладный потъ
По гладкой лысинѣ струился,
Онъ все проигрывалъ до-тла.
Въ ухахъ его: дана, взяла!
Такъ и звучали. Онъ взбѣсился—
И проигралъ свой старый домъ,
И все, что въ немъ, или при немъ.

XLVII.

Онъ проигралъ коляску, дрожки,
Трехъ лошадей, два хомута,
Всю мебель, женнины сережки,
Короче—все, все до-чиста.
Отчаянья и злости полный,
Сидѣлъ онъ блѣдный и безмолвный.
Ужъ было за-полночь. Треща,
Одна погасла ужъ свѣча.
Свѣтъ утра синевато-блѣдный
Вдоль по туманнымъ небесамъ
Скользилъ. Ужъ многимъ игрокамъ
Сонъ прогулять казалось вредно,
Какъ вдругъ, очнувшись, казначей
Вниманья просить у гостей.

XLVIII.

И просить важно позволенья
Лишь талью прометнуть одну,
Но съ тѣмъ, чтобъ отыграть имѣнье,
Иль «проиграть ужъ и жену».
О страхъ! о ужасъ! о злодѣйство!
И какъ донинѣ казначейство
Еще терпѣть его могло!
Всѣхъ будто варомъ обожгло.
Уланъ одинъ прехладнокровно
Къ нему подходитъ. «Очень радъ!»
Онъ говоритъ: «пускай шумятъ;
Мы дѣло кончимъ любовно;
Но только, чуръ, не плутовать—
Иначе, вамъ не сдобровать!»

XLIX.

Теперь кружокъ понтеровъ праздныхъ
Вообразить прошу я васъ.
Цвѣта ихъ лицъ разнообразныхъ,
Блистанье ихъ очковъ и глазъ,
Потомъ усатаго героя,

Который понтируетъ стоя,
Противъ него, межъ двухъ свѣчей,
Огромный лобъ, сѣдыхъ кудрей
Покрытый рѣдкими клочками,
Улыбкой вытянутый ротъ
И двѣ руки съ колодой—вотъ
И вся картина передъ вами,
Когда прибавимъ, вдалькѣ,
Жену на креслахъ, въ уголкѣ.

I.

Что въ ней тогда происходило—
Я не берусь вамъ объяснить;
Ея лицо изобразило
Такъ много мукъ, что, можетъ быть,
Когда бы вы ихъ разгадали,
Вы поневолѣ бъ зарыдали.
Но пусть участія слеза
Не отуманитъ вамъ глаза.
Смѣшно участие въ чловѣкѣ,
Который жилъ и знаетъ свѣтъ.
Разказы вымышленныхъ бѣдъ
Въ чувствительномъ прошедшемъ вѣкѣ
Немало проливали слезъ...
Кто жъ въ этомъ выигралъ?—вопросъ.

II.

Недолго битва продолжалась.
Уланъ отчаянно игралъ,
Надъ старикомъ судьба смѣялась—
И жребій выпалъ... часъ насталь...
Тогда Авдотья Николавна,
Вставъ съ креселъ, медленно и плавно
Къ столу, въ молчаньи, подошла—
Но только цвѣтъ ея чела
Былъ страшно блѣденъ. Обомлѣла
Толпа. Всѣ ждутъ чего-нибудь—
Упрековъ, жалобъ, слезъ... Ничуть!
Она на мужа посмотрѣла
И бросила ему въ лицо
Свое вѣнчальное кольцо,—

III.

И въ обморокъ. Ее въ охапку
Схвативъ, съ добычей дорогой,
Забывъ расчеты, саблю, шапку,

Уланъ отправился домой...
Поутру вѣстію забавной
Смущень былъ городъ благонравный.
Недѣлю цѣлую спустя,
Кто очень важно, кто шутя,
Объ этомъ всѣ распространялись.
Старикъ защитниковъ нашолъ;
Улана проклялъ милый полъ—
За что? мы, право, не дознались.
Не зависть ли? Но нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!
Ухъ! я не выношу клеветъ.

ЛIII.

И вотъ конецъ печальной были,
Иль сказки—выражусь прямѣй.

Признайтесь, вы меня бранили?
Вы ждали дѣйствія, страстей?
Повсюду нынче ищутъ драмы,
Всѣ просятъ крови—даже дамы.
А я, какъ робкій ученикъ,
Остановился въ лучший мигъ:
Простымъ, нервическимъ припадкомъ
Неловко сцену заключилъ,
Соперниковъ не помирилъ,
И не поссорилъ ихъ порядкомъ...
Что жъ дѣлать!... Вотъ вамъ мой раз-
сказъ,
Друзья; покамѣсть будетъ съ васъ.

1836 г.

БОЯРИНЪ ОРША.

ГЛАВА I.

Then burst her heart in one long shriek
And to the heart she fell like stone
As statue from its base o'erthrown.
Byron.



О ВРЕМЯ ОНО ЖИЛЪ ДА БЫЛЪ
ВЪ МОСКВѢ БОЯРИНЪ МИХАИЛЪ,
ПРОЗВАНЬЕМЪ ОРША.—ВАЖНЫЙ
санъ

Даль Оршѣ Грозный Іоаннъ;
Онъ далъ ему съ руки своей
Кольцо—наслѣдіе царей;
Онъ далъ ему, въ веселый мигъ,
Соболью шубу съ плечъ своихъ;
Въ день Воскресенія Христа
Поцѣловаль его въ уста,
И обѣщался въ тотъ же день
Дать тридцать царскихъ деревень,
Съ тѣмъ, чтобы Орша до конца
Не отлучался отъ дворца.

Но Орша нравомъ былъ угрюмъ:
Онъ не любилъ придворный шумъ;
При видѣ трепетныхъ льстецовъ
Шипалъ концы сѣдыхъ усовъ,
И разъ, опричнымъ огорченъ,
Такъ Іоанну молвилъ онъ:

«Надежа-царь! пусти меня
На родину.—Я день отъ дня
Все старѣю; даже не могу
Обиду выместить врагу.
Есть много слугъ въ дворцѣ твоемъ.

Пусти меня! Мой старый домъ
На берегу Днѣпра крутомъ,
Близъ рубежа Литвы чужой,
Обросъ могильною травой;
Пробудь я здѣсь еще хоть годъ,
Онъ догниетъ—и упадетъ.
Дай поклониться мнѣ Днѣпру...
Тамъ я родился,—тамъ умру!»

И онъ узрѣлъ свой старый домъ.
Покои темные кругомъ
Уставилъ златомъ и серебромъ;
Икону въ ризѣ дорогой,
Въ алмазахъ, въ жемчугѣ, съ рѣзбой,
Повѣсилъ въ каждомъ онъ углу,
И запестрѣли на полу
Узоры шолковыхъ ковровъ.
Но лучше царскихъ всѣхъ даровъ
Былъ Божій даръ—младая дочь;
Объ ней онъ думалъ день и ночь;
Въ его глазахъ она росла
Свѣжа, невинна, весела,
Цвѣтокъ грядущаго святой,
Былаго памятникъ живой!
Такъ средъ развалинъ иногда
Растетъ береза: молода,
Мила надъ плитами гробовъ
Игрою шепчущихъ листовъ...
И та холодная стѣна
Ея красой оживлена!...

.

Туманно въ полѣ и темно.
Одно лишь свѣтится окно

Въ боярскомъ домѣ, какъ звѣзда
 Сквозь тучи смотреть иногда.
 Тяжелый звякнулъ ужъ затворъ,
 Угрюмъ и пустъ широкій дворъ.
 Вотъ, испытавъ замки дверей,
 Съ гремучей связкою ключей
 Къ калиткѣ ключникъ подошелъ,
 И взоры на небо возвелъ:
 «А завтра быть грозѣ большой!»
 Сказалъ, крестясь, старикъ сѣдой.
 «Смотри-ка, молнія вдали
 Такъ и доходить до земли,
 И бѣлый мѣсяцъ, какъ монахъ,
 Завернуть въ черныхъ облакахъ;
 И воетъ вѣтеръ будто звѣрь...
 Дай кучу злата мнѣ теперь,
 Съ конюшни лучшаго коня
 Сейчасъ сѣдлайте для меня,—
 Нѣтъ, не отѣду отъ крыльца
 Ни для родимаго отца!»
 Такъ разсуждая самъ съ собой,
 Кряхтя, старикъ пошелъ домой.
 Лишь вдалекѣ едва гремятъ
 Его ключи... Вокругъ палатъ
 Все снова тихо и темно,
 Одно лишь свѣтитъ окно.

Все въ домѣ спитъ—не спитъ одинъ
 Его угрюмый властелинъ
 Въ покоѣ пышномъ и большемъ,
 На ложѣ бархатномъ своемъ.
 Полусгорѣвшая свѣча
 Предъ нимъ, сверкая и треща,
 Порой на каждый лъетъ предметъ
 Какой-то странный полусвѣтъ.
 Висятъ надъ ложемъ образа;
 Ихъ ризы блещутъ, ихъ глаза
 Вдругъ оживляются, глядятъ—
 Но съ чѣмъ сравнить подобный взглядъ?
 Онъ непонятнѣй и страшнѣй
 Всѣхъ мертвыхъ и живыхъ очей!
 Томить боярина тоска...
 Ужъ поздно. Подъ окномъ рѣка
 Шумитъ—и съ бурей заодно
 Гремучій дождь стучитъ въ окно.
 Чернѣетъ тѣнь во всѣхъ углахъ,

И—странно—Оршу обнялъ страхъ!
 Бывалъ онъ въ битвахъ, хоть и старъ,
 Противъ поляковъ и татаръ;
 Слыхалъ онъ грозный царскій гласъ,
 Встрѣчалъ и взоръ въ недобрый часъ:
 Ни разу духъ его крутой
 Не ослабѣлъ передъ бѣдой;
 Но тутъ—онъ свистнулъ, и взошелъ
 Любимый рабъ его, Соколъ.

И молвилъ Орша: «Скучно мнѣ,
 Все думы черныя однѣ.
 Садись поближе на скамью,
 И рѣчь грусть разсѣй мою...
 Пожалуй, сказку ты начни
 Про прежніе златые дни,
 И я, припомнивъ старину,
 Подъ говоръ словъ твоихъ засну.»

И на скамью присѣлъ Соколъ,
 И рѣчь такую онъ завелъ:

«Жилъ былъ за тридевять земель,
 Въ тридцатомъ княжествѣ отсель,
 Великій и премудрый царь.
 Ни въ наше времечко, ни встарь
 Никто не видывалъ пышнѣй
 Его палатъ, и много дней
 Въ весельи жизнь его текла,
 Покуда дочь не подросла.

«Тотъ царь былъ слабъ, и хилъ, и старъ,
 А дочь—непрочный вѣдь товаръ!
 Ее, какъ лучший свой алмазъ,
 Онъ скрылъ отъ молодецкихъ глазъ;
 И на его царевну-дочь
 Смотрѣлъ лишь день да темна ночь,
 И цѣловать красотку могъ
 Лишь перелетный вѣтерокъ.

«И царь тотъ раза три на дню
 Ходилъ смотрѣть на дочь свою;
 Но вздумалъ вдругъ онъ въ темну ночь
 Взглянуть, какъ спитъ младая дочь.
 Свой ключъ серебряный онъ взялъ,
 Сапожки шолковые снялъ,

И вотъ приходитъ въ башню ту,
Гдѣ скрылъ царевну-красоту...

«Вошелъ: въ свѣтлицѣ тишина;
Дочь сладко спитъ, но не одна;
Припавъ на грудь ея главой
Съ ней царскій конюхъ молодой.
И прогнѣвился царь тогда,
И повелѣлъ онъ безъ суда
Ихъ вмѣстѣ въ бочку засмолить
И въ сине море укатить...»

И быстро на устахъ раба —
Какъ будто тайная борьба
Въ то время совершалась въ немъ, —
Улыбка вспыхнула, потомъ
Онъ очи на небо возвелъ,
Вздохнулъ и смолкъ. «Ступай, Со-
коль!»

Махнувъ дрожащею рукой,
Сказалъ бояринъ: «въ часъ иной
Разскажешь сказку до конца
Про оскорбленнаго отца!»

И по морщинамъ старика,
Какъ тѣни облака, слегка
Промчались тѣни черныхъ думъ.
Встревоженный и быстрый умъ
Вблизи предвидѣлъ много бѣдъ.
Онъ жилъ: онъ зналъ людей и свѣтъ,
Онъ зломъ не могъ быть удивленъ.
Добру жъ давно не вѣрилъ онъ,
Не вѣрилъ только потому,
Что вѣрилъ нѣкогда всему!...

И вспыхнулъ въ немъ остатокъ
силъ.

Онъ съ ложа мягкаго вскочилъ,
Соболью шубу на плеча
Накинулъ онъ; въ рукѣ свѣча;
И вотъ, дрожа, идетъ скорѣй
Къ свѣтлицѣ дочери своей.
Ступени лѣстницы крутой
Подъ тяжкою его стопой
Скрипятъ и свѣчка раза два
Изъ рукъ не выпала едва.

Сочин. Лермонтова. Т. II.

Онъ видитъ: няня въ уголкѣ
Сидитъ на старомъ сундукѣ
И спитъ глубоко, и порой
Во снѣ качаетъ головой;
На ней, предчувствіемъ объять,
На мигъ онъ удержалъ свой взглядъ —
И мимо; но, послыша стукъ,
Старуха пробудилась вдругъ,
Перекрестилась и потомъ
Опять заснула крѣпкимъ сномъ,
И, занята своей мечтой,
Вновь закачала головой.



Стоитъ бояринъ у дверей
Свѣтлицы дочери своей
И чуткимъ ухомъ онъ приникъ
Къ замку — и думаетъ старикъ:
«Нѣтъ, непорочна дочь моя!»

А ты, Соколь, ты рабъ, змѣя,
За дерзкій, хитрый свой наемъ
Получишь гибельный урокъ!»
Но вдругъ.... о горе! о позоръ!
Онъ слышитъ тихій разговоръ...

первый голосъ.

О, погоди, Арсеній мой!
Вчера ты былъ совсѣмъ другой.
День безъ меня—и мигъ со мной!

второй голосъ.

Не плачь... утѣшься!—близокъ часъ—
И будетъ мѣръ ничто для насъ
Въ чужой, но близкой сторонѣ
Мы будемъ счастливы однѣ,
И не раба обнимешь ты
Среди полнотной темноты.
Съ тѣхъ поръ, ты помнишь, какъ чернецъ
Меня привезъ, и твой отецъ
Вручилъ ему свой кошелекъ,
Съ тѣхъ поръ задумчивъ, одинокъ,
Тоской по вольности томимъ,
Но нѣжнымъ голосомъ твоимъ
И блескомъ ангельскихъ очей
Прикованъ у тюрьмы моей,
Задумалъ я свой край родной

Безстрашныхъ, твердыхъ, какъ булатъ;
Людской законъ для нихъ не святъ,
Война—ихъ рай, а миръ—ихъ адъ.
Я отдалъ душу имъ въ закладъ,
Но ты моя—и я богатъ!...

И голоса замолкли вдругъ.
И слышитъ Орша тихій звукъ,
Звукъ поцѣлуя... и другой...
Онъ вспыхнулъ, дверь толкнулъ рукой
И, изстуженный и нѣмой,
Предсталъ предъ блѣдною четой...

.

Бояринъ сдѣлалъ шагъ назадъ,
На дочь онъ кинулъ злобный взглядъ,
Глаза ихъ встрѣтились—и вмигъ
Мучительный, ужасный крикъ
Раздался, пролетѣлъ—и стихъ.
И тотъ, кто крикъ сей услышалъ,
Подумалъ, вѣрно, иль сказалъ,
Что дважды изъ груди одной
Не вылетаетъ звукъ такой.
И тяжело съ ложа на коверъ,
Какъ трупъ, бездушный съ давнихъ поръ,
Небрежной сброшенный рукой,
Произведя ударъ глухой,



На вѣкъ оставить, но съ тобой!...
И скоро я въ лѣсахъ чужихъ
Нашелъ товарищей лихихъ,

Упало что-то.—И на зовъ
Боярина толпа рабовъ,
Во всемъ послушная орда,

Шумя, сбѣжалася тогда,
И безъ усилій, безъ борьбы
Схватили юношу рабы.

Нѣмъ и недвижимъ онъ стоялъ,
Покуда крѣпко обвивалъ
Всѣ члены, какъ змѣя, канатъ;
Въ нихъ проникалъ могильный хладъ
И сердце громко билось въ немъ
Тоской, отчаяньемъ, стыдомъ.

Когда жъ безумца увели,
И стукъ шаговъ утихъ вдали,
И съ нимъ остался лишь Соколъ,
Бояринъ къ двери подошелъ,
Въ послѣдній разъ въ нее взглянулъ,
Не вздрогнулъ, даже не вздохнулъ,
И трижды ключъ перевернулъ
Въ ея заржавленномъ замкѣ...
Но... ключъ дрожалъ въ его рукѣ!
Потомъ онъ отворилъ окно:
Все было на небѣ темно,
А подъ окномъ межъ дикихъ скалъ
Днѣпръ безпокойный бушевалъ.
И въ волны ключъ отъ двери той
Онъ бросилъ сильною рукой,
И тихо ключъ тотъ роковой
Былъ принятъ хладною рѣкой.

Тогда, рѣшивъ свою судьбу,
Бояринъ вѣрному рабу
На волны молча указалъ,
И тотъ поклономъ отвѣчалъ...
И черезъ часъ ужъ въ домѣ томъ
Все снова спало крѣпкимъ сномъ,
И только не спалъ въ немъ одинъ
Его угрюмый властелинъ.

ГЛАВА II.

The rest thou dost ulready know
And all my sins, and half my woe
But talk no more of penitence.

Вугон (The Giaour).

Народъ кишить въ монастырѣ;
У вратъ святыхъ и на дворѣ
Рабы боярскіе стоятъ.
Ихъ копы мѣдныя горятъ,

Ихъ шапки длинныя кругомъ
Опушены густымъ бобромъ,
За кушакомъ блестятъ у нихъ
Ножны кинжаловъ дорогихъ...
Межъ нихъ стреманный молодой,
За гриву правою рукой
Держа боярскаго коня,
Стоитъ; по временамъ, звеня,
Стремена бьются о бока;
Истертъ ногами сѣдока,
Въ пыли малиновый чепракъ;
Весь въ мылѣ, сѣрый аргамакъ
Мотаеъ гривою густой,
Бьетъ землю жилистой ногой,
Грызетъ съ досады удила,
И пѣна легкая—бѣла,
Чиста, какъ первый снѣгъ въ поляхъ—
Съ желѣза падаетъ на прахъ.

Но вотъ обѣдня отошла;
Гудятъ, режутъ колокола;
Вотъ слышно пѣнье—изъ дверей
Мелькаеъ длинный рядъ свѣчей,
Вослѣдъ игумену-отцу
Монахи сходятъ по крыльцу
И прямо въ трапезу идутъ;
Тамъ грозный судъ, послѣдній судъ
Произнесетъ отецъ святой
Надъ бѣдной, грѣшной головой.

Безмолвна трапеза была.
Къ стѣнѣ налѣво два стола
И пышныхъ креселъ полукругъ—
Издѣлье иноческихъ рукъ—
Блистали тканью парчевой;
Въ большія окна свѣтъ дневной
Врываясь бѣлой полосой,
Дробясь въ искры по стеклу,
Игралъ на каменномъ полу.
Рѣзбою мелкою стѣна
Была искусно убрана,
И на двери въ кружкахъ златыхъ
Блистали образа святыхъ.
Тяжелый, низкій потолокъ
Расписывалъ, какъ зналъ, какъ могъ,
Усердный инокъ... жалкій трудъ,

Отнявшій множество минутъ
У Бога, думъ святыхъ и дѣлъ...
Искусства горестный удѣлъ!...

На мягкихъ креслахъ предъ столомъ
Сидѣлъ въ бездѣйствіи нѣмомъ
Бояринъ Орша. Иногда
Усы сѣдые, борода,
Съ игривымъ встрѣтившись лучомъ,
Вдругъ отливались серебромъ,
И часто кудри старика
Отъ дуновенья вѣтерка
Приподымались слегка.
Движеньемъ пасмурныхъ очей
Нерѣдко онъ искалъ дверей,
И, въ нетерпѣніи, порой
Онъ по столу стучалъ рукой.

Въ концѣ противномъ залы той
Одинъ, въ цѣпяхъ, къ нему спиной,
Покрытъ одеждою раба,
Стоялъ Арсеній у столба.



Но въ молодомъ лицѣ его
Вы не нашли бѣ ни одного
Изъ чувствъ, которыхъ смутный рой
Кружится, вьется надъ душой
Въ часъ разставанія съ землей.

Хотѣлъ ли онъ передъ врагомъ
Предстать съ безчувственнымъ челомъ,
Съ холодной важностью лица,
И мстить хоть этимъ до конца?
Иль онъ невольно въ этотъ мигъ
Глубокой мыслию постигъ,
Что онъ въ цѣпи существъ давно
Едва ль не лишнее звено?...
Задумчивъ, онъ смотрѣлъ въ окно
На голубыя небеса:
Его манила ихъ краса...
И кудри легкихъ облаковъ,
Небесъ серебряный покровъ,
Неслись свободно, быстро тамъ,
Кидая тѣни по холмамъ.
И онъ увидѣлъ: у окна,
Заботой рѣзвою полна,
Летала ласточка—то внизъ,
То вверхъ, подъ каменный карнизъ,
Кидалась съ дивной быстротой
И въ щели пряталась сырой;
То, взвившись на небо стрѣлой,
Тонула въ пламенныхъ лучахъ...
И онъ вздохнулъ о прежнихъ дняхъ,
Когда онъ жилъ, страстямъ чужой,
Съ природой жизнью одной;
Блеснули тусклые глаза,
Но этотъ блескъ былъ—не слеза;
Онъ улыбнулся, но жестокъ
Въ его улыбкѣ былъ упрекъ.

И вдругъ раздался звукъ шаговъ,
Невнятный говоръ голосовъ,
Скрипъ отворяемыхъ дверей...
Они!—взошли!—Толпа людей
Въ высокихъ, черныхъ клобукахъ,
Съ свѣчами длинными въ рукахъ.
Согбенный тягостью веригъ,
Предъ ними шель слѣпой старикъ,
Отецъ-игумень.—Сорокъ лѣтъ
Ужъ онъ не зналъ что Божій свѣтъ;

Но умъ его былъ юнъ, богатъ,
Какъ сорокъ лѣтъ тому назадъ.
Онъ шелъ, склоняся на посохъ свой,
И крестъ держалъ передъ собой;
И крестъ осыпанъ былъ кругомъ
Алмазами и жемчугомъ;
И трость игумена была
Слоновой кости, такъ бѣла,
Что лишь съ сѣдой его бородой
Могла равняться бѣлизной.

Перекрестясь, онъ важно сѣлъ
И плѣнника подвѣсть велѣлъ,
И одного изъ чернецовъ
Позвалъ по имени: суровъ
И холоденъ былъ видъ лица
Того святаго чернеца.
Потомъ игумень, наклоняся,
Сказалъ боярину, смѣясь,
Два слова на ухо. Въ отвѣтъ
На сей вопросъ или совѣтъ
Кивнулъ бояринъ головой...
И вотъ слѣпецъ махнулъ рукой!
И понялъ данный знакъ монахъ —
Упрекъ готовый на устахъ
Словами книжными убралъ
И такъ преступнику вѣщалъ:
«Безумный, бранный сынъ земли!
Злой духъ и страсти привели
Тебя медовою тропой
Къ границѣ жизни сей земной.
Грѣшилъ ты много, но изъ всѣхъ
Грѣховъ страшнѣй послѣдній грѣхъ.
Простить не можетъ судъ земной,
Но въ небѣ есть судья иной:
Онъ милосердъ, ему теперь
При насъ дѣла свои повѣрь!»

АРСЕНІЙ.

Ты слушать исповѣдь мою
Сюда пришелъ—благодарю.
Не понимаю, что была
У васъ за мысль?—Мои дѣла
И безъ меня ты долженъ знать
А душу можно ль рассказать?
И если бъ могъ я эту грудь
Передъ тобою развернуть,

Ты вѣрно не прочелъ бы въ ней,
Что я безсовѣстный злодѣй!
Пусть монастырскій вашъ законъ
Рукою Бога утверждень,
Но въ этомъ сердцѣ есть другой,
Ему не менѣе святой:
Онъ оправдалъ меня—одинъ
Онъ сердца полный властелинъ!
Когда бъ сквозь бѣднѣй мой нарядъ
Не проникалъ до сердца ядъ,
Тогда я былъ бы виноватъ.
Но всѣхъ равно влечетъ судьба:
И подъ одеждою раба,
Но полный жизнью молодой,
Я человѣкъ, какъ и другой.
И ты, и ты слѣпой старикъ,
Когда бъ ея небесный ликъ
Тебѣ явился хоть во снѣ,
Ты позавидовалъ бы мнѣ
И, въ изступленьи, можетъ быть,
Рѣшилъ бъ также согрѣшить,
И клятвы бъ грозныя забыть,
И пережестъ бы счастливъ былъ
За слово, ласку или взоръ
Мое страданье, мой позоръ!...

О Р Ш А .

Не поминай теперь объ ней!
Напрасно!—На груди моей,
Хоть нынѣ поздно вижу я,
Согрѣлась, выросла змѣя!...
Но ты заплатишь мнѣ теперь
За хлѣбъ и соль мою, повѣрь.
За сердце жъ дочери моей
Я заплачу тебѣ, злодѣй —
Тебѣ, найденышъ безъ креста,
Презрѣнный рабъ и сирота!...

АРСЕНІЙ.

Ты правъ: не знаю, гдѣ рождень,
Кто мой отецъ и живъ ли онъ?
Не знаю... Люди говорятъ,
Что я тобой ребенкомъ взятъ,
И былъ я отданъ съ раннихъ поръ
Подъ строгій иноковъ надзоръ,
И выросъ въ тѣсныхъ я стѣнахъ,

Душой дитя—судьбой монахъ!
 Никто не смѣлъ мнѣ здѣсь сказать
 Священныхъ словъ «отецъ» и «мать».
 Конечно, ты хотѣлъ, старикъ,
 Чтобъ я въ обители отвыкъ
 Отъ этихъ сладостныхъ именъ?
 Напрасно: звукъ ихъ былъ рождень
 Со мной. Я видѣлъ у другихъ
 Отчизну, домъ, друзей, родныхъ,
 А у себя не находилъ
 Не только милыхъ душъ—могилъ!
 Но нынче самъ я не хочу
 Предать ихъ имя палачу,
 И все, что славно было бъ въ немъ,
 Облить и кровью и стыдомъ.
 Умру, какъ жилъ, твоимъ рабомъ!...
 — Нѣтъ, не грози, отецъ святой:
 Чего бояться намъ съ тобой?
 Обоихъ насъ могила ждетъ...
 Не все ль равно—что день, что годъ?
 Никто ужъ намъ не господинъ;
 Ты въ рай, я въ адъ—но путь одинъ!
 Съ тѣхъ поръ, какъ длится жизнь моя,
 Два раза былъ свободенъ я:
 Послѣдній—нынѣ... Въ первый разъ,
 Когда я жилъ еще у васъ,
 Среди молитвъ и пыльныхъ книгъ,
 Пришло мнѣ въ мысли, хоть на мигъ
 Взглянуть на синія поля,
 Узнать прекрасна ли земля,
 Узнать для воли иль тюрьмы
 На этотъ свѣтъ родимся мы...
 И въ часъ ночной, въ ужасный часъ,
 Когда гроза пугала васъ,
 Когда, столпясь при алтарѣ,
 Вы ницъ лежали на землѣ,
 При блескѣ молній роковыхъ
 Я убѣждалъ изъ стѣнъ святыхъ;
 Боязнь съ одеждой кинулъ прочь,
 Благословилъ и хладъ и ночь,
 Забылъ печали бытія
 И бурю братомъ назвалъ я.
 Восторгомъ бѣшенымъ объять,
 Съ ней унести я былъ бы радъ;
 Глазами тучи я слѣдилъ,
 Рукою молнію ловилъ!

О старецъ! что средь этихъ стѣнъ
 Могли бы дать вы мнѣ взаменъ
 Той дружбы краткой и живой
 Межъ бурнымъ сердцемъ и грозой?...

игуменъ.

На что намъ знать твои мечты?
 Не для того предъ нами ты!
 Въ другомъ ты нынѣ обвиненъ
 И хочетъ истины законъ.
 Открой же намъ друзей своихъ —
 Убійцъ, разбойниковъ ночныхъ,
 Которыхъ страшныя дѣла
 Смываетъ кровь и кроетъ мгла,
 Съ которыми, забывши честь,
 Ты мнилъ несчастную увезть.

арсеній.

Мнѣ ихъ назвать?—Отецъ святой,
 Вотъ что умереть во мнѣ, со мной.
 О, нѣтъ, ихъ тайну—не мою,
 Я неизмѣнно сохраняю,
 Пока земля въ урочный часъ
 Какъ двухъ друзей не приметъ насъ.
 Пытай желѣзомъ и огнемъ —
 Я не признаюся ни въ чемъ;
 И если хоть минутный крикъ
 Измѣнитъ мнѣ... тогда, старикъ,
 Я вырву слабый мой языкъ!...

монахъ.

Страшись упорствовать, глупецъ!
 Къ чему?... Ужъ близокъ твой конецъ.
 Скорѣ тайну намъ предай.
 За гробомъ есть и адъ и рай,
 И вѣчность въ томъ или другомъ...

арсеній.

Послушай, я забылся сномъ
 Вчера въ темницѣ. Слышу вдругъ
 Я приближающійся звукъ,
 Знакомый, милый разговоръ,
 И будто вижу ясный взоръ...
 И пробудясь, во тьмѣ скорѣй
 Ищу тѣхъ звуковъ, тѣхъ очей...
 Увы! они въ груди моей!

Они на сердцѣ, какъ печать,
 Чтобъ я не смѣлъ ихъ забывать,
 И жгутъ его, и вновь живутъ...
 Они мой рай, они мой адъ!
 Для воспоминаія объ нихъ
 Жизнь—ничего, а вѣчность—мигъ!...

игумень.

Богохулитель, удержиись!
 Пади на землю, плачь, молись,
 Прими святую въ грудь боязнь...
 Мечтанья злыя—Божья казнь!
 Молись ему...

АРСЕНІЙ.

Напрасный трудъ!
 Не говори, что Божій судъ
 Опредѣляетъ мнѣ конецъ:
 Все люди, люди, мой отецъ!
 Пускай умру... но смерть моя
 Не продолжитъ ихъ бытія,
 И дни грядущіе мои
 Имъ не присвоить—и въ крови,
 Неправой казнью пролитой,
 Въ крови безумца молодой
 Имъ разогрѣть не суждено
 Сердца, увядшія давно;
 И гробъ безъ камня и креста,
 Какъ жизнь ихъ ни была свята,
 Не будетъ слабымъ ихъ ногамъ
 Ступенью новой къ небесамъ;
 И тѣнь несчастнаго, повѣрь,
 Не отопретъ имъ рая дверь...
 Меня могила не страшитъ:
 Тамъ, говорятъ, страданье спитъ
 Въ холодной вѣчной тишинѣ...
 Но съ жизнью жаль разстаться мнѣ:
 Я молодъ, молодъ—зналъ ли ты,
 Что значитъ молодость, мечты?
 Или не зналъ? или забылъ,
 Какъ ненавидѣлъ и любилъ,
 Какъ сердце билось живѣй
 При видѣ солнца и полей
 Съ высокой башни угловой,
 Гдѣ воздухъ свѣжъ, и гдѣ, порой,
 Въ глубокой трещинѣ стѣны,
 Дитя невѣдомой страны,

Прижавшись, голубъ молодой
 Сидитъ, испуганный грозой?...
 Пускай теперь прекрасный свѣтъ
 Тебѣ постыль... ты слѣпъ, ты сѣдъ,
 И отъ желаній ты отвыкъ...
 Что за нужда? ты жилъ, старикъ;
 Тебѣ есть въ мірѣ что забыть...
 Ты жилъ—я также могъ бы жить!...

Но тутъ игумень съ мѣста всталъ,
 Рѣчь нечестивую прервалъ,
 И, негодуя, всѣ вокругъ
 На гордый видъ и гордый духъ,
 Столь непреклонный предъ судьбой,
 Шептались грозно межъ собой,
 И слово «пытка» тамъ и тамъ
 Вмигъ пробѣжало по устамъ.
 Но узникъ былъ невозмутимъ,
 Безчувственно внималъ онъ имъ.
 Такъ бурей брошенъ на песокъ
 Худой, увязнувшій челнокъ,
 Лишенный веселъ и гребцовъ,
 Недвижимъ ждетъ напоръ валовъ.

.

Свѣтаетъ. Въ полѣ тишина,
 Густой туманъ, какъ пелена
 Съ посеребренною каймой,
 Клубится надъ Днѣпромъ-рѣкой.
 И сквозь него высокій боръ,
 Разсыпанный по скату горъ,
 Безмолвно смотрится въ рѣкѣ,
 Едва чернѣя вдаль...
 И изъ-за тѣхъ густыхъ лѣсовъ
 Выходятъ стаи облаковъ,
 А изъ-за нихъ, огнемъ горя,
 Выходитъ красная заря.
 Блестятъ кресты монастыря;
 По длиннымъ башнямъ и стѣнамъ
 И по расписаннымъ вратамъ
 Прекрасный, чистый и живой,
 Какъ счастье жизни молодой,
 Играетъ лучъ ея златой.

Унылый звонъ колоколовъ
 Созвалъ ужъ въ храмъ святыхъ отцовъ;
 Ужъ дымъ кадилъ между столбовъ
 Вился струей и хоръ звучалъ...
 Вдругъ въ церковь служка прибѣжалъ;
 Отцу-игумену шепнулъ
 Онъ что-то скоро—тотъ вздрогнулъ
 И молвилъ: «Гдѣ же казначей?
 Поди, спроси его скорѣй —
 Не затерялъ ли онъ ключей?»
 И казначей изъ алтаря
 Пришелъ, дрожа и говоря,
 Что всѣ ключи еще при немъ,
 Что не виновенъ онъ ни въ чемъ!
 Засуетились чернецы,
 Забѣгали во всѣ концы,
 И сводъ нерѣдко повторялъ
 Слова: бѣжалъ! кто? какъ бѣжалъ?
 И въ монастырскую тюрьму
 Пошли, одинъ по одному,
 Загадкой мучася простой,
 Жильцы обители святой...



Пришли, глядятъ: распилена

Рѣшотка узкаго окна,
 Во рву притоитанный песокъ
 Хранилъ слѣды различныхъ ногъ;
 Забытый, на песокѣ лежалъ
 Стальной, зазубренный кинжалъ;
 И польскій шолковый кушакъ .
 Изорванъ, скрученъ кое-какъ,
 Къ вѣтвямъ березы подъ окномъ
 Привязанъ крѣпкимъ былъ узломъ.

Пошли прилежно по слѣдамъ:
 Они вели къ Днѣпру—и тамъ
 Могли замѣтить на мели
 Рубецъ отчалившей ладьи.
 Вблизи, на прутьяхъ тростника,
 Лоскутъ того же кушака
 Висѣлъ, въ водѣ однимъ концомъ,
 Колеблемъ раннимъ вѣтеркомъ.

«Бѣжалъ!—Но кто ему помогъ?
 Конечно люди, а не Богъ!...
 И гдѣ же онъ нашелъ друзей?
 Знать, точно онъ большой злодѣй!»
 Такъ, собираясь, межъ собой
 Твердили иноки порой.

ГЛАВА III.

«'Tis hel 'tis hel I know him now;
 I know him by his pallid brow...»
 Byron (The Giaour).

Зима. Изъ глубины снѣговъ
 Встаютъ, чернѣя, пни деревъ,
 Какъ призраки, склонясь челомъ
 Надъ замерзающимъ Днѣпромъ.
 Глядится тусклый день въ стекло
 Прозрачныхъ льдинъ—и занесло
 Овраги снѣгомъ. На зарѣ
 Лишь заяцъ крадется къ норѣ
 И, прыгая назадъ впередъ,
 Свой слѣдъ запутанный кладетъ;
 Да иногда во тьмѣ ночной
 Раздастся псовъ протяжный вой,
 Когда, голодный и худой,
 Обходить волкъ вокругъ гумна,
 И если въ полѣ тишина,
 То даже слышны издали
 Его тяжелые шаги,

И скрипъ, и шелканье зубовъ,
И каждый вечеръ межъ кустовъ
Сто яркихъ глазъ, какъ свѣчи въ рядъ,
Во мракѣ, прыгають, блестятъ...

Но вьюги зимней не страшась,
Однажды въ ранній утра часъ
Бояринъ Орша далъ приказъ —
Собраться челяди своей,
Точить мечи, сѣдлатъ коней;

И разнеслась вездѣ молва,
Что безпокойная Литва
Съ толпою дерзкихъ воеводъ
На землю русскую идетъ.
Отъ войска русскаго гонцы
Во всѣ помчались концы:
Зовутъ бояръ и ихъ людей
На славный пиръ—на пиръ мечей.

Садится Орша на коня.



Далъ знакъ рукой: гремя, звеня,
 Средь вопля женщинъ и дѣтей,
 Всѣ повскакали на коней,
 И каждый съ знаменемъ креста
 За нимъ проѣхалъ въ ворота;
 Лишь онъ, безмолвный, не крестясь,
 Какъ басурманъ, татарскій князь,
 Къ своимъ приближась воротамъ,
 Возвелъ глаза—не къ небесамъ,
 Возвелъ онъ ихъ на теремъ тотъ,
 Гдѣ прежде жилъ онъ безъ заботъ,
 Гдѣ нынче вѣтеръ лишь живетъ,
 И гдѣ, качая изрѣдка
 Дверь безъ ключа и безъ замка,
 Какъ мать качаетъ колыбель,
 Поетъ гульливая метель.

.

 Умчался далѣ шумный бой,
 Оставя слѣдъ багровый свой...
 Между поверженныхъ коней,
 Обломковъ копій и мечей
 Въ то время всадникъ разѣзжалъ;
 Чего-то, мнилось, онъ искалъ,
 То низко голову склоня
 До гривы чернаго коня,
 То вдругъ привставъ на стременахъ...
 Кто жъ онъ? не русскій, и не ляхъ—
 Хоть платье польское на немъ
 Пестрѣло ярко серебромъ,
 Хоть сабля польская, звеня,
 Стучала по ребрамъ коня;
 Чела крутова смуглый цвѣтъ,
 Глаза, въ которыхъ мракъ и свѣтъ
 Въ борьбѣ смѣнялися не разъ,
 Почти могли бъ увѣрить васъ,
 Что въ немъ кипѣла кровь татаръ...
 Онъ былъ не молодъ и не старъ
 Но разсмотрѣвъ его черты,
 Не чуждая той красоты
 Невыразимой, но живой,
 Которой блескъ печальный свой
 Мысль неизмѣнная дала,
 Гдѣ все, что есть добра и зла

Въ душѣ прикованной къ землѣ,
 Отражено какъ на стеклѣ,—
 Вздохнувши, всякій бы сказалъ,
 Что жилъ онъ меньше, чѣмъ страдалъ.

Среди долины былъ курганъ.
 Корнистый дубъ, какъ великанъ,
 Его пятою попиралъ
 И горделиво разстилалъ
 Надъ нимъ, по прихоти своей,
 Шатеръ чернѣющихъ вѣтвей.
 Тутъ бой ужасный закипѣлъ,
 Тутъ и затихъ. Громада тѣлъ
 Обезображенныхъ мечемъ
 Пестрѣла на курганѣ томъ.
 И снѣгъ, окрашенный въ крови,
 Кой-гдѣ протаялъ до земли;
 Кора на дубѣ вѣковомъ
 Была изрублена кругомъ,
 И кровь на ней видна была,
 Какъ будто бы она текла
 Изъ глубины сихъ новыхъ ранъ...
 И всадникъ взѣхалъ на курганъ,
 Потомъ съ коня онъ соскочилъ
 И такъ въ раздумьи говорилъ:
 «Вотъ мѣсто—мертвый иль живой
 Онъ здѣсь... вотъ дубъ—къ нему спиной
 Прижавшись, бѣшенный старикъ
 Рубился—видѣлъ я, хоть мигъ,
 Какъ окруженъ со всѣхъ сторонъ
 Съ пятью рабами бился онъ.
 И дорого тебѣ, Литва,
 Досталась эта голова!...
 Здѣсь, сквозь толпу издалика
 Я видѣлъ, какъ его рука
 Три раза съ саблей поднялась
 И опустилась... Каждый разъ,
 Когда она являлась вновь,
 По ней ручьемъ бѣжала кровь...
 Четвертый взмахъ я долго ждалъ...
 Но съ поля онъ не побѣжалъ,
 Не могъ бѣжать, хотя бъ желалъ!...»
 И вдругъ онъ внемлетъ слабый стонъ,
 Подходить, смотреть: «это онъ!»
 Главу, омытую въ крови,
 Бояринъ приподнялъ съ земли



И слабымъ голосомъ сказалъ:
 «И я узналъ тебя! узналъ!
 Ни время, ни чужой нарядъ
 Не измѣняютъ зловѣщій взглядъ,
 И это гордое чело,
 Гдѣ преступленіе и зло
 Печать оставили свою.
 Арсеній!—Такъ! я узнаю,
 Хотя могилы на краю,
 Улыбку прежнюю твою,
 И въ ней шипящую змѣю!
 Я узнаю и голосъ твой
 Межъ звуковъ стороны чужой,
 Которыми ты, можетъ быть,
 Его желаешь измѣнить.
 Твой умыселъ постигъ я весь,
 Я знаю, для чего ты здѣсь.
 Но, вѣрный родинѣ моей,
 Не отверну теперь очей,
 Хоть ты бѣ желалъ, измѣнникъ-ляхъ,
 Прочестъ въ нихъ близкой смерти страхъ
 И сожалѣнье и печаль...
 Но знай, что жизни мнѣ не жаль,
 А жаль лишь то, что часть мой билъ,
 Покуда я не отомстилъ;
 Что не могу поднять меча,
 Что на рукахъ моихъ, съ плеча
 Омытыхъ кровью до локтей
 Злодѣевъ родины моей,
 Ни капли крови нѣтъ твоей!...»

— Старикъ! о прежнемъ позабудь...
 Взгляни сюда на эту грудь,
 Она не въ ранахъ, какъ твоя,
 Но въ ней живетъ тоска-змѣя!
 Ты отомщенъ вполне давно,
 А кѣмъ и какъ—не все ль равно?
 Но лучше мнѣ скажи, молю,
 Гдѣ отыщу я дочь твою?
 Отъ рукъ враговъ земли твоей,
 Ихъ поцѣлуевъ и мечей,
 Хоть самъ теперь межъ ними я,
 Ее спасти я поклялся!

«Скажи скорѣй въ мой старый домъ,
 Тамъ дочь моя; ни ночь, ни днемъ,
 Ни ѣсть, ни спить: все ждетъ да ждетъ,

Покуда милый не придетъ.
 Спѣши... Ужъ близокъ мой конецъ...
 Теперь обиженный отецъ
 Для васъ лишь страшень—какъ мертвецъ!..»
 Онъ дальше говорить хотѣлъ,
 Но вдругъ языкъ оцѣпенѣлъ;
 Онъ сдѣлать знакъ хотѣлъ рукой,
 Но пальцы сжались межъ собой,
 Тѣнь смерти мрачной полосой
 Промчалась на его челѣ;
 Онъ обернулъ лицо къ землѣ,
 Вдругъ протянулся, захрипѣлъ,
 И—духъ отъ тѣла отлетѣлъ.

Къ нему Арсеній подошелъ,
 И руки сжатые развелъ,
 И поднялъ голову съ земли:
 Двѣ яркія слезы текли
 Изъ побѣлѣвшихъ мутныхъ глазъ,
 Собою лишь свѣтлы, какъ алмазъ.
 Спокойны были всѣ черты,
 Исполнены той красоты,
 Лишенной чувства и ума,
 Таинственной какъ смерть сама.

И долго юноша надъ нимъ
 Стоялъ, раскаяньемъ томимъ,
 Невольно мысля о быломъ,
 Прощая—не прощенъ ни въ чемъ!
 И на груди его потомъ
 Онъ тихо распахнулъ кафтанъ:
 Старинныхъ и послѣднихъ ранъ
 На ней кровавые слѣды
 Вились, чернѣли, какъ бразды.
 Онъ руку къ сердцу приложилъ,
 И трепетъ замиравшихъ жилъ
 Ему неясно возвѣстилъ,
 Что въ буйномъ сердцѣ мертвеца
 Кипѣли страсти до конца,
 Что блескъ печальный этихъ глазъ
 Гораздо прежде ихъ погасъ...

Ужъ время шло къ закату дня,
 И сѣлъ Арсеній на коня,
 Стальные шпоры онъ въ бока
 Вонзилъ ему—и въ два прыжка
 Отъ мѣста битвы роковой

Онъ былъ далеко.—Пеленой
 Широкою за нимъ луга
 Тянулись: яркіе снѣга
 При свѣтѣ косвенныхъ лучей
 Сверкали тысячью огней.—
 Предъ нимъ стѣной знакомый лѣсъ
 Чернѣтъ на краю небесъ;
 Подъ сѣнь деревъ вѣзжаетъ онъ.
 Все тихо, всюду мертвый сонъ,
 Лишь иногда съ сѣдова пня,
 Послыша близкій храпъ коня,
 Тяжелый воронъ, царь степной,
 Слетитъ и сядетъ на другой,
 Свой кровожадный чистя клѣвъ
 О сучья жосткіе деревъ;
 Лишь отдаленный вой волковъ,
 Бѣгущихъ жадною толпой
 На мѣсто битвы роковой,
 Терялся въ тишинѣ степей...
 Сыпучій иней вокругъ вѣтвей
 Березъ и сосенъ, надъ путемъ
 Прозрачнымъ свившихся шатромъ,
 Висѣлъ косматой бахромой;
 И часто шапкой иль рукой
 Когда за нихъ онъ задѣвалъ,
 Прахъ серебристый осыпалъ
 Его лицо... И быстро онъ
 Скакалъ, въ раздумье погружонъ.
 Измучилъ непривычный бѣгъ
 Его коня. Въ глубокой снѣгъ
 Онъ вязнетъ часто... труденъ путь!
 Какъ печь, его дымится грудь;
 Отъ нетерпѣнья сѣдока
 Въ крови и пѣнѣ всѣ бока.
 Но близко, близко... Вотъ и домъ,
 На берегу Днѣпра крутомъ,
 Предъ нимъ встаетъ изъ-за горы.
 Заборы, избы и дворы
 Привѣтливо между собой
 Тѣснятся пестрою толпой,
 Лишь домъ боярскій между нихъ,
 Какъ призракъ, сумраченъ и тихъ...

— Онъ вѣхалъ на широкій дворъ:
 Все пусто... будто гладъ иль моръ
 Недавно пировали въ немъ.

Онъ слѣзъ съ коня, идетъ пѣшкомъ...
 Толпа играющихъ дѣтей,
 Испуганныхъ огнемъ очей,
 Одеждой чуждой пришлеца
 И блѣдностью его лица,
 Его встрѣчаетъ у крыльца
 И съ крикомъ убѣгаетъ прочь...
 Онъ входитъ въ домъ—въ покояхъ ночь,
 Закрыты ставни; полъ скрипитъ;
 Пустая утварь дребезжитъ
 На старыхъ полкахъ; лишь порой
 Широкой, бѣлой полосой
 Рисуюсь на печи большой,
 Проходитъ въ трещину ставней
 Холодный свѣтъ дневныхъ лучей.

И лѣстницу Арсеній зритъ;
 Сквозь сумракъ онъ бѣжитъ, летитъ
 Наверхъ, по шаткимъ ступенямъ.
 Вотъ свѣтъ мелькнулъ его очамъ,
 Предъ нимъ замерзшее окно:
 Оно давно растворено;
 Сугробомъ собрался большимъ
 Снѣгъ нараставшій подъ нимъ...
 Увы, знакомыя мѣста!
 Налѣво дверь—но заперта.
 Какъ кровью, ржавчиной покрытъ,
 Большой замокъ на ней виситъ,
 И вынувъ ножъ изъ кушака,
 Онъ всунулъ въ скважину замка,
 И затрещавъ, распался тотъ...
 И тихо дверь толкнувъ впередъ,
 Онъ входитъ робкою стопой
 Въ свѣтлицу дѣвы молодой.

Онъ руку съ трепетомъ простеръ,
 Онъ ищетъ взоромъ милый взоръ,
 И слабый шепчетъ онъ привѣтъ.
 На взглядъ и рѣчь отвѣта нѣтъ!
 Однако смято ложе сна,
 Какъ будто бы на немъ она,
 Тому назадъ лишь день, лишь часъ,
 Главу покоила не разъ,
 Младенческій вкушая сонъ.
 Но, приближаясь, видитъ онъ
 На тонкихъ, бѣлыхъ кружевахъ
 Чернѣющій слоями прахъ,

И ткани пауковъ сѣдыхъ
Вкругъ занавѣсокъ парчевыхъ.

Тогда въ окно свѣтлицы той
Упалъ заката лучъ златой,
Играя, на коверъ цвѣтной.
Арсеній голову склонилъ...
Но вдругъ затрясся, отскочилъ
И вскрикнулъ, будто на змѣю
Поставилъ онъ пятаую...
Увы! теперь онъ былъ бы радъ,
Когда бъ быстрѣй чѣмъ мысль, иль взглядъ,
Въ него проникъ смертельный ядъ...

Громаду бѣлую костей
И желтый черепъ безъ очей,
Съ улыбкой вѣчной и нѣмой—
Вотъ что узрѣлъ онъ предъ собой.
Густая, длинная коса,
Плечъ бѣломраморныхъ краса,
Разсыпавшихся, къ сухимъ костямъ
Кой-гдѣ прилипнула... и тамъ,
Гдѣ сердце чистое такой
Любовью билось огневой,
Давно безъ пищи ужъ бродилъ
Кровавый червь—жилецъ могиль...

«Такъ вотъ все то, что я любилъ!
Холодный и бездушный прахъ,
Горѣвшій на моихъ устахъ,
Теперь безъ чувства, безъ любви
Сожмутъ объятія земли!
Душа прекрасная ее,
Принявъ другое бытiе,¹
Теперь паритъ въ странѣ святой,
И какъ укоръ передо мной
Ея минутной жизни слѣдъ.

Она погибла въ цвѣтѣ лѣтъ,
Средь тайныхъ мукъ, иль безъ тревогъ,
Когда и какъ—то знаетъ Богъ.
Онъ былъ отецъ, но былъ мой врагъ:
Тому свидѣтель этотъ прахъ,
Лишенный сѣни гробовой,
На свѣтѣ признанный лишь мной!

«Да! я преступникъ, я злодѣй—
Но казнь равна ль винѣ моей?
Ни на землѣ, ни въ свѣтѣ томъ
Намъ не сойтись однимъ путемъ...
Разлуки первый грозный часъ
Сталъ вѣкомъ, вѣчною для насъ.
О, если бъ рай передо мной
Открытъ былъ властью неземной—
Клянусь, я прежде чѣмъ вступилъ
У вратъ священныхъ бы спросилъ:
Найду ли тамъ, среди святыхъ,
Погибшій рай надеждъ моихъ?
Творецъ! отдай ты мнѣ назадъ
Ея улыбку, нѣжный взглядъ;
Отдай мнѣ свѣжія уста
И голосъ сладкій какъ мечта,
Одинъ лишь слабый звукъ отдай!...
Что безъ нея земля и рай?
Одни лишь звучныя слова,
Блестящій храмъ—безъ божества!...

«Теперь осталось мнѣ одно:
Иду!—куда? Не все-ль равно
Та иль другая сторона?
Здѣсь прахъ ея, но не она!
Иду отсюда навсегда
Безъ думъ, безъ цѣли и труда,
Одинъ, съ тоской во тѣмъ ночной,
И вьюга слѣдъ завѣтъ мой!...»

1835 г.



ИЗМАИЛЬ-БЕЙ.

ВОСТОЧНАЯ ПОВѢСТЬ.

ПОСВЯЩЕНИЕ.



Опять явилось вдохновенье
Душѣ безжизненной моей,
И превращаетъ въ пѣснопѣнье
Тоску, развалину страстей.

Такъ посреди чужихъ степей,
Подругъ внимательныхъ не зная,
Прекрасный путникъ, птичка рая,
Сидитъ на деревѣ сухомъ,
Блестя лазоревымъ крыломъ;
Пускай реветъ, бушуетъ вьюга,
Она поетъ лишь объ одномъ—
Она поетъ о солнцѣ юга...

И ты, звѣзда любви моей,
Товарищъ бурь моихъ суровыхъ,
Послушай пѣсни прежнихъ дней:
Давно ужъ нѣтъ у сердца новыхъ.
Ни мрачныхъ думъ, ни думъ святыхъ
Не измѣнила власть разлуки:
Тобою полны счастья звуки,
Меня узнаешь ты въ другихъ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

*So moved on earth Circassia's daughter,
The loveliest bird of Frangeustan!
As rears her crest the ruffled swan...*
L. Byron (The Giaour)

I.

Привѣтствую тебя, Кавказъ сѣдой!
Твоимъ горамъ я путникъ не чужой:

Онѣ меня въ младенчествѣ носили
И къ небесамъ пустыни пріучили.
И долго мнѣ мечталось съ этихъ поръ
Все небо юга да утесы горъ.
Прекрасенъ ты, суровый край свободы,
И вы, престолы вѣчные природы,
Когда, какъ дымъ синѣя, облака
Подъ вечеръ къ вамъ летятъ издалека,
Надъ вами вьются, шепчутся какъ тѣни,
Какъ надъ главой огромныхъ привидѣній
Колеблемыя перья—и луна
По синимъ сводамъ странствуетъ одна.

II.

Какъ я любилъ, Кавказъ мой величавый,
Твоихъ сыновъ воинственные нравы,
Твоихъ небесъ прозрачную лазурь,
И чудный вой мгновенныхъ, громкихъ бурь,
Когда пещеры и холмы крутые
Какъ стражи окликаются ночные;
И вдругъ проглянетъ солнце, и потокъ
Озолотится, и степной цвѣтокъ,
Душистую головку поднимая,
Блеститъ какъ цвѣты небесъ и рая...
Въ вечерній часъ,—дождливыхъ облаковъ
Я наблюдалъ разодранный покровъ:
Лиловые, съ багряными краями
Одни еще грозятъ, и надъ скалами
Волшебный замокъ, чудо древнихъ дней,

Растетъ въ минуту; но еще скорѣй
Его разсѣетъ вѣтра дуновенье.
Такъ прерываетъ рѣзкій звукъ цѣпей
Преступнаго страдальца сновидѣнье,
Когда онъ зрѣтъ холмы своихъ полей...
Межъ тѣмъ бѣлѣй, чѣмъ горы снѣговья,
Идутъ на западъ облака другія
И, проводивши день, тѣснятся въ рядъ,
Другъ черезъ друга свѣтлыя глядятъ
Такъ весело, такъ пышно и безопасно,
Какъ будто жить и нравиться имъ вѣчно!...

III.

И дики тѣхъ ушелій племена;
Имъ Богъ—свобода, ихъ законъ—война;
Они растутъ среди разбоевъ тайныхъ,
Жестокихъ дѣлъ и дѣлъ необычайныхъ.
Тамъ въ колыбели пѣсни матерей
Пугаютъ русскихъ именемъ дѣтей;
Тамъ поразить врага не преступленье;
Вѣрна тамъ дружба, но вѣрнѣе мщенье;
Тамъ за добро—добро, и кровь— за кровь,
И ненависть безмѣрна какъ любовь.

IV.

Темны преданья ихъ. Старикъ чеченецъ,
Хребтовъ Казбека бѣдный уроженецъ,
Когда меня чрезъ горы провожалъ,
Про старину мнѣ повѣсть разсказалъ.
Хвалилъ людей минувшаго онъ вѣка,
Водилъ меня подъ камень Росламбека,
Повисшій надъ извилистымъ путемъ,
Какъ будто бы удержанный Аллою
На воздухѣ въ паденіи своемъ.
Онъ весь обросъ зеленою травою;
И не боясь, что камень упадетъ,
Въ его тѣни, хранимъ отъ непогодъ,
Плѣнительнѣй, чѣмъ голубыя очи
У нѣжныхъ дѣвъ ледяной полуночи,
Склоняясь въ жаръ на длинный стебелекъ,
Растетъ воспоминанія цвѣтокъ.
И подъ столѣтней, мшистою скалою,
Сидѣлъ чечень однажды предо мною;
Какъ сѣрая скала, сѣдой старикъ,
Задумавшись, главой своей поникъ...
Быть можетъ, онъ о родинѣ молился;



И, странникъ чуждый, я прервать стра-
шилсѣ

Его молчанье и молчанье скалъ:
Я ихъ въ тотъ часъ почти не различалъ.

V.

Его разсказъ, то буйный, то печальный,
Я вздумалъ перенести, на сѣверъ дальный:
Пусть будетъ страненъ въ нашемъ онъ
краю,

Какъ слышалъ, такъ его передаю.
Я не хочу, незнаемый толпою,
Чтобы какъ тайна онъ погибъ со мною;
Пускай ему не внемлютъ—до конца
Я доскажу. Кто съ гордою душою
Родился, тотъ не требуетъ вѣнца;
Любовь и пѣсни—вотъ вся жизнь пѣвца;
Безъ нихъ она пуста, бѣдна, уныла,
Какъ небеса безъ тучъ и безъ свѣтила...

VI.

Давнымъ-давно, у чистыхъ водъ,
Гдѣ по кремнямъ Подкумокъ мчитъ,
Гдѣ за Машукомъ день встаетъ,

А за крутымъ Бешту садится,
 Близъ рубежа чужой земли
 Аулы мирные цвѣли,
 Гордились дружбою взаимной;
 Тамъ каждый путникъ находилъ
 Ночлегъ и пиръ гостепріимный;
 Черкесь счастливъ и воленъ былъ.
 Красою чудной за горами
 Извѣстны были дѣвы ихъ,
 И старцы съ бѣлыми власами
 Судили распри молодыхъ.
 Весельемъ пѣсни ихъ дышали:
 Они тогда еще не знали
 Ни золота, ни русской стали.

vii.

Не все судьба голубить насъ,
 Всему свой день, всему свой часъ.
 Однажды—солнце закатилось,
 Туманъ бѣлѣлъ ужъ подъ горой,
 Но въ эту ночь аулы, мнилось,
 Не знали тишины ночной.
 Стада тѣснились и шумѣли,
 Арбы тяжелыя скрипѣли;
 Трепеща жены близъ мужей,
 Держали плачущихъ дѣтей.
 Отцы ихъ, бурками одѣты,
 Садились молча на коней
 И заряжали пистолеты,
 И на кострѣ высокомъ жгли,
 Что взять съ собою не могли.
 Когда же день новорожденный
 Завѣтный озарилъ курганъ
 И мокрый утренній туманъ
 Разсѣялъ вѣтеръ пробужденный,
 Онъ обнажилъ подошвы горъ,
 Пустой аулъ, пустое поле,
 Едва дымящійся костеръ
 И свѣжій слѣдъ колесъ—не болѣ.

viii.

Но что могло заставить ихъ
 Покинуть прахъ отцовъ своихъ,
 И добровольное изгнанье
 Искать среди пустынь чужихъ?
 Гнѣвъ Магомета? прорицанье?

О, нѣтъ! примчалась какъ-то вѣсть,
 Что къ нимъ подходитъ врагъ опасный,
 Неумолимый и ужасный,
 Что все громамъ его подвластно,
 Что силъ его нельзя и счесть.—
 Черкесь удалый въ битвѣ правой
 Умѣетъ умереть со славой,
 И у жены его молодой
 Спаситель есть—кинжалъ двойной;
 И страхъ насильства и могилы
 Не могъ бы изъ родныхъ степей
 Ихъ удалить: позоръ цѣпей
 Несли къ нимъ вражескія силы.
 Мила черкесу тишина,
 Мила родная сторона,
 Но вольность, вольность для героя
 Милѣй отчизны и покоя.
 «Въ насмѣшку русскимъ и въ укоръ
 Оставимъ мы утесы горъ;
 Пусть на тебя, Бешту суровый,
 Попробуютъ надѣтъ оковы!»
 Такъ думалъ каждый, и Бешту
 Теперь ихъ мысли понимаетъ,
 На русскихъ злобно онъ взираетъ
 Иль облаками одѣваетъ
 Вершинъ кудрявыхъ красоту.

ix.

Межъ тѣмъ летятъ за годомъ годы,
 Готовятъ мщеніе народы,
 И пятый годъ ужъ настаетъ,
 А; кровь джяуровъ не течетъ.
 Въ необитаемой пустынѣ
 Черкесь бродящій отдохнулъ,
 Построенъ новый былъ аулъ
 [Его слѣдовъ не видно нынѣ],
 Старикъ и воинъ молодой
 Кипятъ отвагой и враждой.
 Ужъ Росламбекъ съ береговъ Кубани
 Князей союзныхъ поджидалъ;
 Лезгинецъ, слыша голосъ брани,
 Готовитъ стрѣлы и кинжалъ;
 Скопилась мечь ихъ роковая
 Въ тиши надъ дремлющимъ врагомъ;
 Такъ лѣтомъ глыба снѣговая,
 Цвѣтами радуги блистая,

Висить, прохладу обѣщая,
Надъ беззаботнымъ табуномъ.

х.

Въ тотъ самый годъ, осеннимъ днемъ,
Между Желѣзной и Змѣиной,
Гдѣ чуть примѣтный путь лежалъ,
Цвѣтушей, узкою долиной
Тихонько всадникъ проѣзжалъ.
Кругомъ налѣво и направо,
Какъ бы остатки пирамидъ,
Подъѣмаясь къ небу величаво,
Гора изъ за горы глядитъ;
И далѣ царь ихъ пятиглавый,
Туманный, сизо-голубой,
Пугаетъ чудной вышиной.

xi.

Еще небесное свѣтило
Росистый лугъ не обсушило;
Со скалъ гранитныхъ надъ путемъ
Склонился дикий виноградникъ;
Его серебрянымъ дождемъ
Осыпанъ часто конь и всадникъ.
Но вотъ остановился онъ,
Какъ новой мыслью пораженъ,
Смущенный взглядъ кругомъ обводитъ—
Чего-то, мнится, не находитъ.
То пустить онъ коня стремглавъ,
То остановить и, привставъ
На стремени, дрожить, пылаетъ—
Все пусто. Онъ съ коня слѣзаетъ,
Къ землѣ сырой главу склоняетъ,
И слышитъ только шелестъ травъ...
Все одичало, онѣмѣло.
Тоскою грудь его полна...
Скажу ль? За кровлю сакли бѣлой,
За близкій топотъ табуна
Тогда онъ міръ бы отдалъ цѣлый.

xii.

Кто жъ этотъ путникъ? Русскій?
Нѣтъ.
На немъ чекмень, простой бешметъ,
Чело подъ шапкою косматой;
Ножны кинжала, пистолетъ

Блестятъ насѣчкой небогатой;
И перетянутъ онъ ремнемъ,
И шашка чуть звенитъ на немъ;
Ружье, мотаясь за плечами,
Бѣлѣтъ въ шерстяномъ чехлѣ;
И какъ же горца на сѣдлѣ
Не различить мнѣ съ казаками?
Я не ошибся—онъ черкесь.
Но смуглый цвѣтъ почти исчезъ
Съ его ланитъ; снѣга и вьюга
И холодъ сѣверныхъ небесъ,
Конечно, смыли краску юга,
Но видно все, что онъ черкесь.
Густыя брови, взглядъ орлиный,
Рѣсницы длинны и черны,
Движенья быстры и вольны.
Отвергнувъ онъ обрядъ чужбины,
Не сбрилъ бородки и усовъ,
И блещетъ бѣлый рядъ зубовъ,
Какъ брызги пѣны у береговъ.
Онъ, сколько могъ, привычекъ, правилъ
Своей отчизны не оставилъ...
Но горе, горе, если онъ,
Храня людей суровыхъ мнѣнья,
Развратомъ, ядомъ просвѣщенья
Въ Европѣ душной зараженъ!
Старикъ для чувствъ и наслажденья,
Безъ сѣдины между волостьъ,
Зачѣмъ въ страну, гдѣ все такъ живо,
Такъ непокойно, такъ игриво,
Онъ сердце мертвое принесъ?

xiii.

Какъ наши юноши онъ молодъ,
И хладенъ блескъ его очей;
Поверхность темную морей
Такъ покрываетъ ранній холодъ
Корой ледяною своей
До первой бури. Чувства, страсти,
Въ очахъ навѣки догорѣвъ,
Таятся, какъ въ пещерѣ левъ,
Глубоко въ сердцѣ; но ихъ власти
Оно никакъ не избѣжитъ:
Пусть будетъ это сердце камень—
Ихъ пробужденный адскій пламень
И камень углемъ раскалитъ.

xiv.

И все прошедшее явилось
 Какъ тѣнь умершаго ему,
 Все съ этихъ поръ перемѣнилось,
 Богъ вѣсть, и какъ и почему.
 Онъ въ поле выѣхалъ пустое—
 Вдругъ слышитъ выстрѣлъ—что такое?
 Какъ будто на смѣхъ, звукъ одинъ,
 Жилецъ ушелъ и стремнинъ,
 Трикраты отзывъ повторяетъ.
 Кинжалъ свой путникъ вынимаетъ,
 И вотъ съ винтовкой безъ штыка
 Въ кустахъ онъ видитъ казака;
 Предъ нимъ фазанъ окровавленный,
 Росой съ листьевъ окропленный,
 Блистая радужнымъ хвостомъ,
 Лежалъ въ травѣ пробить свинцомъ.
 И ближе путникъ подѣзжаетъ
 И чистымъ русскимъ языкомъ
 «Казакъ, скажи мнѣ, вопрошаетъ,
 Давно ли пусто здѣсь кругомъ?»
 — Съ тѣхъ поръ, какъ русскихъ устра-
 шился
 Неустрашимый твой народъ;
 Въ чужихъ горахъ отъ насъ онъ скрылся...
 Тому сегодня пятый годъ.

xv.

Казакъ умолкъ. Но что съ тобою,
 Черкесь? Зачѣмъ твоя рука
 Подъята съ шашкой роковою?
 Прости улыбку казака!
 Увы! свершилось наказанье:
 Въ крови, безъ чувства, безъ дыханья,
 Лежитъ на смѣшливый казакъ.
 Черкесь глядитъ на ликъ холодный,
 Въ немъ пробудился духъ природный,
 Онъ пошадить не могъ никакъ,
 Онъ удержать не могъ удара.
 Какъ въ тучахъ зарево пожара,
 Какъ лава Этны по полямъ,
 Больной румянецъ по щекамъ
 Его разлился; и блистали
 Какъ лезвіе кровавой стали
 Глаза его—и въ этотъ мигъ

Душа и адъ—все было въ нихъ!
 Оборотясь, съ улыбкой злобной,
 Черкесь на сѣверъ кинулъ взглядъ—
 Ничто, ничто смертельный ядъ
 Передъ улыбкою подобной.
 Волною поднялася грудь;
 Хотѣлъ онъ и не могъ вдохнуть;
 Холодный потъ съ чела крутова
 Катился, но изъ устъ—ни слова.

xvi.

И вдругъ очнулся онъ, вздрогнулъ,
 Къ лукъ припалъ, коня толкнулъ,
 Одно мгновенье на курганъ
 Онъ черной птицею мелькнулъ,
 И скоро скрылся весь въ туманъ.
 Черезъ камни конь его несетъ,
 Онъ не глядитъ и не боится.
 Такъ быстро скачетъ только тотъ,
 За кѣмъ раскаяніе мчится.

xvii.

Куда черкесь направилъ путь?
 Гдѣ отдохнетъ младая грудь
 И усмирится думъ волненье?
 Черкесь не хочетъ отдохнуть:
 Ужели отдыхаетъ мщенье?
 Ауль, гдѣ дѣтство онъ провелъ,
 Мечети, кровы мирныхъ селъ—
 Все уничтожилъ русскій воинъ.
 Нѣтъ, нѣтъ, не будетъ онъ спокоенъ,
 Пока изъ бѣлыхъ ихъ костей,
 Вѣкамъ грядущимъ въ поученье,
 Онъ не воздвигнетъ мавзолей
 И такъ отмститъ за униженъ
 Любезной родины своей.
 «Я знаю васъ, онъ шепчетъ, знаю!
 И вы узнаете меня;
 Давно ужъ васъ я презираю;
 Но вашу кровь пролить желаю
 Я только съ нынѣшняго дня...»
 Онъ бьетъ и дергаетъ коня,
 И конь летитъ какъ вѣтеръ степи;
 Надулись ноздри, блещетъ взоръ,
 И ужъ въ виду зубчаты цѣпи
 Кремнистыхъ безконечныхъ горъ,

И Шагъ подъѣмлетъ за ними
Съ двумя главами снѣговыми,
И путникъ мнитъ: «недалеко;
Въ часъ прискачу я къ нимъ легко.»

xviii.

Предъ нимъ, съ оттѣнкой голубою,
Полувоздушною стѣною
Нагіе тянутся хребты;
Невѣрны, странны какъ мечты,
То разойдутся, то сольются...
Ужъ часъ прошелъ, и двухъ ужъ
нѣтъ—

Они надъ путникомъ смѣются,
Они едва мѣняютъ цвѣтъ.
Блѣднѣетъ путникъ отъ досады;
Конь непривычный устаетъ;
Ужъ солнце къ западу идетъ
И больше въ воздухъ прохлады;
А все пустынные громады,
Хотя и выше и темнѣй,
Еще загадка для очей.

xix.

Но вотъ его, подобно тучѣ,
Встрѣчаетъ крайняя гора:
Пестрѣй восточнаго ковра
Холмы кругомъ, все выше, круче.
Покрытый гѣной до ушей,
Здѣсь началъ конь дышать вольнѣй;
И дѣтскихъ лѣтъ воспоминанья
Передъ черкесомъ пронеслись,
Въ груди проснулись желанья,
Во взорахъ слезы родились.
Погасла ненависть на время,
И думъ неотразимыхъ бремя
Отъ сердца, мнилось, отлегло;
Онъ поднялъ свѣтлое чело,
Смотрѣлъ и внутренно гордился,
Что онъ черкесъ, что здѣсь родился.
Межъ скалъ незыблемыхъ, одинъ,
Забылъ онъ жизни скоротечность,
Онъ, въ мысляхъ міра властелинъ,
Присвоить бы желалъ ихъ вѣчность.
Забылъ онъ все, что испыталъ:
Друзей, враговъ, тоску изгнанья

И, какъ невѣсту въ часъ свиданья,
Душой природу обнималъ.

xx.

Краснѣютъ сизыя вершины,
Лучемъ зари освѣщены;
Давно разсѣлины темны;
Катясь чрезъ узкія долины,
Туманы сонные легли,
И только топотъ лошадиный,
Звуча, теряется вдали.
Погасъ, блѣднѣя, день осенній;
Свернувъ душистые листы,
Вкушаютъ сонъ безъ сновидѣній
Полузавядшіе цвѣты;
И въ часъ урочный молчаливо
Изъ-подъ камней ползетъ змѣя,
Играетъ, нѣжится лѣниво,
И серебрится чешуя
Надъ перегибистой спиною;
Такъ сталь кольчуги иль копья
[Когда забыты послѣ бою
Они на полѣ роковомъ],
Въ кустахъ найденная луною,
Блится въ сумракѣ ночномъ.

xxi.

Ужъ поздно. Путникъ одинокой
Одѣлся буркою широкой.
За дубомъ низкимъ и густымъ
Дорога скрылась; вѣтеръ дуетъ;
Конь спотыкается подъ нимъ,
Храпитъ, какъ будто гибель чуетъ,
И сталь... Дивится, слѣзъ сѣдокъ
И видитъ пропасть предъ собою,
А тамъ, на днѣ ея, потокъ
Во мракѣ бѣшеной волною
Шумитъ [слыхалъ я этотъ шумъ,
Въ пустынѣ вѣтромъ разнесенный,
И много пробуждалъ онъ думъ
Въ груди, тоской опустошенной].
Въ недоумѣнны надъ скалою
Остался странникъ утомленный;
Вдругъ видитъ онъ: въ дали пустой
Трепещетъ огонекъ—и снова
Садится на коня лихова;

И черезъ силу скачетъ конь
Туда, гдѣ свѣтитъ огонь.

xxii.

Не духъ коварства и обмана
Манилъ трепещущимъ огнемъ,
Не очи злобнаго шайтана
Свѣтились въ ущельи томъ:
Двѣ сакли бѣлыя, простыя,
Таятся мирно за холмомъ;
Чернѣютъ крыши земляныя;
Съ краевъ ряды травы густой
Висятъ зеленой бахромою;
А вѣтеръ осени сырой
Поетъ имъ пѣсни неземныя;
Широкой окружаетъ дворъ
Изъ кольевъ и вѣтвей заборъ,
Уже нагнутый, обветшалый.
Все въ мертвый сонъ погружено —
Одно лишь свѣтитъ окно...
Заржалъ черкеса конь усталый,
Ударилъ о землю ногой;
И отвѣчалъ ему другой...
Изъ сакли кто-то выбѣгаетъ,
Идетъ. «Великій Магометъ
Къ намъ гостя, вѣрно, посылаетъ.
Кто здѣсь?» — Я странникъ! — былъ отвѣтъ
И больше спрашивать не хочетъ,
Обычай прадѣдовъ храня,
Хозяинъ скромный. Вкругъ коня
Онъ самъ заботится; хлопочетъ,
Онъ самъ снимаетъ весь приборъ
И самъ ведетъ его на дворъ.

xxiii.

Межъ тѣмъ привѣтно въ саклѣ дымной
Проѣзжій встрѣченъ старикомъ;
Сажая гостя предъ огнемъ,
Онъ руку жметъ гостепріимно.
Блิสаетъ по стѣнамъ кругомъ
Богатство горца: ружья, стрѣлы,
Кинжалы съ набожнымъ стихомъ,
Въ углу башлыкъ убійцы бѣлый,
И плетъ межъ буркой и сѣдломъ.
Они заводятъ рѣчь о волѣ,
О прежнихъ дняхъ, о бранномъ полѣ;

Кипить, кипить бесѣда ихъ
И носятся въ мечтахъ живыхъ
Они къ грядущему, къ былому;
Проходитъ непримѣтно часъ —
Они сидятъ, и въ первый разъ,
Внимая странника разсказъ,
Старикъ дивится молодому.

xxiv.

Онъ самъ лезгинецъ; ужъ давно
[Такъ было небомъ суждено]
Не зрѣлъ отечества. Три сына
И дочь младая съ нимъ живутъ.
При нихъ молчитъ еще кручина
И бѣдный милъ ему пріютъ.
Когда горятъ ночныя звѣзды,
Тогда пускаются въ разѣзды
Его лихіе сыновья:
Живетъ добычей вся семья.
Они повсюду страхъ приносятъ;
Украсть, отнять — имъ все равно;
Чихирь и медъ кинжаломъ просятъ
И пулей платятъ за пшено.
Изъ табуна ли, изъ станицы
Любаго уведутъ коня;
Они боятся только дня,
И ихъ владѣньямъ нѣтъ границы.
Сегодня дома лишь одинъ,
Его любимый, старшій сынъ.
Но словъ хозяина не слышитъ
Пришелецъ; онъ почти не дышитъ,
Остановился быстрый взоръ,
Какъ въ мигъ паденья метеоръ:
Предъ нимъ, подъ видомъ дѣвы горъ,
Созданіе земли и рая,
Стояла пери молодая.

xxv.

И кто бъ, ее увидѣвъ, молвилъ: нѣтъ!
Кто прелести небесъ, иль даже слѣдъ
Небеснаго, разсѣянный лучами
Въ улыбкѣ устъ, въ движеніи черныхъ
глазъ —
Все, что такъ дружно съ первыми мечтами,
Все, что встрѣчаемъ въ жизни только
разъ —

Не отличить отъ красоты ничтожной,
Отъ красоты земной, нерѣдко ложной?
И кто, кто скажетъ, совѣсть заглуша:
Прелестный ликъ, но холодная душа!
Когда онъ вдругъ увидитъ предъ собою
То, что сперва почелъ бы онъ душою
Освобожденныхъ отъ земныхъ цѣпей,
Слетѣвшихъ въ міръ, чтобъ утѣшать
людей.

Пусть, подойдя, лезгинку онъ узнаетъ:
Въ ея чертахъ земная жизнь играетъ,
Восточная видна въ ланитахъ кровь;
Но только удалится образъ милый—
Онъ станетъ сомнѣваться въ томъ, что
было,

И заблужденъ онъ повѣритъ вновь.

xxvi.

Нѣжна—какъ пери молодая,
Созданіе земли и рая,
Мила—какъ намъ въ краю чужомъ
Межъ звуковъ языка чужова
Знакомый звукъ, родныхъ два слова;
Такъ утѣшительно-мила,
Какъ древле узнику была
На сумрачномъ окнѣ темницы
Простая пѣсня вольной птицы,
Стояла Зара у огня.
Чело немножко наклоня;
Она стояла гордо, ловко;
Въ ея нарядѣ простота,
Но также вкусъ. Ея головка
Платкомъ прилежно обвита;
Изъ-подъ него до груди нѣжной
Двѣ косы темныя небрежно
Бѣгутъ—ужъ вѣрно часть она
Ихъ расплетала, заплетала;
Она понравится желала—
Какъ въ этомъ женщина видна!

xxvii.

Рукой дрожащей, торопливой,
Она поставила стыдливо
Смиранный ужинъ предъ отцомъ
И улыбнулась, и потомъ
Уйти хотѣла, и не знала

Идти ли? Грудь ея порой
Покровъ примѣтно поднимала;
Она послушать бы желала,
Что скажетъ путникъ молодой.
Но онъ молчитъ, блуждаютъ взоры:
Ихъ привлекаетъ лезвее
Кинжала, ратные уборы;
Но взглядъ послѣдній на нее
Былъ устремленъ... Смутилась дѣва,
Но, не боясь отцова гнѣва,
Она осталась, и опять
Рѣшилась путнику внимать.
И что-то умъ его тревожитъ:
Своихъ неконченныхъ рѣчей
Онъ оторвать отъ устъ не можетъ;
Смѣется, но большихъ очей
Давно не обращаетъ къ ней;
Смѣется, шутить онъ; но холодный,
Печальный смѣхъ нейдетъ къ нему.
Замолкнетъ онъ—ей вновь досадно,
Сама не знаетъ почему.
Черкесъ ловилъ сначала жадно
Движеніе глазъ ея живыхъ;
И наконецъ остановились
Глаза, которые рѣзвились,
Отвѣта ждутъ, къ нему склонились,
А онъ забылъ, забылъ о нихъ!...
Довольно! этого удара
Вторично дѣва не снесетъ;
Ему мѣшаетъ, видно, Зара?
Она уйдетъ, она уйдетъ...

xxviii.

Кто много странствовалъ по свѣту,
Кто наблюдать его привыкъ,
Кто затвердилъ страстей примѣту,
Кому извѣстенъ ихъ языкъ,
Кто рано брошенъ былъ судьбою
Межъ образованныхъ людей,
И какъ они, съ своей рукою
Не отдавалъ души своей—
Тотъ пылкой женщины пристрасть
Не почитаетъ ужъ за счастье,
Тотъ съ сердцемъ дикимъ и простымъ
И съ чувствомъ нѣкогда святымъ
Шутить боится. Онъ улыбкой

Слезу старается встрѣчать,
 Улыбкѣ хладно отвѣчать;
 Коль обласкаетъ, такъ ошибкой!
 Притворствомъ вѣчнымъ утомленъ,
 Ужъ и себѣ не вѣритъ онъ;
 Душѣ высокой не довольно
 Остатковъ юности своей;
 Вообразить еще ей больно,
 Что для огня нѣтъ пищи въ ней.
 Такіе люди въ жизни свѣтской
 Почти всегда причина зла;
 Какой-то робостію дѣтской
 Ихъ отзываются дѣла:
 И обольстить они не смѣютъ,
 И вовсе кинуть не умѣютъ;
 И часто думаютъ они,
 Что ихъ излечить край далекой,
 Пустыня, видъ горы высокой,
 Иль тѣнь долины одинокой,
 Гдѣ юности промчались дни;
 Но ожиданье ихъ напрасно:
 Душѣ все внѣшнее подвластно!

xxix.

Ужъ милой Зары въ саклѣ нѣтъ.
 Черкесъ глядитъ ей долго вслѣдъ
 И мыслить: «нѣжное созданье!
 Едва изъ дѣтскихъ вышла лѣтъ,
 А есть ужъ слезы и желанья;
 Безсильный, свѣтлый лучъ зари,
 На темной тучѣ не гори:
 На ней твой блескъ лишь помрачится,
 Ей ждать нельзя, она умчится.

xxx.

«Еще не знаешь ты, кто я.
 Утѣшься! нѣтъ, не мирной долѣ,
 Но битвамъ, родинѣ и волѣ
 Обречена судьба моя.
 Я бѣ могъ нѣжнѣйшею любовью
 Тебя любить, но надъ тобой
 Хранитель, вѣрно, неземной;
 Рука, обрызганная кровью,
 Должна твою ли руку жать?
 Тебя ли грѣтъ моимъ объятіямъ?
 Тебя ли станутъ цѣловать

Уста, привыкшія къ проклятіямъ?...»

xxxi.

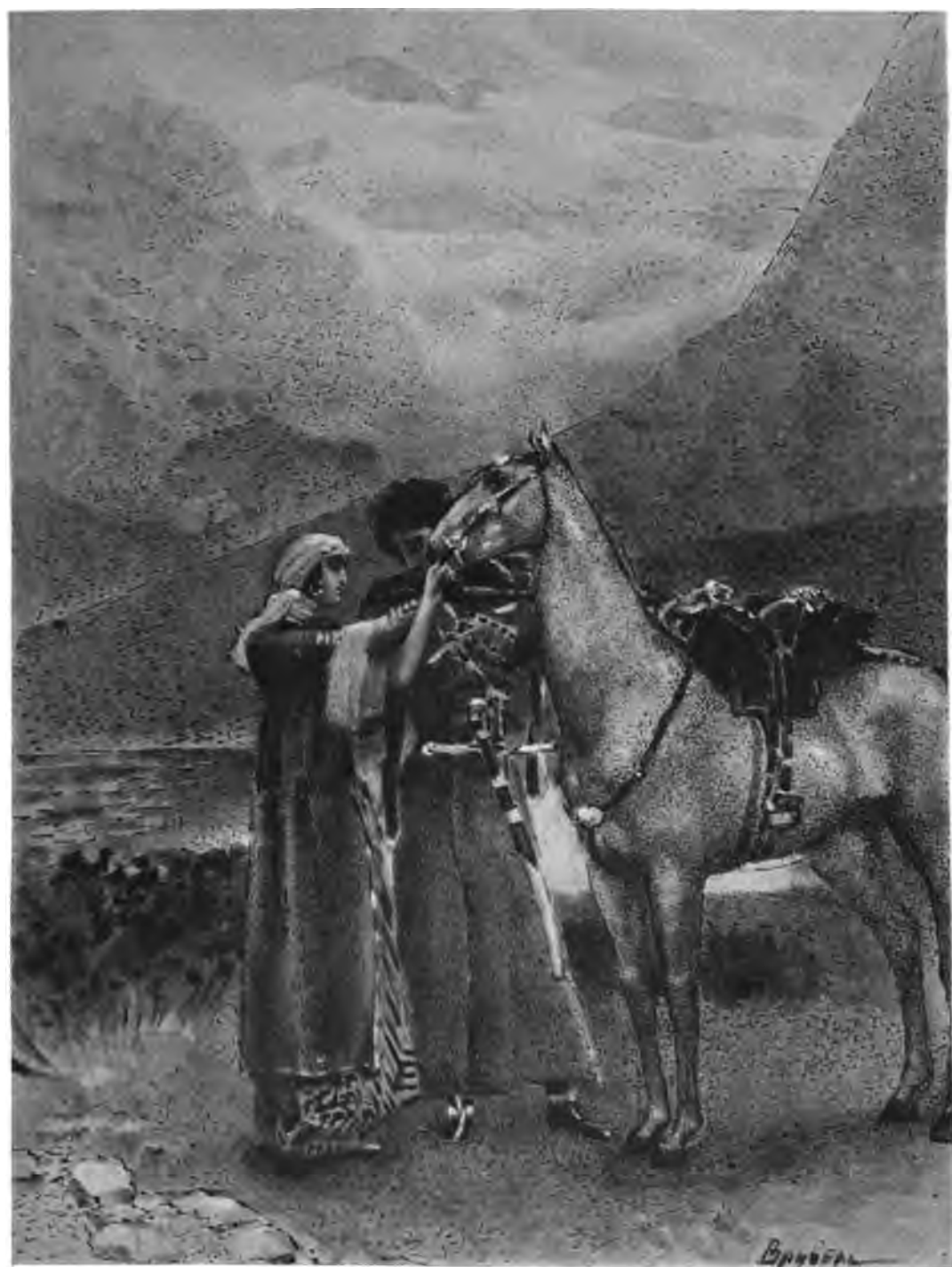
Пора! яснѣетъ ужъ востокъ;
 Черкесъ проснулся, въ путь готовый.
 На пепелищѣ огонекъ
 Еще синѣлъ. Старикъ суровый
 Его раздулъ, пшено сварилъ,
 Сказалъ, гдѣ лучшая дорога,
 И самъ до ветхаго порога
 Радужно гостя проводилъ.
 И странникъ медленно выходитъ
 Печалью тайной угнетенъ:
 О юной дѣвѣ мыслить онъ...
 И кто жъ коня ему подводитъ?

xxxii.

Уныло Зара передъ нимъ
 Коня походнаго держала
 И тихимъ голосомъ своимъ,
 Поднявъ глаза къ нему, сказала:
 «Твой конь готовъ; моей рукой
 Надѣта бранная уздечка,
 И серебристой чешуей
 Блеститъ кубанская наѣчка,
 И бурку черную ремнемъ
 Я привязала за сѣдломъ;
 Мнѣ это дѣло вѣдь не ново:
 Любезный странникъ, все готово.
 Твой конь прекрасенъ; не страшна
 Ему утесовъ крутизна;
 Хотя выросъ онъ въ краю далекомъ,
 Въ немъ дикость гордая видна,
 И лоснится его спина,
 Какъ камень сглаженный потокомъ;
 Какъ уголь взоръ его блеститъ;
 Лишь наклонись—онъ полетитъ;
 Его я гладила, ласкала,
 Чтобы тебя онъ, путникъ, спасъ
 Отъ вражьей шашки и кинжала
 Въ степи глухой, въ недобрый часъ.

xxxiii.

«Но погоди въ стальное стремя
 Ступать поспѣшною ногой;



Послушай, странникъ молодой,
 Какъ знать? быть можетъ, будетъ время—
 И ты на милой сторонѣ
 Случайно вспомнишь обо мнѣ;
 И если чаша пированья
 Кипитъ, блеститъ въ рукѣ твоей,
 То не ласкай воспоминанья,
 Гони отъ сердца поскорѣй;
 Но если эта мысль родится,
 Но если образъ мой приснится
 Тебѣ въ страдальческую ночь—
 Услышь, услышь мое моленье:
 Не презирай то сновидѣнье,
 Не отгоняй тѣ мысли прочь.

xxxiv.

«Пріютъ нашъ малъ, за то спокоенъ;
 Его не тронетъ русскій воинъ.
 И что имъ взять?—пять-шесть коней,
 Да наши грубыя одежды?...
 Повѣрь ты скромности моей,
 Откройся мнѣ: куда надежды
 Тебя коварныя влекутъ?
 Чего искать?—Останься тутъ,
 Останься съ нами, добрый странникъ!
 Я вижу ясно: ты изгнанникъ,
 Ты отъ земли своей отвыкъ,
 Ты позабылъ ея языкъ.
 Зачѣмъ спѣшишь къ родному краю,
 И что тамъ ждетъ тебя—не знаю.
 Пусть мой отецъ твердитъ порой,
 Что безъ малѣйшей укоризны
 Должны мы жертвовать собой
 Для непризнательной отчизны—
 По-мнѣ отчизна только тамъ,
 Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ.

xxxv.

«Еще туманъ бѣлѣетъ въ полѣ,
 Опасенъ ранній хладъ вершинъ...
 Хоть день одинъ, хоть часъ одинъ,
 Послушай, часъ одинъ, не болѣ
 Пробудь, жестокий, близъ меня;
 Я покормлю еще коня,
 Моя рука его отвяжетъ,
 Онъ отдохнетъ, напьется, ляжетъ;

А ты у сакли здѣсь, въ тѣни,
 Главѣ мнѣ на руку склони.
 Твоихъ рѣчей услышать звуки
 Еще желала бъ я хоть разъ;
 Не удержу вѣдь счастья часть,
 Не прогоню вѣдь часть разлуки?...»
 И Зара съ трепетомъ въ отвѣтъ
 Ждала напрасно два-три слова;
 Скрывать печали силы нѣтъ,
 Слеза съ рѣсницъ упасть готова...
 Увы! молчаніе храня,
 Садится путникъ на коня;
 Ужъ ѣхать онъ приготовлялся,
 Но обернулся—испугался,
 И, состраданьемъ увлеченъ,
 Хотѣлъ ее утѣшить онъ.

xxxvi.

«Не обвиняй меня такъ строго;
 Скажи, чего ты хочешь?—слезъ?
 Я ихъ имѣлъ когда-то много:
 Ихъ міръ изъ зависти унесъ.
 Но не рѣшусь судьбы мятежной
 Я раздѣлять съ душою нѣжной;
 Свободный, рабъ иль властелинъ,
 Пускай погибну я одинъ.
 Все, что меня хоть малость любитъ,
 За мною вслѣдъ увлечено;
 Мое дыханье радость губитъ;
 Шадить—мнѣ власти не дано.
 И не простаго человѣка
 [Хотя въ одеждѣ я простой],
 Утѣшься, Зара, предъ собой
 Ты видишь брата Росламбека.
 Я въ жертву счастье долженъ принести...
 О, не жалѣй о томъ... Прости, прости!...»

xxxvii.

Сказалъ, махнулъ рукой, и звукъ под-
 ковъ
 Раздался, въ отдаленіи умирая.
 Едва дыша, безъ слезъ, безъ думъ, безъ
 словъ
 Она стоитъ, безчувственно внимая,
 Какъ будто этотъ дальній звукъ подковъ
 Всю будущность ея унесъ съ собою.

О Зара, Зара, краткою мечтою
 Ты дорожила—гдѣ жъ твоя мечта?
 Какъ очи полны, какъ душа пуста!
 Одно мгновенье тяжелѣй друга;
 Все, что прошло, ты оживляешь снова!...
 По цѣлымъ днямъ она глядитъ туда,
 Гдѣ скрылася любви ея звѣзда;
 Вездѣ, вездѣ она его находитъ:
 Въ вечернихъ тучахъ милый образъ бро-
 дить;
 Услышавъ ночью топотъ, съ ложа сна
 Вскочивъ, дрожитъ, и ждетъ его она—
 И постепенно вѣтромъ разносимый
 Все ближе, ближе топотъ—и все мимо...
 Такъ метеоръ порой летитъ на насъ,
 И ждешь—и близокъ онъ—и вдругъ по-
 гасъ...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

High minds, of native pride and force,
 Most deeply feel thy pangs, Remorse!
 Fear, for their scourge, mean villains have
 Thou art the torturer of the brave!
 Walter Scott (Marmion, III, 13).

I.

Шумитъ Аргуна мутною волной;
 Она коры не знаетъ ледяной,
 Цѣпей зимы и хлада не боится;
 Серебряной покрыта пеленой,
 Она сама между снѣговъ родится,
 И тамъ, гдѣ даже серна не промчится,
 Дитя природы, съ дѣтской простотой,
 Она, рѣзвясь, играетъ и катится.
 Порою, какъ согнутое стекло,
 Межъ длинныхъ травъ, прозрачно и свѣтло
 По гладкимъ камнямъ въ бездну ниспадая,
 Теряется во мракѣ, и надъ ней
 Съ прощальнымъ воркованьемъ вьется стая
 Пугливыхъ, сизыхъ, вольныхъ голубей...
 Зеленымъ можжевельникомъ покрыты
 Надъ мрачной бездною гробовыя плиты
 Висятъ и ждуть, когда замолкнетъ вой,
 Чтобы упасть и все покрыть собой.
 Напрасно ждуть онѣ—волна не дремлетъ,
 Пусть темнота кругомъ ее объемлетъ,
 Прорветъ Аргуна землю гдѣ-нибудь
 И снова полетитъ въ далекій путь.

II.

На берегу ея кипучихъ водъ
 Недавно новый изгнанный народъ
 Ауль построилъ свой и ждалъ мгновенье:
 Когда свершить придуманное мщенье.
 Черкесь готовилъ дерзостный набѣгъ,
 Союзники сбирались потаенно,
 И умный князь, лукавый Рослабекъ,
 Склонялся передъ русскими смиренно;
 А между тѣмъ съ отважною толпой
 Станицы разорялъ во тьмѣ ночной;
 И, возвратясь въ ауль, на пиръ кровавый
 Онъ плѣнниковъ дрожащихъ приводилъ,
 И увѣрялъ ихъ въ дружбѣ, и шутилъ,
 И головы рубилъ имъ для забавы.

III.

Легко народомъ править, если онъ
 Одною общей страстью увлеченъ;
 Не должно только слишкомъ завлекаться,
 Предъ нимъ гордиться, или съ нимъ рав-
 няться;

Не должно мыслей открывать своихъ,
 Иль спрашивать у подданныхъ совѣта
 И забывать, что лучше горь златыхъ
 Иному ласка и слова привѣта...
 Старайся первымъ быть вездѣ всегда;
 Не забывайся, будь въ пирахъ умѣренъ,
 Не трогай суевѣрій никогда
 И самъ съ толпой умѣй быть суевѣренъ;
 Страшись сначала много успѣвать,
 Страшись народъ къ побѣдамъ приучать,
 Чтобъ въ слабости своей онъ признавался,
 Чтобъ каждый мигъ въ спасителѣ нуж-
 дался,

Чтобъ онъ тебя не сравнивалъ ни съ кѣмъ
 И почиталъ нуждою—принужденья;
 Умѣй отважно пользоваться всѣмъ,
 И не проси никакъ вознагражденья;
 Народъ ребенокъ: онъ не хочетъ дать,
 Не покушайся вырвать—но украдь.

IV.

У Рослабека братъ когда-то былъ:
 О немъ жалѣютъ шайки удалыя;

Отцомъ въ Россію посланъ Измаиль,
И ихъ надежду отняла Россія.
Четырнадцать лѣтъ оставилъ онъ
Края, гдѣ былъ воспитанъ и рожденъ,
Чтобъ знать законы и права чужія.
Не подъ персидскимъ шолковымъ ковромъ
Родился Измаиль, не пѣсню нѣжной
Онъ усыпленъ былъ въ сумракѣ ноче-
номъ:

Его баюкалъ бури вой мятежной;
Когда онъ въ первый разъ открылъ глаза,
Его улыбку встрѣтила гроза;
Въ пещерѣ темной—гдѣ, гонимый бра-
томъ,

Убийцею коварнымъ, Бей-Булатомъ,
Его отецъ таился много лѣтъ—
Изгнанникъ новый, онъ увидѣлъ свѣтъ.

v.

Какъ лишній межъ людьми, своимъ ро-
ждениемъ

Онъ душу не обрадовалъ ни чью,
И, хотъ невинный, началъ жизнь свою,
Какъ многіе кончаютъ—преступленьемъ.
Онъ материнской ласки не знавалъ:
Не у груди—подъ буркою согрѣтый,
Одинъ провелъ младенческія лѣты;
И вѣтеръ колыбель его качалъ,
И мѣсяцъ полуночи съ нимъ игралъ;
Онъ выросъ межъ землей и небесами,
Не зная принужденія и заботъ;
Привыкъ онъ тучи видѣть подъ ногами,
А надъ собой одинъ лазурный сводъ,
И лишь орлы, да скалы величавы
Съ нимъ раздѣляли юныя забавы.
Онъ для великихъ созданъ былъ страстей,
Онъ обладалъ пылающей душою,
И бури юга отразились въ ней
Со всей своей ужасной красотой...
Но къ русскимъ посланъ онъ своимъ от-
цомъ,

И съ той поры извѣстья нѣтъ объ немъ...

vi.

Горой отъ солнца заслоненный,
Пріютъ изгнанниковъ смиренный,

Между кизиловыхъ деревъ
Аулъ разсыпанъ надъ рѣкою;
Стоитъ отдѣльно каждый кровъ
Въ тѣни, подъ дымной пеленою.
Здѣсь въ лѣтній день, въ полдневный
жаръ,

Когда съ камней восходитъ паръ,
Толпа дѣтей въ травѣ играетъ,
Черкесть усталый отдыхаетъ;
Межъ тѣмъ сидитъ его жена
Съ работой въ саклѣ одиноко,
И пѣсню грустную она
Поетъ о родинѣ далекой;
И облака родныхъ небесъ
Въ мечтаньяхъ видитъ ужъ черкесть:
Тамъ лугъ душистѣй, день свѣтлѣе,
Роса перловая свѣжѣе;
Тамъ разноцвѣтною дугой,
Развеселясь, нерѣдко дивы
На тучахъ строятъ мостъ красивый,
Чтобъ отъ одной скалы къ другой
Пройти воздушною тропой;
Тамъ въ первый разъ, еще несмѣлый,
На лукъ накладывалъ онъ стрѣлы...

vii.

Дни мчатся. Начался байранъ.
Вездѣ веселье, ликованья;
Мулла оставилъ алкоранъ,
И не слышать его призванья;
Мечеть кругомъ освѣщена;
Всю ночь надъ хладными скалами
Огни краснѣютъ за огнями,
Какъ надъ земными облаками
Земныя звѣзды; но луна,
Когда на землю взоръ наводитъ,
Себѣ соперницъ не находитъ
И, одинокая, она
По небесамъ въ сіяньи бродитъ.

viii.

Ужъ скачка кончена давно;
Стрѣльба затихнула; темно.
Вокругъ огня, пѣвцу внимая,
Стопилась юность удалая,
И старики сѣдые въ рядъ

Съ нѣмымъ вниманіемъ стоятъ.
 На сѣромъ камнѣ, безоруженъ,
 Сидитъ невѣдомый пришлецъ.
 Нарядъ войны ему не нуженъ,
 Онъ гордъ и бѣденъ—онъ пѣвецъ.
 Дитя степей, любимецъ неба,
 Безъ злата онъ, но не безъ хлѣба.
 Вотъ начинается: три струны
 Ужъ забренчали подъ рукою,
 И живо, съ дикой простотою
 Запѣлъ онъ пѣсню старины:

IX.

ЧЕРКЕССКАЯ ПѢСНЯ.

Много дѣвъ у насъ въ горахъ;
 Ночь и звѣзды въ ихъ очахъ;
 Съ ними жить—завидна доля,
 Но еще милѣе воля.
 Не женися, молодецъ,
 Слушайся меня:
 На тѣ деньги, молодецъ,
 Ты купи коня.

Кто жениться захотѣлъ,
 Тотъ худой избралъ удѣлъ;
 Съ русскимъ въ бой онъ не поскачетъ:
 Отчего?—жена заплачетъ!
 Не женися, молодецъ,
 Слушайся меня:
 На тѣ деньги, молодецъ,
 Ты купи коня.

Не измѣнить добрый конь:
 Съ нимъ—и въ воду и въ огонь;
 Онъ—какъ вихрь въ степи широкой;
 Съ нимъ—все близко, что далеко.
 Не женися, молодецъ,
 Слушайся меня:
 На тѣ деньги, молодецъ,
 Ты купи коня.

X.

Откуда шумъ? Кто эти двое?
 Толпа въ молчаньи раздалась.
 Нахмури бровь, подходит князь

И рядомъ съ нимъ лицо чужое.
 Три узденя за ними вслѣдъ.
 «Великъ Алла и Магометъ!»
 Воскликнулъ князь. «Сама могила
 Покорна имъ! Въ странѣ чужой
 Мой братъ хранимъ былъ ихъ рукою
 Вы узнаете ль Измаила?...
 Между врагами онъ возросъ,
 Но не призналъ онъ ихъ святыни,
 И въ наши синія пустыни
 Одну лишь ненависть принесъ.»

XI.

И по долинѣ восклицанья
 Восторга дикаго гремятъ;
 Благословляя часъ свиданья,
 Вкругъ Измаила старъ и младъ
 Тѣсняются, шепчутъ. Поднимая
 На плечи маленькихъ ребятъ,
 Ихъ жены смуглыя, зѣвая,
 На князя новаго глядятъ.
 Гдѣ жъ Росламбекъ, кумиръ народа?
 Гдѣ тотъ, кѣмъ славится свобода?—
 Одинъ, забытъ, передъ огнемъ,
 Поодакъ, съ пасмурнымъ челомъ,
 Стоялъ онъ, жертва злой досады.
 Давно ли привлекалъ онъ самъ
 Всѣ помысленія, всѣ взгляды?
 Давно ли по его слѣдамъ
 Вся эта чернь, шумя, бѣжала?
 Давно ль, дивясь его дѣламъ,
 Ихъ мать ребенку повторяла?
 И что же вышло?—Измаилъ,
 Враговъ отечества служитель,
 Всю эту славу погубилъ
 Своимъ пріѣздомъ—и властитель,
 Вчерашній гордый полубогъ,
 Вниманья черни безтолковой
 Къ себѣ привлечь уже не могъ.
 Ей все плѣнительно, что ново.
 «Простынетъ!» мыслить Росламбекъ.
 Но если злобный человекъ
 Узналъ ужъ зависть, то не можетъ
 Совсѣмъ забыть ее никакъ:
 Ея насмѣшливый призракъ
 И днемъ и ночью духъ тревожитъ.

xii.

Война! знакомый людямъ звукъ,
 Сътѣхъпоръ, какъ братья отъ братнихъ рукъ
 Предъ алтаремъ погибъ невинно...
 Гремя, черезъ Кавказъ пустынный
 Промчался кликъ: война! война!
 И пробудились племена;
 На смерть идутъ они охотно.
 Умолкъ аулъ, гдѣ беззаботно
 Недавно слушали пѣвца;
 Оружья звонъ, движеніе стана—
 Вотъ нынѣ пѣсни молодца,
 Вотъ удовольствія байрана!
 «Смотри, какъ всякій биться радъ
 За дѣло чести и свободы!...
 Такъ точно было въ наши годы,
 Когда насъ велъ Ахметъ-Булатъ!»
 Съ улыбкой гордою шептали
 Между собою старики,
 Когда дорогой наблюдали
 Отважныхъ юношей полки.
 Пора! кипятъ они досадой,
 Что русскихъ нѣтъ: имъ крови надо!

xiii.

Зима проходитъ; облака
 Свѣтлѣй летятъ по дальнимъ сводамъ,
 Въ рѣкѣ глядятся мимоходомъ;
 Но съ гордымъ бѣшенствомъ рѣка,
 Крутясь какъ змѣй, не отвѣчаетъ
 Улыбкѣ неба своего,
 И бѣлыхъ путниковъ его,
 Межъ тѣмъ, упорно обгоняетъ.
 И ровны, прямы какъ стѣна,
 По берегамъ темнѣютъ горы;
 Ихъ крутизна, ихъ высота
 Плѣняютъ умъ, пугаютъ взоры;
 Къ вершинамъ ихъ прицѣплена
 Нагими красными корнями,
 Кой-гдѣ кудрявая сосна
 Стоитъ печальна и одна,
 И часто мрачными мечтами
 Тревожитъ сердце: такъ, порой,
 Властитель, полубогъ земной,
 На пышномъ тронѣ, окруженный

Льстецовъ толпою униженной,
 Груститъ о томъ, что одному
 На свѣтѣ равныхъ нѣтъ ему.

xiv.

Завоевателю преграда
 Положена въ долину той:
 Изъ камней и деревь громада
 Аргуну давитъ подъ собой.
 Къ аулу нѣтъ пути инова;
 И мыслятъ горцы: «врагъ лихой!
 Тебѣ могила ужъ готова!»
 Но прямо врагъ идетъ на нихъ
 И блескъ орудій громовыхъ
 Далеко сквозь туманъ играетъ.
 — И Росламбекъ совѣтъ сзываетъ.
 Онъ говоритъ: «Въ тиши ночной
 Мы нападёмъ на ихъ отряды,
 Какъ упадаютъ водопады
 Въ долину сонную весной...
 Погибнуть молча наши гости
 И ихъ разбросанныя кости,
 Добыча врановъ и волковъ,
 Сгниютъ, лишеныя гробовъ.
 Межъ тѣмъ, съ боязнію лукавой
 Начнемъ о мирѣ договоръ,
 И втайнѣ местию кровавой
 Омоемъ долгій нашъ позоръ.»

xv.

Согласны всѣ на подвигъ ратный,
 Но несогласенъ Измаиль.
 Взмахнулъ онъ шашкою булатной
 И шумно съ мѣста онъ вскочилъ;
 Окинулъ вмигъ летучимъ взглядомъ
 Онъ узденей, сидѣвшихъ рядомъ,
 И, опустивши свой булатъ,
 Такъ отвѣчаетъ брату братъ:
 «Я не разбойникъ потаенный;
 Я видѣть, видѣть кровь люблю;
 Хочу, чтобъ мною пораженный
 Зналъ руку грозную мою!
 Какъ ты, я русскихъ ненавижу,
 И даже болѣе чѣмъ ты;
 Но подъ покровомъ темноты
 Я чести князя не унижу!



Иную мѣсть родной странѣ,
Иную славу надо мнѣ!...»
И поединка ожидали
Межъ братьевъ мѣлча уздени;
Не смѣли тронуться они.
Онъ вышелъ—всѣ еще молчали...

xvi.

Ужасна ты, гора Шайтанъ,
Пустыни старый великанъ;
Тебя злой духъ, гласить преданье
Построилъ дерзостной рукой,
Чтобъ хоть на мигъ свое изгнанье
Забуть межъ небомъ и землей.
Здѣсь, три столѣтья очарованъ,
Онъ тяжелой цѣпью былъ прикованъ,
Когда, надменный, съ новыхъ скалъ
Стрѣлой Пророку угрожалъ.

Какъ буркой ельникомъ покрыта,
Сосѣднихъ горъ она чернѣй.
Тропинка желтая прорыта
Слезой отчаянья по ней;
Она ни мохомъ, ни кустами
Не зарастаетъ никогда;
Пестрѣя чудными слѣдами,
Она ведетъ богъ-вѣсть куда.
Олень съ вѣтвистыми рогами,
Между высокими цвѣтами,
Одѣтый хмѣлемъ и плющомъ,
Лежитъ полуобъятый сномъ;
И вдругъ знакомый лай онъ слышитъ
И чуетъ близкаго врага:
Поднявши медленно рога,
Минуту свѣжестью подышетъ,
Росу съ могучихъ плечъ стряхнетъ,
И вдругъ однимъ прыжкомъ махнетъ

Черезъ утесъ—и вотъ онъ мчится,
 Терновъ колючихъ не боится
 И хмѣль коварный грудью рветъ —
 Но, вольный путь пересѣкая,
 Предъ нимъ тропинка роковая...
 Никѣмъ незримая рука
 Царя лѣсовъ останавливаетъ,
 И онъ, какъ гибель не близка,
 Свой прежній путь не продолжаетъ...

xvii.

Кто жъ подъ ужасною горой
 Зажегъ огонь сторожевой?
 Треща, краснѣя и сверкая,
 Кусты вокругъ онъ озарилъ.
 На камень голову склоняя,
 Лежитъ поодаль Измаиль.
 Его приверженцы хотѣли
 Идти за нимъ—но не посмѣли.

xviii.

Вотъ что ему родной готовилъ край!
 Сбылись мечты: увидѣлъ онъ свой рай,
 Гдѣ мѣръ такъ юнъ, природа такъ богата,
 Но люди, люди—что природа имъ?
 Едва успѣлъ обнять изгнанникъ брата,
 Ужъ клевета и зависть—все надъ нимъ!
 Друзей улыбка, нѣжное свиданье,
 За что бъ другой Творца благодарилъ,
 Все то ему дается въ наказанье...
 Но для терпѣнья ль созданъ Измаиль?
 Бываютъ люди: чувства—имъ страданья.
 Причуда злой судьбы—ихъ бытіе;
 Чтобъ самовластье показать свое,
 Она порой кидаетъ ихъ межъ нами.
 Такъ, древле, въ море кинулъ царь алмазъ;
 Но гордый камень въ свой урочный часъ
 Ему обратно отданъ былъ волнами...
 И дѣтямъ рока мѣста въ мѣрѣ нѣтъ;
 Они его пугаютъ жизнью новой,
 Они блеснутъ—и сгладится ихъ слѣдъ,
 Какъ въ темной тучѣ слѣдъ стрѣлы гро-
 мовой.

Толпа дивится часто ихъ уму,
 Но чаще обвиняетъ, потому
 Что въ морѣ бѣдъ какъ вихри ихъ нинесятъ,

Они пособій отъ рабовъ не просятъ;
 Хотятъ ихъ превзойти въ добрѣ и злѣ,
 И власти знакъ на гордомъ ихъ челѣ.

xxi.

«Безсмысленный! зачѣмъ отвергнулъ ты
 Слова любви, моления красоты?
 Зачѣмъ, когда такъ долго съ ней сра-
 жался,

Своей судьбы ты дѣтски испугался?
 Все прежнее, незнаемый молвой,
 Ты бъ могъ забыть близъ Зары молодой,
 Забыть людей близъ ангела въ пустынѣ,
 Ты бъ могъ любить, но не хотѣлъ — и
 нынѣ

Картины счастья живо предъ тобой
 Проходятъ укоряющей толпой.
 Ты жмешь ей руку; грудь ея и плечи,
 Цѣлуешь въ упоенье; ласки, рѣчи,
 Исполненные счастья и любви,
 Ты чувствуешь, ты слышишь; образъ
 милый,
 Волшебный взоръ—все предъ тобой, какъ
 было

Еще недавно; всѣ мечты твои
 Такъ вѣроятны, что душа боится,
 Не вѣря имъ, вторично ошибиться...
 А чѣмъ ты это счастье замѣнилъ?»
 Передъ огнемъ такъ думалъ Измаиль.
 Вдругъ выстрѣлъ, два, и много... онъ вско-
 чилъ,

И слушаетъ... но все утихло снова...
 И говоритъ онъ: «это сонъ больнова!»

xx.

Души волненьемъ утомленъ,
 Опять на землю князь ложится,
 Трещитъ огонь и дымъ клубится...
 И что же? Призракъ видитъ онъ:
 Передъ огнемъ стоитъ спокоенъ,
 На саблю опершись рукой,
 Въ фуражкѣ бѣлой, русскій воинъ,
 Печальный, блѣдный и худой.
 Спросить хотѣлось Измаилу:
 Зачѣмъ оставилъ онъ могилу?
 И свѣтъ дрожащаго огня,

Упавъ на смуглыя ланиты,
 Черкесу придавъ видъ сердитый.
 —Чего ты хочешь отъ меня?
 «Гостепріимства и защиты?»
 Пришлецъ безстрашно отвѣчалъ:
 «Свой путь въ горахъ я потерялъ,
 Черкесы вслѣдъ за мной спѣшили
 И казаковъ моихъ убили,
 И вѣрный конь подъ мною палъ.
 Спаси, убить врага ночнова
 Равно ты можешь. Не боюсь
 Я смерти: грудь моя готова.
 Твоей я чести предаюсь!»
 —Ты правъ: на честь мою надѣйся!
 Вотъ мой огонь—садись и грѣйся.

xxi.

Тиха, прозрачна ночь была,
 Свѣтила на небѣ блитали,
 Луна за облакомъ спала,
 Но люди ей не подражали.
 Передъ огнемъ враги сидятъ,
 Хранятъ молчанье и не спятъ.
 Черты пришельца возбуждали
 У князя новыя мечты:
 Онъ ему напоминали
 Давно знакомыя черты.
 То не игра воображенья!
 Онъ долженъ разрѣшить сомнѣнья...
 И такъ пришельцу говорилъ
 Нетерпѣливый Измаиль:
 —Ты молодъ, вижу я. За славой
 Привыкнувъ гнаться, ты забылъ,
 Что славы нѣтъ въ войнѣ кровавой
 Съ необразованной толпой.
 За что завистливой рукой
 Вы возмутили нашу долю?
 За то, что бѣдны мы, и волю,
 И степь свою не отдадимъ
 За злато роскоши нарядной;
 За то, что мы боготворимъ,
 Что презираете вы хладно!
 Не бойся, говори смѣлѣй:
 Зачѣмъ ты насъ возненавидѣлъ,
 Какою грубостью своей
 Простой народъ тебя обидѣлъ?

xxii.

«Ты ошибаешься, черкесь!»
 Съ улыбкой русскій отвѣчаетъ.
 «Повѣрь: меня, какъ васъ, плѣняетъ
 И водопадъ, и темный лѣсъ;
 Съ восторгомъ ваши льды я вижу,
 Встрѣчая пышную зарю;
 И ваше племя я люблю,
 Но одного я ненавижу:
 Черкесь онъ родомъ, не душой,
 Ни въ чемъ, ни въ чемъ несхожъ съ тобой—
 Себѣ, иль князю Измаилу
 Клялся я здѣсь найти могилу...
 Къ чему опять ты мрачный взоръ
 Мохнатой шапкой закрываешь?
 Твое молчанье мнѣ укоръ;
 Но выслушай, ты все узнаешь,
 И самъ досадой запыхаешь...

xxiii.

«Ты знаешь, вѣрно, что служилъ
 Въ російскомъ войскѣ Измаиль;
 Но, образованный, межъ нами
 Родными бредилъ онъ полями,
 И все черкесь въ немъ виденъ былъ.
 Въ пирахъ и битвахъ отличался
 Онъ передъ всѣми; томный взглядъ
 Восточной нѣгой отзывался:
 Для нашихъ женщинъ онъ былъ ядъ!
 Ихъ вспламенивъ воображенье,
 Повелѣвалъ онъ безъ труда,
 И за проступокъ—наслажденье
 Не почиталъ онъ никогда;
 Не знаю, было то презрѣнье
 Къ законамъ стороны чужой,
 Или испорченныя чувства...
 Любовью женщинъ, ихъ тоской
 Онъ веселился какъ игрой;
 Но избѣжать его искусства
 Не удалось ни одной.

xxiv.

«Черкесь! видалъ я здѣсь прекрасныхъ
 Свободы нѣжныхъ дочерей:
 Но не сравню ихъ взоровъ страстныхъ

Съ привѣтомъ сѣверныхъ очей.
 Ты не любилъ!... Ни словъ опасныхъ,
 Ни устъ волшебныхъ не знавалъ;
 Кудрями дѣвы золотыми
 Ты въ упоеніи не игралъ;
 Ты клятвамъ страсти не внималъ
 И не былъ ты обманутъ ими...
 Но я любилъ! судьба меня
 Блестящей радугой манила,
 Невольно къ безднѣ подводила...
 И ждалъ я счастливаго дня!
 Своей невѣстой дорогою
 Я смѣлъ ужъ ангела назвать,
 Невиннымъ ласкамъ отвѣчать
 И съ райской дѣвой забывать,
 Что рая нѣтъ ужъ подъ луною.
 И вдругъ ударилъ страшный часъ—
 Причина долготѣней муки:
 Призывъ войны, отчизны гласъ,
 Раздался вѣстникомъ разлуки.
 Какъ дымъ разсѣялись мечты...
 Тотъ день я буду помнить вѣчно...
 Черкесь, черкесь! ни съ кѣмъ, конечно,
 Ни съ кѣмъ не разставался ты...

ххv.

«Въ то время Измаиль случайно
 Невѣсту увидалъ мою,
 И страсть запылалъ онъ тайно.
 Межъ тѣмъ, какъ въ дальномъ я краю
 Искалъ въ бояхъ конца иль славы—
 Слстолюбивый и лукавый,
 Онъ сердце дѣвы молодой
 Опуталъ сѣтью роковой.
 Какъ онъ умѣлъ слезой притворной
 Къ себѣ довѣренность вселять,
 Насмѣшкой скромность побѣждать,
 И, побѣждая, видъ покорный
 Хранить—иль весь огонь страстей
 Мгновенно открывать предъ ней!...
 Онъ очертилъ волшебнымъ кругомъ
 Ея желанья; вѣдалъ онъ,
 Что быть не могъ ея супругомъ,
 Что раздѣлялъ ихъ нашъ законъ—
 И обольщенная упала
 На грудь убійцы своего!

Кромѣ любви, она не знала,
 Она не знала ничего...

ххvi.

«Но скоро скуку пресыщенья
 Постигъ виновный Измаиль.
 Таиться не было терпѣнья,
 Когда погасъ минутный пылъ;
 Оставилъ жертву обольститель
 И удалился въ край родной,
 Забывъ, что есть на небѣ мститель,
 А на землѣ еще другой!
 Моя рука его отыщетъ
 Въ толпѣ, въ лѣсахъ, въ степи пустой,
 И казни грозной мечъ просвишетъ
 Надъ непреклонной головой.
 Пусть ликъ одежда измѣняетъ;
 Не взоръ—душа врага узнаетъ!...

ххvii.

«Черкесь! ты понялъ, вижу я,
 Какъ справедлива месть моя.
 Ужъ на устахъ твоихъ проклятья!
 Ты, внемля, вздрагивалъ неразъ!...
 О, если бъ могъ пересказать я,
 Изобразить ужасный часъ,
 Когда прелестное созданье
 Я въ униженіи увидалъ
 И безотчетное страданье
 Въ глазахъ увядшихъ прочиталъ!...
 Она разсудокъ потеряла:
 Рядилась, пѣла и плясала,
 Иль сидя молча у окна,
 По цѣлымъ днямъ, какъ бы не зная,
 Что измѣнилъ онъ ей, вздыхая,
 Ждала измѣнника она.
 Вся жизнь погибшей дѣвы милой
 Остановилась на быломъ;
 Ея безумье даже было
 Любовь къ нему и мысль объ немъ...
 Какой душѣ не зналъ онъ цѣну!...»
 И долго русскій говорилъ
 Про месть, про счастье, про измѣну.
 Его не слушалъ Измаиль.
 Лишь знаетъ онъ, да Богъ единый,
 Что подъ спокойною личиною

Тогда происходило въ немъ.
 Стѣснивъ дыханье, вверхъ лицомъ
 [Хоть сердце гордое и взгляды
 Не ждали отъ небесъ отрады],
 Лежалъ онъ на землѣ сырой,
 Какъ та земля, и мрачный и нѣмой.

xxviii.

Видали ль вы, какъ хищные и злые
 Къ оставленному трупу, въ тихій долъ,
 Слетаются наслѣдники земные:
 Могильный воронъ, коршунъ и орелъ?—
 Такъ есть мгновенья, краткія мгновенья,
 Когда, столпясь, всѣ адскія мученья
 Слетаются на сердце и грызутъ!
 Въѣкъ печали стоятъ тѣхъ минутъ...
 Лишь дунетъ вихрь—и сломится лилея;
 Таковъ съ душой кто слабою рожденъ:
 Не вынесетъ минутъ подобныхъ онъ;
 Но мощный умъ, крѣпясь и каменья,
 Ихъ превращаетъ въ пытку Прометея.
 Не сгладитъ время ихъ глубокой слѣдъ:
 Все въ мірѣ есть—забвенья только нѣтъ...

xxix.

Свѣтаетъ. Горы снѣговья
 На небосклонѣ голубомъ
 Зубцы подъемяютъ золотые;
 Слилисъ съ утреннимъ лучомъ
 Края волнистаго тумана
 И на верху горы Шайтана
 Огонь, стыдясь передъ зарей,
 Блѣднѣетъ. Тихо приподнялся,
 Какъ передъ смертію больной,
 Угрюмый князь съ земли сырой.
 Казалось, вспомнить онъ старался
 Разсказъ ужасный, и желалъ
 Себя увѣрить онъ, что спалъ;
 Желалъ бы счесть онъ все мечтою...
 И по челу провелъ рукою;
 Но грусть—жестокій властелинъ!
 Съ чела не сгладилъ онъ морщинъ.

xxx.

Онъ всталъ, онъ хочетъ непремѣнно
 Пришельцу быть проводникомъ;

Не зная думать что о немъ,
 Согласенъ юноша смущенный.
 Идутъ они глухимъ путемъ;
 Но ихъ тревожитъ все: то птица
 Изъ-подъ ноги у нихъ вспорхнетъ,
 То краснобокая лисица
 Въ кусты цвѣтушіе нырнетъ.
 Они все ниже, ниже сходятъ
 И рукъ отъ сабель не отводятъ.
 Черезъ опасный переходъ
 Спѣшатъ, нагнувшись, безъ оглядки;
 И вновь на холмъ крутой взошли—
 И цѣпью русскія палатки,
 Какъ на ночлегѣ журавли,
 Бѣлѣютъ смутно ужъ вдаль.
 Тогда черкесъ остановился,
 За руку путника схватилъ—
 И кто бы, кто не удивился?
 По-русски съ нимъ заговорилъ.

xxxi.

«Прощай! ты можешь безопасно
 Теперь идти въ шатры свои;
 Но, если вѣришь мнѣ, напрасно
 Ты хочешь потопить въ крови
 Свою печаль! Страшись; быть мо-
 жетъ,

Раскаянье прибавишь къ ней.
 Болѣзни этой не поможетъ
 Ни кровь врага, ни рѣчь друзей!
 Напрасно здѣсь, въ краю далекомъ,
 Ты губишь прелесть юныхъ дней.
 Нѣтъ! не достать враждѣ твоей
 Главы, постигнутой ужъ рокомъ!
 Онъ палачамъ судей земныхъ
 Не уступаетъ жертвъ своихъ!
 Твоя бѣ рука не утратила
 Того, кто борется съ судьбой:
 Ты худо знаешь Измаила;
 Смотри жъ: онъ здѣсь передъ то-
 бой!»

И съ видомъ гордаго презрѣнья
 Отвѣта князь не ожидалъ;
 Онъ скрылся межъ уступовъ скалъ...
 И долго русскій, безъ движенія,
 Одинъ, какъ вкопанный, стоялъ.

xxxii.

Межъ тѣмъ, передъ горой Шайтаномъ
Расположась военнымъ станомъ,
Толпа черкесовъ удалыхъ
Сидѣла вокругъ огней своихъ.
Они любили Измаила:
Съ нимъ вмѣстѣ слава, иль могила,
Имъ все равно, лишь только бъ съ нимъ!
Но не могла бъ судьба однимъ
И нѣжнымъ чувствомъ межъ собою
Сковать людей съ умомъ простымъ
И съ безпокойною душою:
Ихъ всѣхъ обидѣлъ Рослабекъ!
[Таковъ повсюду человѣкъ].

xxxiii.

Сидятъ наѣзники безопасно,
Курятъ турецкій свой табакъ,
И князя ждутъ они. «Конечно
Когда исчезнетъ ночи мракъ,
Онъ къ намъ сойдетъ, и взоръ орлиный
Смирить враждебныя дружины,
И вздрогнуть передъ нимъ они,
Какъ Рослабекъ и уздени!»
Такъ, пѣсню воли напѣвая,
Шептала шайка удалая.

xxxiv.

Безмолвно, грустно, всторонѣ,
Поднявъ глаза свои къ лунѣ,
Подругѣ думъ любви мятежной,
Прекрасный юноша стоялъ—
Цвѣтокъ для смерти слишкомъ нѣжный!
Онъ также Измаила ждалъ,
Но не безопасно. Трепетъ тайный
Порывамъ сердца измѣнялъ,
И вздохъ тяжелый, не случайный,
Неразъ изъ груди вылеталъ;
И онъ явился къ Измаилу,
Чтобъ раздѣлить съ нимъ—хоть могилу.
Увы! такая ли рука
Въ куски изрубить казака?
Такой ли взоръ, стыдливый, скромный,
Глядитъ на мѣръ, чтобъ видѣть кровь?
Зачѣмъ онъ здѣсь, и ночью темной

Сочин. Лермонтова. т. II.

Лицомъ прелестный, какъ любовь,
Одинъ въ кругу черкесовъ праздныхъ,
Жестокихъ, буйныхъ, безобразныхъ?
Хотя страшился онъ сказать,
Не трудно было бъ отгадать,
Когда бъ... Но сердце, чѣмъ моложе,
Тѣмъ боязливѣе, тѣмъ строже
Хранить причину отъ людей
Своихъ надеждъ, своихъ страстей.
И тайна юнаго Селима,
Чуждаясь устъ, ланить, очей,
Отъ любопытныхъ, какъ отъ змѣй,
Въ груди сокрылась невредима.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

She told not whence, nor why she left behind
Her all for one who seemd but little kind.
Why did she love him? Curious fool!—be still
Is human love the growth of human will?

L. Byron (Lara XXII).

I.

Какія степи, горы и моря
Оружію славянъ сопротивлялись?
И гдѣ велѣнью русскаго царя
Измѣна и вражда не покорялись?
Смирись, черкесь! и Западъ и Востокъ,
Быть можетъ, скоро твой раздѣлятъ рокъ.
Настанетъ часъ—и скажешь самъ надменно:
«Пускай я рабъ, но рабъ царя вселенной!»
Настанетъ часъ—и новый, грозный Римъ
Украситъ Сѣверъ Августомъ другимъ.

II.

Горятъ аулы: нѣтъ у нихъ защиты,
Врагомъ сыны отечества разбиты,
И зарево, какъ вѣчный метеоръ,
Играя въ облакахъ, пугаетъ взоръ.
Какъ хищный звѣрь, въ смиренную обитель
Врывается штыками побѣдитель;
Онъ убиваетъ старцевъ и дѣтей;
Невинныхъ дѣвъ и юныхъ матерей
Ласкаетъ онъ кровавою рукою;
Но жены горь не съ женскою душою:
За поцѣлуемъ вслѣдъ звучитъ кинжалъ—
Отпрянулъ русскій, захрипѣлъ и палъ.
«Отмсти, товарищъ!» и въ одно мгновеніе
[Достойное за смерть убійцы мщеніе]

Простая сакля, веселя ихъ взоръ,
Горитъ—черкесской вольности костеръ.

III.

Въ аулѣ дальномъ Рослабекъ угрюмый
Сокрылся вновь, не ужасомъ объять,
Но у него коварныя есть думы—
Имъ помѣшать теперь не можетъ братъ.
Гдѣ жъ Измаиль? — Безвѣстными го-
рами

Блуждаетъ онъ, дерется съ казаками
И, заманивъ полки ихъ за собой,
Пустыню усыпаетъ ихъ костями,
И манить новыхъ по дорогѣ той.
За нимъ устали русскіе гоняться,
На крѣпости природныя взбираться;
Но отдохнуть черкесы не даютъ,
То скроются, то снова нападутъ;
Они, какъ тѣнь, какъ дымное видѣнье,
И далеко и близко въ то жъ мгновенье.

IV.

Но въ буряхъ битвъ не думалъ Из-
маиль
Сыскать самозабвенья и покоя.
Не за отчизну, за друзей онъ мстилъ,
И не плѣнялся именемъ героя;
Онъ вѣдалъ цѣну почестей и словъ,
Изобрѣтенныхъ только для глупцовъ.
Недолгій жаръ погасъ; душой усталый,
Его бы не желалъ онъ воскресить:
И не родной аулъ—родныя скалы
Рѣшился онъ отъ русскихъ защитить.

V.

Садится день, одѣтый мглою,
Какъ за прозрачной пеленою...
Ни вѣтра на землѣ, ни тучъ
На блѣдномъ сводѣ. Чуть примѣтно
Орла на вышинѣ безцвѣтной;
Межъ скалъ блуждая, желтый лучъ
Въ пещеру дикую прокрался,
И гладкій черепъ озарилъ,
И самъ на жителѣ могилъ
Передъ кончиною разыгрался,

И по разбросаннымъ костямъ,
Травой поросшимъ, здѣсь и тамъ
Скользнулъ огнистой полосой,
Дивясь ихъ вѣчному покою.
Но прежде встрѣтилъ онъ двоихъ
Недвижныхъ также—но живыхъ...
И, какъ нѣмыя жертвы гроба,
Они безпечны были оба.

VI.

Одинъ... такъ точно—Измаиль.
Безвѣстной думой угнетаемъ,
Онъ солнце тусклое слѣдилъ,
Какъ мы нерѣдко провожаемъ
Гостей докучливыхъ; на немъ
Черкесскій панцырь и шоломъ,
И пятна крови омрачали
Мѣстами блескъ военной стали.
Младую голову Селимъ
Вождю склоняетъ на колѣни;
Онъ всюду слѣдуетъ за нимъ,
Хранительной подобно тѣни:
Никто ни ропота, ни пени
Не слышалъ на его устахъ...
Боицца онъ, или устанетъ,
На Измаила только взглянетъ—
И весель трудъ ему и страхъ.

VII.

Онъ спитъ, и длинныя рѣсницы
Закрыли очи подъ собой;
Въ ланитахъ кровь, какъ у дѣвицы,
Играетъ розовой струей;
И на кольчугѣ боевой
Ему не жестко. Съ сожалѣньемъ
На эти нѣжныя черты
Взираетъ витязь, и мечты
Его исполнены мученьемъ.
Такъ свѣтлой каплею роса
Оставляя край свой, небеса,
На листь увядшій упадаетъ;
Блистая райскимъ жемчугомъ,
Она покоится на немъ
И, беззаботная, не знаетъ,
Что скоро листь увядшій тотъ
Пожнетъ коса, иль конь сомнетъ.

VIII.

Съ полуоткрытыми устами,
 Прохладой вечера дыша,
 Онъ спитъ; но мирная душа
 Взволнована; полусловами
 Онъ съ кѣмъ-то говорить во снѣ.
 Услышалъ князь и удивился;
 Къ устамъ Селима въ тишинѣ
 Прилежнымъ ухомъ онъ склонился:
 Быть можетъ, черезъ этотъ сонъ
 Его судьбу узнаетъ онъ.
 «Ты могъ забыть?... Любви ненужно,
 Одной лишь нѣжности наружной...
 Оставь же!» сонный говорилъ.
 —Кого оставить? князь спросилъ.
 Селимъ умолкъ, но на мгновенье;
 Онъ продолжалъ: «Къ чему сомнѣнье?
 На всемъ лежитъ его презрѣнье...
 Увы! что значутъ передъ нимъ
 Простая дѣва, иль Селимъ?
 Такъ будетъ вѣчно между нами...
 Зачѣмъ безцѣнными устами,
 Онъ это имя освятилъ?»
 —Не я ль? подумалъ Измаиль;
 И, погода, онъ слышитъ снова:
 «Ужасно, Боже! для дѣтей
 Проклятiе отца роднова,
 Когда на склонѣ позднихъ дней
 Оставленъ ими... но страшнѣй
 Его слеза!...» Еще два слова
 Селимъ сказалъ, и слабый стонъ
 Вдругъ поднялъ грудь, какъ стонъ про-
 щанья,
 И улетѣлъ.—Изъ состраданья,
 Князь прерываетъ тяжкій сонъ.

IX.

И вздрогнувъ, юноша проснулся,
 Взглянулъ вокругъ, и улыбнулся,
 Когда онъ ясно увидалъ,
 Что на колѣняхъ друга спалъ.
 Но, покраснѣвши, сновидѣнье
 Пересказать стыдился онъ,
 Какъ будто бы лукавый сонъ
 Имѣлъ съ судьбой его сношенье.

Не отвѣчая на вопросъ
 [Примѣта явная печали],
 Щипалъ онъ листья дикихъ розъ
 И наконецъ двѣ капли слезъ
 Въ очахъ склоненныхъ заблистали;
 И съ быстротой отворотясь,
 Онъ слезы осушилъ рукою...
 Все примѣчалъ, все видѣлъ князь;
 Но не смутился онъ душою
 И приписалъ онъ простотѣ,
 Затѣямъ дѣтскимъ слезы тѣ.
 Конечно, самъ давно не зналъ онъ
 Печалей сладостныхъ любви,
 И самъ давно не предавалъ онъ
 Слезамъ страданія свои?

X.

Не знаю... но въ другихъ онъ чувства
 Судить отвыкъ ужъ по своимъ.
 Неразъ, личиною искусства,
 Слезой и сердцемъ ледянымъ,
 Когда обмановъ самъ чуждался,
 Обманутъ былъ онъ—и боялся
 Онъ вѣрить только потому,
 Что вѣрилъ нѣкогда всему...
 И презиралъ онъ этотъ мiръ ничтожный,
 Гдѣ жизнь—измѣнъ взаимныхъ вѣчный
 рядъ,
 Гдѣ радость и печаль—все призракъ
 ложный;
 Гдѣ память о добрѣ и злѣ—все ядъ;
 Гдѣ льститъ намъ зло, но болѣе тревожитъ;
 Гдѣ сердца утѣшать добро не можетъ,
 И гдѣ они, покорствуя страстямъ,
 Раскаянье одно приносятъ намъ...

XI.

Селимъ встаетъ, на гору всходитъ...
 Сребристый стелется ковыль,
 Вокругъ пещеры; сумракъ бродитъ
 Влажи... Вотъ топотъ; вотъ и пыль,
 Желтѣя, поднялась въ лошинѣ,
 И крикъ черкесовъ по зарѣ
 Гудитъ, теряясь въ пустынь...
 Селимъ все слышалъ на горѣ;
 Стремглавъ въ пещеру онъ вбѣгаетъ:

«Они! они!» онъ восклицаетъ,
И князя нѣжною рукой
Влечетъ онъ быстро за собой.
Вотъ первый всадникъ показался;
Онъ, мнилось, изъ земли родился,
Когда въѣзжалъ на холмъ крутой;
За нимъ другой, еще другой—
И вереницею тянулись
Они по узкому пути:
Тамъ, если бъ два коня столкнулись,
Назадъ бы оба не вернулись,
И не могли бъ впередъ идти.

хп.

Толпа джигитовъ удалая,
Передъ горой остановясь,
Съ коней измученныхъ слѣзая,
Шумить. Но къ нимъ подходитъ князь—
И все утихло; уваженье
Въ ихъ выразительныхъ чертахъ;
Но уваженіе—не страхъ;
Не власть его основа—мнѣнье.
«Какія вѣсти?»—Русскій станъ
Пришелъ къ Оссаевскому Полю;
Имъ льститъ и бѣдность нашихъ странъ!
Ихъ много! «Кто не любитъ волю?»
Молчатъ. «Такъ дайте жъ отдохнуть
Своимъ конямъ. Съ зарею въ путь.
Въ бою мы рады лечь костями;
Чего же лучшаго намъ ждать?
Но въ цвѣтѣ жизни умирать,
Селимъ, ты не поѣдешь съ нами!...»

хш.

Блѣднѣетъ юноша и взоръ
Понятно выразилъ укоръ.
«Нѣтъ, говоритъ онъ: я повсюду
Въ изгнаньѣ, въ битвѣ—спутникъ твой;
Нѣтъ! клятвы я не позабуду—
Угаснуть или жить съ тобой.
Не робокъ я подъ свистомъ пули—
Ты видѣлъ это, Измаилъ!
Меня враги не ужаснули,
Когда ты, князь, со мною былъ.
И съ твоего чела не я ли
Смывалъ такъ часто пыль и кровь?

Когда друзья твои бѣжали,
Чьи рѣчи, ласки прогоняли
Суровый мракъ твоей печали?
Мои слова, моя любовь...
Возьми, возьми меня съ собою!
Ты знаешь, я владѣть стрѣлою
Могу... И что мнѣ смерти! О, нѣтъ!
Красой и счастьемъ юныхъ лѣтъ
Моя душа не дорожила;
Все, все оставлю, жизнь и свѣтъ—
Но не оставлю Измаила!»

xiv.

Взглянулъ на небо молча князь,
И наконецъ, отворотясь,
Онъ протянулъ Селиму руку;
И крѣпко тотъ ее пожалъ
За то, что смерть, а не разлуку
Печальный знакъ сей обѣщалъ.
И долго витязь такъ стоялъ;
И подъ нависшими бровями
Блеснуло что-то: и слезами
Я могъ бы этотъ блескъ назвать,
Когда бъ не скрылся онъ опять...

xv.

По косогору ходятъ кони;
Колчаны, ружья, сѣдла, брони
Въ пещеру на ночь снесены;
Огни у входа зажжены.
На князѣ яркая кольчуга
Блеститъ краснѣя; погружонъ
Въ мечтанье горестное онъ—
И отъ страстей, какъ отъ недуга,
Бѣжитъ спокойствіе и сонъ.
И говоритъ Селимъ: «Навѣрно,
Тебя терзаетъ духъ пещерной!
Дай, пѣсню я тебѣ спою;
Нерѣдко дѣва молодая
Ее поетъ въ моемъ краю,
На битву друга отпуская.
Она печальна; но другой
Я не слыхалъ въ странѣ родной;
Ее пѣвала мать родная
Надъ колыбелю моей.
Ты, слушая, забудешь муки,

И на глаза навѣютъ звуки
Всѣ сновидѣнья дѣтскихъ дней.»
Селимъ запѣлъ—и ночь кругомъ внимаетъ,
И пѣсню ей пустыня повторяетъ:

пѣсня селима.

Мѣсяцъ плыветъ
И тихъ и спокоенъ;
А юноша-воинъ
На битву идетъ.
Ружье заряжаетъ джигитъ
И дѣва ему говоритъ:
«Мой милый! смѣлѣе
Вѣряться ты року,
Молися востоку,
Будь вѣренъ Пророку,
Любви будь вѣрнѣе!
«Всегда награжденъ,
Кто любить до гроба;
Ни зависть, ни злоба
Ему не законъ;
Пускай его смерть и погубить:
Одинъ не погибнетъ, кто любитъ!
«Любви измѣнившій—
Измѣной кровавой,
Врага не сразивши—
Погибнетъ безъ славы;
Дожди его ранъ не обмоютъ
И звѣри костей не заркоутъ!»
Мѣсяцъ плыветъ
И тихъ и спокоенъ;
А юноша-воинъ
На битву идетъ.

«Прочь эту пѣсню!» какъ безумный
Воскликнулъ князь: «зачѣмъ упрекъ?...
Тебя ль послушаетъ Пророкъ?...
Тамъ, облить кровью, въ битвѣ шумной,
Твои слова я заглушу,
И разорву ея оковы,
И память въ сердцахъ удушю...
Вставайте?... Какъ? Вы не готовы?..
Прочь пѣсни! крови мнѣ! пора!..
Друзья, коней!... Вы не слыхали?
Удары, топотъ, визгъ ядра,
И крикъ, и трескъ разбитой стали

Я слышалъ... О, не пой, не пой!
Тронь сердце, какъ дрожитъ! И что же?
Ты недовольна?... Боже, Боже!..
Зачѣмъ казнить ея рукой?...»
Такъ рѣчь его оторвалась
Отъ блѣдныхъ устъ и пронеслася
Невнятно, какъ далекій громъ.
Неровнымъ, трепетнымъ огнемъ
До половины освѣщенный,
Ужасенъ, съ пашкой обнаженной,
Стоялъ недвижимъ Измаиль,
Какъ призракъ злой, отъ сна могиль
Волшебнымъ словомъ пробужденный.
Онъ взоръ всей силой устремилъ
Въ пустую степь, грозилъ рукою,
Чему-то страшному грозилъ:
Иначе, какъ бы Измаиль
Смутиться твердой могъ душою?—
И понялъ наконецъ Селимъ,
Что витязь говорилъ не съ нимъ...
Неосторожный! онъ коснулся
Душевныхъ струнъ—и звукъ проснулся,
Расторгнувъ хладную тюрьму...
И самъ искусству своему
Селимъ невольно ужаснулся...

xvi.

Толпа садится на коней.
При свѣтѣ гаснущихъ огней
Мелькаютъ сумрачныя лица.
Такъ опоздавшая станица
Пустынныхъ бѣлыхъ журавлей
Вдругъ поднимается съ полей...
Смѣхъ, клики, ропотъ, стукъ и ржанье—
Все дышетъ буйствомъ и войной;
Во всемъ приличія незнанье,
Отвага дерзости слѣпой.

xvii.

Свѣтлѣетъ небо полосами;
Заря межъ синими рядами
Ревнивыхъ тучъ ужъ занялась.
Вдоль по лошинѣ ѣдетъ князь;
За нимъ черкесы цѣпью длинной.
Признаться, конь по сѣдоку:
Бѣжить—и будто вѣтръ пустынной,

Скользкій шумно по песку,—
Крутится, вьется на-скаку;
Онъ бѣлъ какъ снѣгъ: во мракѣ ночи
Его замѣтить могутъ очи.
Съ колчаномъ звонкимъ за спиной,
Отягощенъ своимъ нарядомъ,
Селимъ проворный ѣдетъ рядомъ,
На кобылицѣ вороной.
Такъ бѣлый облакъ въ полдень знойной,
Плыветъ отважно и спокойно—
И вдругъ, по тверди голубой
Отрывокъ тучи громовой,
Грозы дыханіемъ гонимый,
Какъ черный лоскутъ мчится мимо;
Но какъ ни бейся, въ вышинѣ
Онъ съ тѣмъ не станетъ наравнѣ.

xviii.

Ужъ близко роковое поле.
Кому-то пастъ рѣшить судьба?...
Вдругъ имъ послышалась стрѣльба,
И каждый мигъ все болѣ, болѣ;
И пушки голосъ громовой
Раздался скоро за горой.
И вспыхнулъ князь, махнулъ рукою;
«Впередъ!» воскликнулъ онъ: «за мною!»
Сказалъ и бросилъ повода.
Нѣтъ, такъ прекрасенъ никогда
Онъ не казался! Повелитель,
Герой по взорамъ и рѣчамъ,
Летѣлъ къ опаснымъ онъ врагамъ,
Летѣлъ, какъ ангелъ-истребитель;
И въ этотъ мигъ, скажи, Селимъ,
Кто бъ не послѣдовалъ за нимъ?

xix.

Межъ тѣмъ, съ безпечною отвагой,
Отрядъ могучихъ казаковъ
Гнался за малою ватагой
Неустрасимыхъ удалцовъ.
Всю эту ночь они блуждали
Вкругъ непріязненныхъ шатровъ,
Ихъ часовые увидали—
И пушка грянула по нимъ,
И казаки спѣшатъ на встрѣчу.
Едва съ отчаяньемъ нѣмымъ

Они поддерживали сѣчу,
Стыдась и въ бѣгствѣ показать,
Что смерть ихъ можетъ испугать.
Ихъ кругъ тѣснѣй ужъ становился:
Одинъ подъ саблею свалился,
Другой, пробитый въ грудь свинцомъ,
Былъ въ поле унесенъ конемъ,
И, мертвый, на сѣдлѣ все бился...
Оружье брось—надежды нѣтъ;
Черкесь, читай свои молитвы!
Въ крови твой шолковый бешметъ,
Тебѣ другой не видѣтъ битвы...
Вдругъ пыль и крикъ—онъ имъ знакомъ:
То крикъ родной, не бесполезный!
Глядятъ, и видятъ—надъ холмомъ
Стоитъ ихъ князь въ бронѣ желѣзной.

xx.

Недолго Измаиль стоялъ:
Вздохнулъ коню онъ только далъ,
Взглянулъ и ринулся и смялъ
Враговъ, и путь за нимъ кровавый
Межъ ихъ рядами виденъ сталъ,
Вездѣ, налѣво и направо,
Чертя по воздуху круги,
Удары шашки упадаютъ:
Не видятъ блескъ ея враги
И беззащитно умираютъ.
Какъ юный левъ, разгораясь,
Въ средину ихъ врубился князь;
Кругомъ свистятъ и рѣютъ пули;
Но что жъ? Его хранитъ Пророкъ!
Шеломъ удары не согнули,
И худо мѣтится стрѣлокъ.
За нимъ, погибель разсыпая,
Вломилась шайка удалая,
И чрезъ минуту шумный бой
Разсыпался въ долинѣ той...

xxi.

Далеко отъ сраженья, межъ кустовъ,
Питомецъ смѣлый трамскихъ табуновъ,
Разсѣдланнй, хладѣя постепенно,
Лежалъ издохшій конь—и передъ нимъ,
Участіемъ исполненный живымъ,
Стоялъ черкесь, соратника лишенный.

Крестомъ сжавъ руки, и кидая взглядъ
Завистливый туда, на поле боя,
Онъ проклинать судьбу свою былъ радъ;
Его печаль—была печаль героя.
И весь въ поту, усталостью томимъ,
Къ нему въ испугѣ подскакалъ Селимъ,
[Онъ лукъ не напрягалъ еще, и стрѣлы
Всѣ до одной въ колчанѣ были цѣлы].

xxii.

—Бѣда! сказалъ онъ: князя не видать!
Куда онъ скрылся? «Если хочешь знать,
Взгляни туда, гдѣ бранный дымъ краснѣе,
Гдѣ гуще пыль и смерти крикъ сильнѣе,
Гдѣ кровью облитъ мертвый и живой,
Гдѣ въ бѣгствѣ нѣтъ надежды никакой.
Онъ тамъ... Смотри: летитъ какъ съ не-
ба пламя.

Его шишакъ и конь—вотъ наше знамя!
Онъ тамъ, какъ духъ, разить и неври-
димъ,

И все бѣжитъ, иль падаетъ предъ нимъ!»
Такъ отвѣчалъ Селиму сынъ природы,
А лѣсть была чужда степей свободы.

xxiii.

Кто этотъ русскій съ саблею въ рукѣ,
Въ фуражкѣ бѣлой? Страха онъ не знаетъ;
Онъ между всѣхъ отличенъ вдалекѣ,
И казаковъ примѣромъ ободряетъ;
Онъ ищетъ Измаила—и нашелъ,
И вынулъ пистолетъ свой, и навелъ,
И выстрѣлилъ... напрасно; обманулъ
Его свинецъ!—но выстрѣлъ роковой
Услышалъ князь, и мигомъ обернулся,
И задрожалъ: «Ты вновь передо мной!...
Свидѣтель Богъ—не я тому виной!...»
Воскликнулъ онъ, и шашка зазвенѣла,
И отдѣлясь отъ трепѣтнаго тѣла,
Какъ зрѣлый плодъ отъ вѣтки молодой,
Скатилась голова, и конь ретивый,
Вставъ на дыбы, заржалъ, мотая гривой;
И скоро обезглавленный сѣдокъ
Свалился на растоптанный песокъ.
Недолго это сердце увядало,
И миръ ему! въ единый мигъ оно

Любить и ненавидѣть перестало:
Не всѣмъ такое счастье суждено.

xxiv.

Все жарче бой, главы валятся
Подъ взмахомъ княжеской руки;
Спасая дни свои, тѣсняются,
Бѣгутъ въ разстройствѣ казаки.
Какъ злые духи, горцы мчатся
Съ побѣднымъ воємъ имъ вослѣдъ,
И никому пощады нѣтъ.
Но что жъ? Побѣда измѣнила!
Раздался вдругъ неожиданный громъ,
Все въ дымѣ скрылося густомъ,
И предъ глазами Измаила
На землю съ бѣшенныхъ коней
Кровавой грудой костей
Свалился рядъ его друзей...
Какъ градъ посыпалась картеча.
Пальбу услышавъ издалеча,
Направля синіе штыки,
Спѣшатъ ширванскіе полки...
На встрѣчу гибельному строю,
Одинъ, съ отчаянной душою,
Хотѣлъ пуститься Измаиль;
Но за поводъ коня схватилъ
Черкесъ, и въ горы за собою—
Какъ ни противился сѣдокъ—
Коня могучаго увлекъ.
И ни малѣйшаго движенія
Среди всеобщаго смятенія
Не упустилъ молодой Селимъ:
Онъ бѣгство князя примѣчаетъ,
Ударъ судьбы благословляетъ
И быстро слѣдуетъ за нимъ.
Не стыдъ, но горькая досада
Героя медленно грызетъ.
Жизнь побѣжденнымъ не награда...
Онъ на друзей не кинулъ взгляда
И, мнитъ, ихъ не узнаетъ.

xxv.

Чѣмъ рѣже насъ балуетъ счастье,
Тѣмъ слаше предаваться намъ
Предположеньямъ и мечтамъ.
Родится ль тайное пристрастие

Къ другому міру, хоть и тамъ
 Судьбы примѣтно сомовласть,
 Мы все свободнѣе даримъ
 Ему надежды и желанья;
 И украшаемъ, какъ хотимъ,
 Свои воздушныя созданья.
 Когда забота и печаль
 Покой душевный возмущаютъ,
 Мы забываемъ свѣтъ, и вдалѣ
 Душа и мысли улетаютъ,
 И ловятъ сны, въ которыхъ нѣтъ
 Слѣдовъ и тѣни прежнихъ лѣтъ.
 Но умъ, сомнѣнемъ охлажденный,
 И спорить съ рокомъ приученный,
 Не усладить, не позабыть
 Свои страданія желаетъ,
 И если иногда мечтаетъ,
 То онъ мечтаетъ—побѣдить.
 И, зная собственную силу,
 Пока не сброситъ прахъ въ могилу,
 Онъ не оставитъ гордыхъ думъ...
 Такой непобѣдимый умъ
 Природой данъ былъ Измаилу.

xxvi.

Онъ раненъ; кровь его течетъ;
 А онъ не чувствуетъ, не слышитъ;
 Въ опасный путь его несетъ
 Ретивый конь, храпитъ и пышетъ;
 Одинъ Селимъ не отстаётъ:
 За гриву ухватясь руками,
 Едва сидитъ онъ на сѣдлѣ;
 Боязни блѣдность на челѣ;
 Онъ очи, полныя слезами,
 Порой кидаетъ на того,
 Кто все на свѣтѣ для него,
 Кому надежду жизни милой
 Готовъ онъ въ жертву принести,
 И чье послѣднее «прости»
 Его бы съ жизнью разлучило.
 Будь передъ міромъ онъ злодѣй—
 Чтô для любви слова людей?
 Чтô ей небесъ опредѣленье?
 Нѣтъ, охладить любовь—гоненье
 Еще ни разу не могло:
 Она сама свое добро и зло.

xxvii.

Умолкъ докучной крикъ погони;
 Дымься и въ пѣнѣ скачутъ кони
 Между проваломъ и горой,
 Кремнистой, тѣсною тропой;
 Они дорогу знаютъ сами
 И презираютъ сѣдока,
 И бесполезная рука
 Ужъ не владѣетъ поводями.
 Направо темные кусты
 Висятъ, за шапки задѣвая;
 И съ неприступной высоты,
 На новыхъ путниковъ взирая,
 Чернѣетъ серна молодая...
 Налѣво—пропасть; по краямъ
 Рядъ красныхъ камней, здѣсь и тамъ
 Всегда обрушиться готовый.
 Внизу свирѣпъ, и одинокъ,
 Никѣмъ невѣдомый потокъ,
 Какъ тигръ Америки суровой,
 Бѣжитъ гремячею волной;
 То блещетъ бахромой перловой,
 То изумрудною каймой;
 Какъ двѣ семьи враждебный геній—
 Два гребня раздѣляетъ онъ.
 Вдали на синій небосклонъ
 Нагихъ, бесплодныхъ горъ ступени
 Ведутъ желаніе и взглядъ
 Сквозь облака, которыхъ тѣни
 По нимъ мелькаютъ и спѣшатъ:
 Смѣняя въ зависти другъ друга,
 Они бѣгутъ впередъ, назадъ,
 И, мнится, что подъ солнцемъ юга
 Въ нихъ страсти южныя кипятъ.

xxviii.

Ужъ полдень. Измаилъ слабѣетъ...
 Пылаетъ солнце высоко...
 Но есть надежда: дымъ синѣетъ,
 Родной аулъ недалеко...
 Тамъ, гдѣ кустарникомъ покрыты,
 Встаютъ красивые граниты
 Какимъ-то пасмурнымъ вѣнцомъ,
 Есть поворотъ и путь, прорытый
 Арбы скрипучимъ колесомъ.

Оттуда кровы земляные,
Мечеть, блѣвущій заборъ,
Аргуны воды голубыя,
Какъ подъ ногами, встрѣтитъ взоръ...
Достигнуть поворотъ желанный;
Вотъ и вѣнецъ горы туманной,
Вотъ слышенъ рѣчки ревъ глухой;
И бѣлый конь сильнѣй рванулся...
Но вдругъ переднею ногой
Онъ оступился, спотыкнулся,
И на-скаку, между камней,
Упалъ всей тягостью своей.

xxix.

И всадникъ кровью истекая,
Лежалъ безъ чувства на землѣ;
Въ устахъ недвижность гробовая
И блѣдность муки на челѣ;
Казалось, часть его кончины
Ждалъ знакъ условный въ небесахъ,
Чтобы слетѣть, и въ мигъ единый
Изъ человѣка сдѣлать прахъ.
Ужель степная лишь могила
Ничтожный въ мірѣ будетъ слѣдъ
Того, чье сердце столько лѣтъ
Мысль о ничтожествѣ томила?
Нѣтъ! нѣтъ! вѣдь здѣсь еще Селимъ...
Склонясь въ отчаяннѣ надъ нимъ,
Какъ въ бурю ива молодая
Надъ падшимъ гнется алтаремъ—
Снималъ онъ панцырь и шоломъ;
Но сердце къ сердцу прижимая,
Не слышитъ жизни ни въ одномъ.
И если бѣ страшное мгновенье
Всѣ мысли не убило въ немъ,
Судиться сталъ бы онъ съ Творцомъ
И проклиналъ бы провидѣнье...

xxx.

Встаетъ, глядитъ кругомъ Селимъ,
Все неподвижно передъ нимъ.
Зоветъ—и тучка дождевая
Летитъ на зовъ его одна,
По вѣтру крылья простирая,
Какъ смерть темна и холодна.
Вотъ наконецъ сырымъ покровомъ

Одѣла путниковъ она,
И юноша въ испугѣ новомъ!
Прижавшись къ другу съ быстротой:
«О, пощади его... постой!»
Воскликнулъ онъ; «я вижу ясно,
Что ты пришла меня лишить
Того, кого люблю такъ страстно,
Кого слабѣй нельзя любить;
Ступай, ищи другихъ по свѣту;
Всѣ жертвы бога твоего!...
Ужель меня насчастнѣй нѣту,
И нѣтъ виновнѣе его?»

xxxi.

Межъ тѣмъ, подобно дымной тѣни,
Хотя не понялъ онъ моленій,
Угрюмый облакъ пролетѣлъ.
Когда жъ Селимъ взглянуть посмѣлъ—
Онъ былъ далеко. Освѣженный
Его прохладою мгновенной,
Очнулся блѣдный Измаиль,
Вздохнулъ, потомъ глаза открылъ.
Онъ слабъ: другую ищетъ руку
Его дрожащая рука;
И каждому внимая звуку,
Онъ пьетъ дыханье вѣтерка,
И все, что близко, отдаленно,
Предъ нимъ яснѣетъ постепенно...
Гдѣ жъ другъ послѣдній, гдѣ Селимъ?
Глядитъ... и что же передъ нимъ?
Глядитъ... уста оледенѣли,
И мысли зрѣньемъ овладѣли...
Не могъ бы описать подобный мигъ
Ни ангельскій, ни демонскій языкъ.

xxxii.

Селимъ... и кто теперь не отгадаетъ?
На немъ мохнатой шапки больше нѣтъ;
Раскрылась грудь; на шолковый бешметъ
Волна кудрей, чернѣя, ниспадаетъ—
Въ печали женщинъ лучшій ихъ уборъ.
Молитва стихла на устахъ... а взоръ...
О небо, небо! есть ли въ куцахъ рая
Глаза, гдѣ слезы, робость и печаль
Оставить—страшно, уничтожить—жаль?
Скажи мнѣ: есть ли Зара молодая

Межъ дѣвъ твоихъ, и плачетъ ли она,
И любить ли? Но понялъ я молчанье!
Не встрѣтить мнѣ подобное созданье:
На небѣ неумѣстно подражанье,
А Зара на землѣ была одна.

xxxiii.

Узналъ, узналъ онъ образъ позабытый
Среди душевныхъ бурь и бурь войны;
Поцѣловалъ онъ нѣжныя ланиты—
И краски жизни имъ возвращены.
Она чело на грудь ему склонила;
Смущаютъ Зару ласки Измаила;
Но сердцу—какъ ума не соблазнить?
И какъ любви—стыда не побѣдить?
Ихъ рѣчи—пламень; вѣчная пустыня
Восторгомъ и блаженствомъ ихъ полна.
Любовь для неба и земли святыня
И только для людей порокъ она;
Во всей природѣ дышетъ сладострастье,
И только люди покупаютъ счастье.

Прошло два года. Все кипитъ война;
Безплоднаго Кавказа племена
Питаются разбоемъ и обманомъ;
И въ знойный день, и подъ ночнымъ ту-

маномъ

Отважность ихъ для русскаго страшна.
Казалось, двухъ братьевъ помирила
Слѣпая месть и къ родинѣ любовь.
Вездѣ, гдѣ врагъ бѣжитъ и льется кровь,
Видна рука и шашка Измаила.
Но отчего ни Зара, ни Селимъ,
Теперь уже не слѣдуютъ за нимъ?
Куда лезгинка нѣжная сокрылась?
Какой ударъ ту грудь оледенилъ,
Гдѣ для любви такое сердце билось,
Какимъ владѣть онъ не достоинъ былъ?
Измѣна ли причина ихъ разлуки?
Жива ль она, иль спитъ послѣднимъ сномъ?
Родныя ль въ гробъ ее сложили руки?
Послѣднее «прости» съ слезами муки
Сказали ль ей на языкѣ родномъ?
И если смерть щадитъ ее понинѣ—
Между какихъ людей, въ какой пустынѣ?
Кто бъ Измаила смѣлъ спросить о томъ?

Однажды, въ часъ, когда лучи заката
По облакамъ кидали искры злата,
Задумчивъ, на курганѣ Измаилъ
Сидѣлъ. Еще ребенкомъ онъ любилъ
Природы дикой пышныя картины,
Разливъ зари и льдистыя вершины,
Блестящія на небѣ голубомъ;
Не измѣнилось только это въ немъ.
Четыре горца близъ него стояли
И мысли по лицу узнать желали;
Но кто проникнетъ въ глубину морей
И въ сердце, гдѣ тоска, но нѣтъ страстей?
О чемъ бы онъ ни думалъ—Западъ дальней
Не привлекалъ мечты его печальной;
Другія воспоминанья и другой,
Другой предметъ владѣлъ его душой...

Но что за выстрѣлъ?... Дымъ взвился
бѣлѣя,

Вѣрна рука, и вѣренъ глазъ злодѣя!
Съ свинцомъ въ груди, простертый на
землѣ

Съ печатью смерти на крутомъ челѣ,
Друзьями окружонъ, любимецъ брани
Лежалъ, навѣки нѣмъ для ихъ призваній.
Послѣдній лучъ зари еще игралъ
На пасмурныхъ чертахъ и придавалъ
Его лицу румянецъ; и казалось,
Что въ немъ отъ жизни что-то оставалось;
Что мысль, которой угнетенъ былъ умъ,
Послѣдняя его тяжелыхъ думъ,
Когда душа отторгнулась отъ тѣла—
Его лица оставить не успѣла.
Небесный судъ да будетъ надъ тобой,
Жестокий братъ, завистникъ вѣроломной;
Ты самъ намѣтилъ выстрѣлъ роковой;
Ты не нашелъ въ горахъ руки наемной...
Гремучій ключъ катился невдали.
Къ его струямъ черкесы принесли
Кровавый трупъ. Разстегнуть ихъ рукою
Чекмень, пробитый пулей роковою,
И грудь обмытъ они уже хотятъ...
Но почему ихъ омрачился взглядъ?
Чего они такъ явно ужаснулись?
Зачѣмъ, вскочивъ, такъ хладно отверну-

лись?

Зачѣмъ?... Какой-то локонъ золотой

[Конечно талисманъ земли чужой],
Подъ грубою одеждою измятой,
И бѣлый крестъ на лентѣ полосатой
Блистаи на груди у мертвеца...
—«Иктобыотгадалъ!—джяуръ проклятой!
Нѣтъ, ты не стоилъ лучшаго конца;
Нѣтъ, мусульманинъ вѣрный—Измаилу,
Отступнику, не выроетъ могилу!...

Того, кто презиралъ людей и рокъ,
Кто смертію игралъ такъ своенравно,
Лишь ты низвергнуть смѣлъ, святой Про-
рокъ!
Пусть, не оплаканъ, онъ сгніетъ безславно,
Пусть кончитъ жизнь, какъ началъ, оди-
нокъ!...»

(Оконченъ 10 мая 1832.)



ХАДЖИ-АБРЕКЪ



Великъ, богатъ аулъ Джемать,
Онъ никому не платитъ дани,
Его стѣна—ручной булатъ,
Его мечеть—на полѣ брани;
Его свободные сыны
Въ огняхъ войны закалены;
Дѣла ихъ громки по Кавказу,
Въ народахъ дальнихъ и чужихъ,
И сердца русскаго ни разу
Не миновала пуля ихъ.

По небу знойный день катится,
Отъ скалъ горячихъ паръ струится;
Орелъ, недвижимъ на крылахъ,
Едва чернѣетъ въ облакахъ;
Ущелья въ сонѣ погружены,
Въ аулѣ нѣтъ лишь тишины.
Аулъ встревоженный пустѣетъ,
И подъ горой, гдѣ вѣтеръ вѣетъ,
Гдѣ изъ утеса бьетъ потокъ,
Стоитъ внимательный кружокъ.
Объ чемъ ведетъ переговоры
Совѣтъ джематскихъ удалцовъ?
Хотятъ ли вновь пуститься въ горы
На ловлю чуждыхъ табуновъ?
Не ждутъ ли русскаго отряда,
До крови лакомыхъ гостей?
Нѣтъ—только жалость и досада
Видна во взорахъ узденей.
Покрѣтъ одеждами чужими,
Сидитъ на камнѣ между ними
Лезгинецъ дряхлый и сѣдой;
И льется рѣчь его потокомъ,
И вокругъ себя блестящимъ окомъ

Печально водить онъ порой,
Разказу стараго лезгина
Внимали всѣ. Онъ говорилъ:
«Три нѣжныхъ дочери, три сына
Мнѣ Богъ на старость подарилъ;
Но бури злая разразились
И вѣтви древа обвалились,
И я стою теперь одинъ,
Какъ голый пенъ среди долинъ.
Увы, я старъ! мои сѣдины
Бѣлѣе снѣга той вершины,
Но и подъ снѣгомъ иногда
Бѣжитъ кипучая вода!...
Сюда, наѣзники Джемата!
Откройте удалъ мнѣ свою!
Кто знаетъ князя Бей-Булата?
Кто возвратитъ мнѣ дочь мою?
Въ плѣну сестры ея увяли,
Въ бою неровномъ братья пали:
Въ чужбинѣ двое, а меньшей
Пронзенъ штыкомъ передо мной.
Онъ улыбался, умирая!
Онъ, вѣрно, зрѣлъ, какъ дѣва рая
Къ нему слетѣла предъ концомъ,
Махая радужнымъ вѣнцомъ...
И вотъ пошелъ я жить въ пустыню
Съ послѣдней дочерью своей.
Ее хранилъ я, какъ святыню;
Все, что имѣлъ я, было въ ней;
Я взялъ съ собою лишь ее,
Да неизмѣнное ружье.
Въ пещерѣ съ ней я поселился,
Родимой хижины лишенъ;

Къ бѣдѣ я скоро приучился,
 Давно былъ къ волѣ приученъ.
 Но часъ ударилъ неизбѣжный—
 И улѣтъ птенецъ мой нѣжный!..
 Однажды ночь была глухая,
 Я спалъ... Безмолвно надо мной,
 Зеленой вѣткою махая,
 Сидѣлъ мой ангелъ молодой.
 Вдругъ просыпаюсь... слышу: шопотъ—
 И слабый крикъ—и конскій топотъ...
 Бѣгу и вижу—подъ горой
 Несется всадникъ съ быстротой,
 Схвативъ ее въ свои объятья.
 Я къ нимъ послалъ свои проклятья.
 О, для чего второй гонецъ
 Настичъ не могъ ихъ—мой свинецъ!
 Съ кровавымъ мщеньемъ, вотъ здѣсь скры-

томъ,

Безъ силъ отмстить за свой позоръ,
 Влачусь я по горамъ съ тѣхъ поръ,
 Какъ змѣй, раздавленный копытомъ.
 И нѣтъ покоя для меня
 Съ того мучительнаго дня...
 Сюда, наѣзники Джемата!
 Откройте удалъ мнѣ свою!
 Кто знаетъ князя Бей-Булата?
 Кто привезетъ мнѣ дочь мою?»

«Я!» молвилъ витязъ черноокой,
 Схватившись за кинжалъ широкой,
 И въ изумленіи нѣмомъ
 Толпа раздвинулась кругомъ.

«Я знаю князя. Я рѣшился!..
 Двѣ ночи здѣсь ты жди меня:
 Хаджи безстрашный не сядилъ
 Ни разу даромъ на коня.
 Но если я не буду къ сроку,
 Тогда обѣтъ мой позабудь,
 И обѣ душѣ моей Пророку
 Ты помолишь, пускаясь въ путь.»

Взошла заря. Изъ за тумановъ,
 На небосклонѣ голубомъ
 Главы гранитныхъ великановъ
 Встаютъ, увѣнчанные льдомъ.
 Въ ущельѣ облако проснулось,
 Какъ парусъ розовый надулось
 И понеслось по вышинѣ.

Все дышетъ утромъ. За оврагомъ,
 По косоугору ѣдетъ шагомъ
 Черкесъ на борзomъ скакунѣ.
 Еще лѣнивое свѣтило
 Росы холмовъ не осушило.
 Со скалъ высокихъ надъ путемъ
 Склонился дикой виноградникъ;
 Его серебрянымъ дождемъ
 Осыпанъ часто конь и всадникъ;
 Небрежно бросивъ поводъ,
 Красивой плеткой онъ махаешь,
 И пѣсню дѣдовъ иногда,
 Склонясь на гриву, запѣваетъ;
 И дальній отзывъ за горой
 Уныло вторитъ пѣсни той.

Есть поворотъ—и путь, прорытый
 Арбы скрипучимъ колесомъ,
 Тамъ, гдѣ красивые граниты
 Зубчатымъ сходятся вѣнцомъ.
 Оттуда онъ, какъ подъ ногами,
 Смиранный различитъ аулъ,
 И пыль, поднятую стадами,
 И пробужденья первый гулъ;
 И на краю крутаго ската
 Отмѣтитъ саклю Бей-Булата,
 И, какъ орелъ, съ вершины горъ
 Вперить на крышу свѣтлый взоръ...
 Въ тѣни прохладной, у порога
 Лезгинка юная сидитъ.
 Предъ нею тянется дорога,
 Но грустно вдаль она глядитъ.
 Кого ты ждешь, звѣзда Востока,
 Съ заботой нѣжною такой?
 Не другъ ли будетъ издалѣка?
 Не братъ ли съ битвы роковой?
 Отъ зноя утомясь дневнова,
 Твоя головка ужъ готова
 На грудь высокую упасть.
 Рука скользнула вдоль колѣна;
 И нѣги сладостная власть
 Плечо исторгнула изъ плѣна;
 Отяготѣлъ твой ясный взоръ,
 Покрывшись влагою жемчужной;
 Въ твоихъ щекахъ, какъ метеоръ,
 Играетъ пламя крови южной;

Уста волшебныя твои
 Зовутъ лобзаніе любви.
 Нѣмымъ встревожена желаньемъ,
 Обнять ты ищешь что нибудь,
 И перси слабымъ трепетаньемъ
 Хотятъ покровы оттолкнуть.
 О, гдѣ ты, сердца другъ безцѣнный!...
 Но вотъ и топотъ отдаленный,
 И пыль знакомая взвилась—
 И дѣва шепчетъ: «это князь!»

Легко надежда утѣшаетъ;
 Легко обманываетъ глазъ;
 Ужъ близко путникъ подъѣзжаетъ...
 Увы! она его не знаетъ,
 И видитъ только въ первый разъ.
 То странникъ, въ полѣ запоздалый,
 Гостепріимный ищетъ кровь;
 Дымится конь его усталый,
 И онъ спрыгнуть уже готовъ...
 Спрыгни же, всадникъ!... Что же онъ
 Какъ будто крова испугался?
 Онъ смотреть... Краткій, грустный

стонъ

Отъ губъ сомкнутыхъ оторвался,
 Какъ листъ отъ вѣтви молодой,
 Измятый лѣтнею грозой.

«Что медлишь, путникъ, у порога?
 Слѣзай съ походнаго коня.
 Случайный гость—подарокъ Бога.
 Кумысъ и медъ есть у меня.
 Ты, вижу, бѣденъ; я богата.
 Почти же кровлю Бей-Булата!
 Когда опять поѣдешь въ путь,
 Въ молитвѣ насъ не забудь!»

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Аллахъ спаси тебя, Леила!
 Ты гостя лаской подарила;
 И отъ отца тебѣ поклонъ
 За то привезъ съ собою онъ.

ЛЕИЛА.

Какъ! мой отецъ? Меня понинѣ
 Въ разлукѣ долгод не забылъ?
 Гдѣ онъ живетъ?

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Гдѣ прежде жилъ—
 То въ чуждой саклѣ, то въ пустынѣ.

ЛЕИЛА.

Скажи, онъ веселъ, онъ счастливъ?
 Скорѣй отвѣтствуй мнѣ...

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Онъ живъ,
 Хотя порой дождямъ и стужѣ!
 Открыта голова его...
 Но ты?...

ЛЕИЛА.

Я счастлива.

ХАДЖИ-АБРЕКЪ [тихо].

Тѣмъ хуже!

ЛЕИЛА.

А? что ты молвилъ?

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Ничего!

Сидитъ пришелецъ за столомъ.
 Чихирь съ серебрянымъ пшеномъ,
 Предъ нимъ не тронуты доселѣ
 Стоятъ. Онъ страненъ въ самомъ дѣлѣ!
 Какъ на челѣ его крутомъ
 Блуждаютъ, движутся морщины!
 Рукою лѣтъ или кручины
 Проведены онѣ по немъ?

Развеселить его желая,
 Леила бубенъ свой беретъ;
 Въ него перстами удая,
 Лезгинку пляшетъ и поетъ.
 Ея глаза какъ звѣзды блещутъ,
 И груди полныя трепещутъ.
 Восторгомъ дѣтскимъ, но живымъ
 Душа невинная объята.
 Она кружится передъ нимъ,
 Какъ мотылекъ въ лучахъ заката
 И вдругъ звенящій бубенъ свой



Подъемлетъ бѣлыми руками,
Вертитъ его надъ головой,
И тихо черными очами
Поводить—и, безъ словъ, уста
Хотятъ сказать улыбкой милой:
«Развеселись, мой гость унылой!
Судьба и горе—все мечта!»

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Довольно! перестань, Леила!
На мигъ веселость позабуди;
Скажи, ужель когда-нибудь
О смерти мысль не приходила
Тебя встревожить? отвѣчай.

ЛЕИЛА.

Нѣтъ! Что мнѣ хладная могила?
Я на землѣ нашла свой рай.

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Еще вопросъ: ты не грустила
О дальней родинѣ своей,
О свѣтломъ небѣ Дагестана?

ЛЕИЛА.

Къ чему? Мнѣ лучше, веселѣй
Среди нагорнаго тумана.
Вездѣ прекрасенъ Божій свѣтъ.
Отечества для сердца нѣтъ!
Оно насилья не боится:
Какъ птичка вырвется, умчится...
Повѣрь мнѣ—счастье только тамъ,
Гдѣ любятъ насъ, гдѣ вѣрятъ намъ!

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Любовь!... Но знаешь ли, какое
Блаженство на землѣ второе
Тому, кто все похоронилъ,
Чему онъ вѣрилъ, что любилъ?
Блаженство то вѣрнѣй любви,
И только хочеть слезъ да крови...
Въ немъ утѣшенье для людей,
Когда умереть другое счастье;
Въ немъ преступленій сладострастье,
Въ немъ адъ и рай души моей.
Оно при насъ всегда, безсмѣнно;

То мучить, то ласкаетъ насъ...
Нѣтъ, за единый мщеня часъ,
Клянусь, я не возьмъ бы вселенной!

ЛЕИЛА.

Ты блѣденъ?

ХАДЖИ-АБРЕКЪ.

Выслушай. Давно
Тому назадъ, имѣлъ я брата;
И онъ—такъ было суждено—
Погибъ отъ пули Бей-Булата;
Погибъ безъ славы, не въ бою,
Какъ звѣрь лѣсной—врага не зная;
Но мечь и ненависть свою
Онъ завѣщалъ мнѣ, умирая.
И я убійцу отыскалъ:
И занесенъ былъ мой кинжалъ,
Но я подумалъ: «Это ль мщенье?
Что смерть! Ужель одно мгновенье
Заплатить мнѣ за столько лѣтъ
Печали, грусти, мукъ?... О, нѣтъ!
Онъ что-нибудь да въ мирѣ любитъ:
Найду любви его предметъ,
И мой ударъ его погубить!»
Свершилось наконецъ. Пора!
Твой часъ пробилъ еще вчера.
Смотри, ужъ блещетъ лучъ заката!...
Пора! я слышу голосъ брата...
Когда сегодня въ первый разъ
Я увидалъ твой образъ нѣжный,
Тоскою горькой и мятежной
Душа какъ адомъ вся зажглась.
Но это чувство улетѣло...
Валлахъ! исполню клятву смѣло!

Какъ зимній снѣгъ въ горахъ, блѣдна,
Предъ нимъ повергнулась она
На ослабѣвшія колѣни;
Мольбы, рыданья, слезы, пени
Передъ жестокимъ излились.
«Охъ, ты ужасенъ съ этимъ взглядомъ!
Нѣтъ, не смотри такъ! отвернись!
По мнѣ текутъ холоднымъ ядомъ
Слова твои... О, Боже мой!
Ужель ты шутишь надо мной?

Отвѣтствуй! ничего не значуть
 Невинныхъ слезы предъ тобой?
 О, сжался!.. Говори—какъ плачуть
 Въ твоей родимой сторонѣ?..
 Погибнуть рано, рано мнѣ!..
 Оставь мнѣ жизнь! оставь мнѣ младость!

Ты зналъ ли, что такое радость?
 Бываль ли ты во цвѣтѣхъ лѣтъ
 Любимъ, какъ я? О, вѣрно, нѣтъ!»

Хаджи, въ молчаньи роковомъ,
 Стояль съ нахмуреннымъ челомъ.

«Въ твоихъ глазахъ ни сожалѣнья,
 Ни слезъ, жестокой, не видать...
 Ахъ!... Боже!... Ай!... дай подождать!...
 Хоть часъ одинъ... одно мгновенье!...»

Блеснула шашка. Разъ—и два...
 И покати́лась голова...
 И окровавленной рукою
 Съ земли онъ приподнялъ ее
 И острой шашки лезвіе
 Обтеръ волнистою косою.
 Потомъ, бездушное чело
 Одѣвши буркою косматой,
 Онъ вышелъ и прыгнулъ въ сѣдло.
 Послушный конь его, объятый
 Внезапно страхомъ неземнымъ,
 Храпитъ и пѣнится подъ нимъ:
 Щетиной грива, ржетъ и пышетъ,
 Грызетъ стальныя удила,
 Ни словъ, ни повода не слышитъ,
 И мчится въ горы какъ стрѣла.

Заря блѣднѣетъ; поздно, поздно,
 Сырая ночь недалека.
 Съ вершинъ Кавказа тихо, грозно
 Ползутъ, какъ змѣи, облака:
 Игру безсвязную заводятъ.
 Въ провалы душевные заходятъ,
 Задѣвъ колючіе кусты,
 Бросають жемчугъ на листы.
 Ручей катится—мутный, сѣрый;
 Въ немъ пѣна бьетъ изъ-подъ травы,
 И блещетъ сквозь туманъ пещеры,
 Какъ очи мертвой головы.
 Скорѣе, путникъ одинокой!
 Закройся буркою широкой,

Ременный поводъ натяни,
 Ременной плеткою махни.
 Тебѣ вослѣдъ еще не мчится
 Ни горный духъ, ни дикой звѣрь,
 Но если можешь ты молиться,
 То не мѣшало бы—теперь.

«Скачи, мой конь! Пугливымъ окомъ
 Зачѣмъ глядишь передъ собой?
 То камень, сглаженный потокомъ...
 То змѣи блистаетъ чешуей...
 Твоею гривой въ полѣ брани
 Стиралъ я кровь съ могучей длани;
 Въ степи глухой, въ недобрый часъ,
 Уже не разъ меня ты спасъ.
 Мы отдохнемъ въ краю родномъ;
 Твою уздечку еще болѣ
 Обвѣшу русскимъ серебромъ;
 И будешь ты въ зеленомъ полѣ...
 Давно ль, давно ль ты измѣнился,
 Скажи, товарищъ дорогой?
 Что рано пѣною покрылся?
 Что тяжело дышешь подо мной?
 Вотъ мѣсяцъ выйдетъ изъ тумана,
 Верхи деревъ осеребрить,
 И намъ откроется поляна,
 Гдѣ нашъ аулъ во мракѣ спитъ;
 Заблещутъ, издали мелькая,
 Огни джема́тскихъ пастуховъ,
 И различимъ мы, подѣзжая,
 Глухое ржанье табуновъ;
 И кони вокругъ тебя столпятся...
 Но стоитъ мнѣ лишь приподняться—
 Они въ испугѣ захрапятъ
 И всѣ шарахнутся назадъ:
 Они почуютъ издалека,
 Что мы съ тобою дѣти рока!...»

Долины ночь еще объемлетъ,
 Аулъ Джематъ спокойно дремлетъ;
 Одинъ старикъ лишь въ немъ не
 спитъ.

Одинъ, какъ памятникъ могильной,
 Недвижимъ, близъ дороги пыльной,
 На сѣромъ камнѣ онъ сидитъ.
 Его глаза на путь далекой
 Устремлены съ тоской глубокой.



«Кто этот всадник? Бережливо
Съѣзжаетъ онъ съ горы крутой;
Его товарищъ долгогройвой
Поникъ усталой головой.
Въ рукѣ, подъ буркою дорожной,

Покрылись блѣдностью кончины.
Душа такъ быстро отлетѣла,
Что мысль, которой до конца
Онъ жилъ, черты его лица
Совсѣмъ оставить не успѣла.

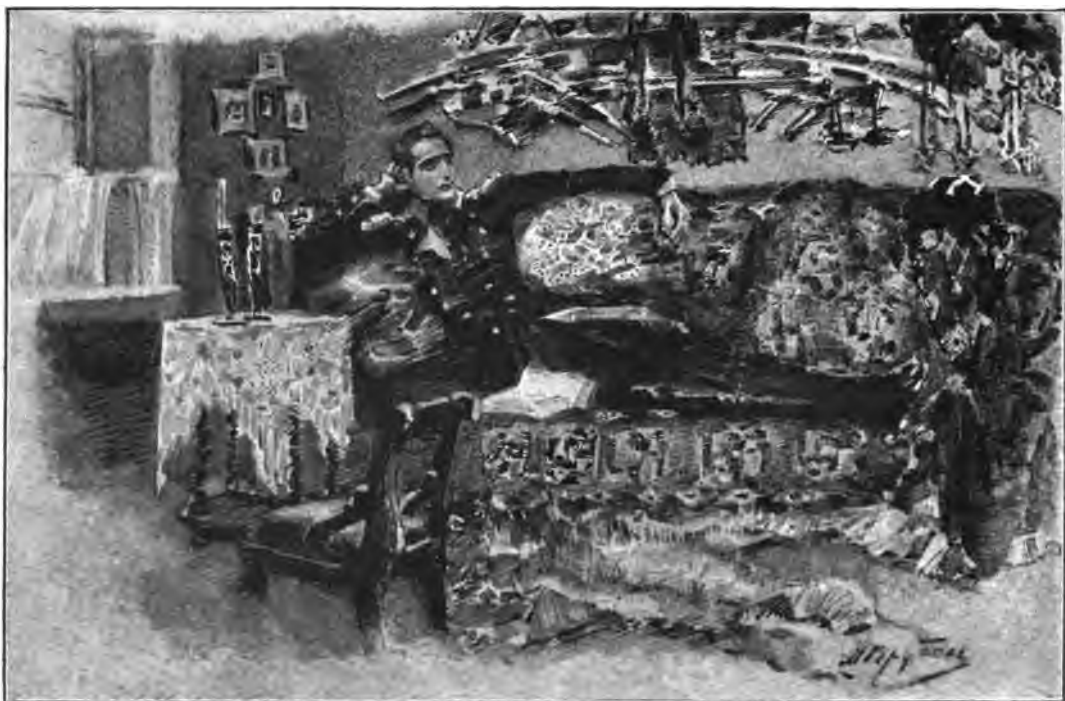


Онъ что-то держитъ осторожно,
И бережетъ, какъ свѣтъ очей.»
И думаетъ старикъ согбенный:
«Подарокъ, вѣрно, драгоценный
Отъ милой дочери моей!»

Ужъ всадникъ близокъ; подъ горою
Коня онъ вдругъ остановилъ;
Потомъ дрожащею рукою
Онъ бурку темную открылъ;
Открылъ—и даръ его кровавый
Скатился тихо на траву.
Несчастный видитъ—Боже правый!
Своей Леилы голову!...
И онъ въ безумномъ восхищеньи
Къ своимъ устамъ ее прижалъ,
Какъ будто ей передавалъ
Свое послѣднее мученье.
Всю жизнь свою въ единый стонъ,
Въ одно лобзанье вылилъ онъ.
Довольно люди и печали
Въ немъ сердце бѣдное терзали!
Какъ нить, истлѣвшая давно,
Разорвалось вдругъ оно,
И неподвижныя морщины

Молчанье мрачное храня,
Хаджи ему не подивился;
Взглянулъ на шашку, на коня,
И быстро въ горы удалился.

Промчался годъ. Въ глухой тѣснинѣ
Два трупа смрадные, въ пыли,
Блуждая, путники нашли,
И скоронили на вершинѣ.
Облиты кровью были оба,
И ярко начертала злоба
Проклятіе на ихъ челѣ,
Обнявшись крѣпко на землѣ
Они лежали, костенѣя,
Два друга съ виду—два злодѣя!
Быть можетъ, то одна мечта,
Но бѣднымъ странникамъ казалось,
Что ихъ лицо порой мѣнялось,
Что все грозили ихъ уста.
Одежда ихъ была богата;
Башлыкъ ихъ шапки покрывалъ;
Въ одномъ узнали Бей-Булата,
Никто другаго не узналъ.



ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

(1839 — 1840).

ПРЕДИСЛОВІЕ

ко 2-му изданію.

Ко всякой книгѣ предисловіе есть первая и вмѣстѣ съ тѣмъ послѣдняя вещь. Оно или служить объясненіемъ цѣли сочиненія, или оправданіемъ и отвѣтомъ на критики. Но обыкновенно читателямъ дѣла нѣтъ до нравственной цѣли и до журнальных нападокъ, и потому они не читаютъ предисловія. А жаль, что это такъ; особенно у насъ! Наша публика такъ еще молода и добродушна, что не понимаетъ басни, если въ концѣ ея не находятъ нравоученія. Она не угадываетъ шутки, не чувствуетъ ироніи; она, просто, дурно воспитана. Она еще не знаетъ, что въ порядочномъ обществѣ и въ порядочной книгѣ явная брань не можетъ имѣть мѣста; что современная образованность

изобрѣла орудіе болѣе острое, почти невидимое, и тѣмъ не менѣе смертельное, которое, подъ одеждою лести, наноситъ неотразимый и вѣрный ударъ. Наша публика похожа на провинціала, который, подслушавъ разговоръ двухъ дипломатовъ, принадлежащихъ къ враждебнымъ дворамъ, остался бы увѣренъ, что каждый изъ нихъ обманываетъ свое правительство въ пользу взаимной, нѣжнѣйшей дружбы.

Эта книга испытала на себѣ еще недавно несчастную довѣрчивость нѣкоторыхъ читателей и даже журналовъ къ буквальному значенію словъ. Иные ужасно обидѣлись, и не шутя, что имъ ставятъ въ примѣръ такого безнравственнаго челоуѣка, какъ «Герой Нашего Времени»; другіе же очень тонко замѣчали, что сочинитель нарисовалъ свой портретъ и портреты своихъ знакомыхъ... Старая и жалкая шутка! Но, видно, Русь такъ ужъ

сотворена, что все въ ней обновляется, кромѣ подобныхъ нелѣпостей. Самая волшебная изъ волшебныхъ сказокъ у насъ едва ли избѣгнетъ упрека въ покушеніи на оскорбленіе личности.

«Герой Нашего Времени», милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного человѣка: это портретъ, составленный изъ пороковъ всего нашего поколѣнія, въ полномъ ихъ развитіи. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дурень; а я вамъ скажу, что ежели вы вѣрили возможности существованія всѣхъ трагическихъ и романтическихъ злодѣевъ, отчего же вы не вѣруете въ дѣйствительность Печорина? Если вы любовались вымыслами, гораздо болѣе ужасными и уродливыми, отчего же этотъ характеръ, даже какъ вымыселъ, не находится у васъ пощады? Ужъ не оттого ли, что въ немъ больше правды, нежели бы вы того желали?

Вы скажете, что нравственность отъ этого не выигрываетъ? Извините. Довольно людей кормили сластями: у нихъ отъ этого испортился желудокъ; нужно горькія лекарства, ѣдкія истины. Но не думайте, однако, послѣ этого, чтобъ авторъ этой книги имѣлъ когда нибудь гордую мечту сдѣлаться исправителемъ людскихъ пороковъ. Боже его избави отъ такого невѣжества! Ему, просто, было весело рисовать современнаго человѣка, какимъ онъ его понимаетъ, и къ его и вашему несчастію, слишкомъ часто встрѣчалъ. Будетъ и того, что болѣзнь указана, а какъ ее излечить—это ужъ Богъ знаетъ!—[1841].

Б Э Л А.

I.

Я ѣхалъ на перекладныхъ изъ Тифлиса. Вся поклажа моей тележки состояла изъ одного небольшого чемодана, который до половины былъ набитъ путевыми

записками о Грузіи. Большая часть изъ нихъ, къ счастью для васъ, потеряна; а чемоданъ съ остальными вещами, къ счастью для меня, остался цѣль.

Ужъ солнце начинало прятаться за снѣговой хребетъ, когда я вѣхалъ въ Койшаурскую Долину. Осетинъ-извозчикъ неутомимо погонялъ лошадей, чтобъ успѣть до ночи взобраться на Койшаурскую гору, и во все горло распѣвалъ пѣсни. Славное мѣсто эта долина! Со всѣхъ сторонъ горы неприступныя; красноватыя скалы, обвѣшанныя зеленымъ плющемъ и увѣнчанныя купами чинаръ; желтые обрывы, исчерченные промоинами; а тамъ высоко, высоко, золотая бахрома снѣговъ; а внизу Арагва, обнявшись съ другой безымянной рѣчкой, шумно вырывающейся изъ чернаго, полного мглюю ущелья, тянется серебряною нитью и сверкаетъ, какъ змѣя, своею чешуею.

Подѣхавъ къ подошвѣ Койшаурской горы, мы остановились, возлѣ духана. Тутъ толпилось шумно десятка два грузинъ и горцевъ: по близости караванъ верблюдовъ остановился для ночлега. Я долженъ былъ нанять быковъ, чтобъ втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что была уже осень и гололедица—а эта гора имѣетъ около двухъ верстъ длины.

Нечего дѣлать, я нанялъ шесть быковъ и нѣсколькихъ осетинъ. Одинъ изъ нихъ взвалилъ себѣ на плечи мой чемоданъ, другіе стали помогать быкамъ почти однимъ крикомъ.

За моею тележкой четверка быковъ тащила другую; какъ ни въ чемъ не бывало, не смотря на то, что она была до верху наложена. Это обстоятельство меня удивило. За нею шель ея хозяинъ, покуривая изъ маленькой кабардинской трубочки, обдѣланной въ серебро. На немъ былъ офицерскій сюртукъ безъ эполетъ и черкесская мохнатая шапка. Онъ казался лѣтъ пятидесяти; смуглый цвѣтъ

лица его показывалъ, что оно давно знакомо съ закавказскимъ солнцемъ, и преждевременно посѣдѣвшіе усы не соотвѣтствовали его твердой походкѣ и бодрому виду. Я подошелъ къ нему и поклонился; онъ молча отвѣчалъ мнѣ на поклонъ и пустилъ огромный клубъ дыма.

— Мы съ вами попутчики, кажется?

Онъ молча опять поклонился.

— Вы, вѣрно, ѣдете въ Ставрополь?

— Такъ-съ точно... съ казенными вещами.

— Скажите, пожалуйста, отчего это вашу тяжелую тележку четыре быка тащатъ шутя, а мою, пустую, шесть скотовъ едва подвигаютъ съ помощію этихъ осетинъ?

Онъ лукаво улыбнулся и значительно взглянулъ на меня.—Вы, вѣрно, недавно на Кавказѣ?

— Съ годъ,—отвѣчалъ я.

Онъ улыбнулся вторично.

— А что жъ?

— Да такъ-съ; ужасныя бестіи эти азіаты? Вы думаете, они помогаютъ, что кричатъ? А чортъ ихъ разберетъ, что они кричатъ? Быки-то ихъ понимаютъ; запрягите хоть двадцать, такъ коли они крикнутъ по-своему, быки все ни съ мѣста... Ужасные плуты! А что съ нихъ возьмешь?... Любятъ деньги драть съ проѣзжающихъ... Избаловали мошенниковъ! Увидите, они еще съ васъ возьмутъ на водку. Ужъ я ихъ знаю; меня не проведутъ!

— А вы давно здѣсь служите?

— Да я ужъ здѣсь служилъ при Алексѣѣ Петровичѣ *), отвѣчалъ онъ, пріосанившись. Когда онъ пріѣхалъ на Линію, я былъ подпоручикомъ—прибавилъ онъ—и при немъ получилъ два чина за дѣла противъ горцевъ.

— А теперь вы?...

— Теперь считаюсь въ третьемъ линейномъ батальонѣ. А вы, смѣю спросить?...

Я сказалъ ему.

*) Ермоловъ.

Разговоръ этимъ кончился, и мы продолжали молча идти другъ подлѣ друга. На вершинѣ горы нашли мы снѣгъ. Солнце закатилось, и ночь послѣдовала за днемъ безъ промежутка, какъ это обыкновенно бываетъ на югѣ; но, благодаря отливу снѣговъ, мы легко могли различить дорогу, которая все еще шла въ гору, хотя уже не такъ круто. Я велѣлъ положить чемоданъ свой въ тележку, замѣнить быковъ лошадьми, и въ послѣдній разъ оглянулся внизъ на долину; но густой туманъ, нахлынувшій волнами изъ ущелій, покрывалъ ее совершенно, и ни единый звукъ не долеталъ уже оттуда до нашего слуха. Осетины шумно обступили меня и требовали на водку; но штабсъ-капитанъ такъ грозно на нихъ прикрикнулъ, что они вмигъ разбѣжались.—Вѣдь этакой народъ! сказалъ онъ: и хлѣба по-русски назвать не умѣетъ, а выучилъ: «офицеръ, дай на водку?» Ужъ татары по мнѣ лучше: тѣ хоть непьющіе...

До станціи оставалось еще съ версту. Кругомъ было тихо, такъ тихо, что по жужжанію комара можно было слѣдить за его полетомъ. Налѣво чернѣло глубокое ущелье; за нимъ и впереди насъ темносинія вершины горъ, изрытыя морщинами, покрытыя слоями снѣга, рисовались на блѣдномъ небосклонѣ, еще сохранявшемъ послѣдній отблескъ зари. На темномъ небѣ начинали мелькать звѣзды, и странно, мнѣ показалось, что онѣ гораздо выше, чѣмъ у насъ на сѣверѣ. По обѣимъ сторонамъ дороги торчали голые, черные камни; кой-гдѣ изъ-подъ снѣга выглядывали кустарники, но ни одинъ сухой листокъ не шевелился, и весело было слышать среди этого мертвого сна природы фырканье усталой почтовой тройки и неровное побрякиванье русскаго колокольчика.

— Завтра будетъ славная погода!—сказалъ я. Штабсъ-капитанъ не отвѣчалъ ни слова и указалъ мнѣ пальцемъ на вы-

сокую гору, поднимавшуюся прямо против насъ.

— Что жъ это?—спросилъ я.

— Гуть-Гора.

— Ну, такъ что жъ?

— Посмотрите, какъ курится.

И въ самомъ дѣлѣ, Гуть-Гора курилась: по бокамъ ея ползали легкія струйки облаковъ, а на вершинѣ лежала черная туча, такая черная, что на темномъ небѣ она казалась пятномъ.

Уже мы различали почтовую станцію, кровли окружающихъ ее саклей, и передъ нами мелькали прѣвѣтные огоньки, когда пахнулъ сырой, холодный вѣтеръ, ущелье загудѣло и пошелъ мелкій дождь. Едва успѣлъ я накинуть бурку, какъ повалилъ снѣгъ. Я съ благоговѣніемъ посмотрѣлъ на штабсъ-капитана...

— Намъ придется здѣсь ночевать,—сказалъ онъ съ досадою: въ такую метель черезъ горы не переѣдешь. Что? были ль обвалы на Крестовой?—спросилъ онъ извозчика.

— Не было, господинъ,—отвѣчалъ осетинъ-извозчикъ:—а виситъ много, много.

За неимѣніемъ комнаты для проѣзжающихъ на станціи, намъ отвели ночлегъ въ дымной саклѣ. Я пригласилъ своего спутника выпить вмѣстѣ стаканъ чаю, ибо со мной былъ чугунный чайникъ—единственная отрада моя въ путешествіяхъ по Кавказу.

Сакля была прилѣплена однимъ бокомъ къ скалѣ; три скользкія мокрая ступени вели къ ея двери. Ощупью вошелъ я и наткнулся на корову [хлѣвъ у этихъ людей замѣняетъ лакейскую]. Я не зналъ куда дѣваться: тутъ блѣютъ овцы, тамъ ворчитъ собака. Къ счастью, въ сторонѣ блеснулъ тусклый свѣтъ и помогъ мнѣ найти другое отверстіе наподобіе двери. Тутъ открылась картина, довольно занимательная: широкая сакля, которой крыша опиралась на два закопченные столба, была полна народа. По серединѣ



трещалъ огонекъ, разложенный на землѣ, и дымъ, выталкиваемый обратно вѣтромъ изъ отверстія въ крышѣ, разстился вокругъ такой густой пеленою, что я долго не могъ осмотрѣться; у огня сидѣли двѣ старухи, множество дѣтей и одинъ худошавый грузинъ, всѣ въ лохмотьяхъ. Нечего было дѣлать! мы пріютились у огня, закурили трубки, и скоро чайникъ зашипѣлъ прѣвѣтливо.

— Жалкіе люди! сказалъ я штабсъ-капитану, указывая на нашихъ грязныхъ хозяевъ, которые, молча на насъ смотрѣли въ какомъ-то остоленбѣніи.

— Преглупый народъ!—отвѣчалъ онъ. Повѣрите-ли? ничего не умѣютъ, неспособны ни къ какому образованію! Ужъ по крайней мѣрѣ наши кабардинцы, или чеченцы, хотя разбойники, голыши, зато отчаянныя башки; а у этихъ и къ оружію никакой охоты нѣтъ: порядочнаго кинжала ни на одномъ не увидишь. Ужъ подлинно осетины!

— А вы долго были въ Чечнѣ?

— Да я лѣтъ десять стоялъ тамъ въ крѣпости съ ротою, у Каменнаго Брода—знаете?

— Слыхалъ.

— Вотъ, батюшка, надоѣли намъ эти головорѣзы. Нынче, слава Богу, смиренѣ; а бывало, на сто шаговъ отойдешь за валь, ужъ гдѣ нибудь косматый дьяволъ сидитъ и караулитъ: чуть зазѣвался, того и гляди—либо арканъ на шеѣ, либо пуля въ затылкѣ. А молодцы!...

— А, чай, много съ вами бывало приключеній? сказалъ я, подстрекаемый любопытствомъ.

— Какъ не бывать! бывало...

Тутъ онъ началъ щипать лѣвый усъ, повѣсилъ голову и призадумался. Мнѣ страхъ хотѣлось вытянуть изъ него какую нибудь исторію—желаніе, собственное всѣмъ путешествующимъ и записывающимъ людямъ. Между тѣмъ чай поспѣлъ; я вытащилъ изъ чемодана два походные стаканчика, налилъ и поставилъ одинъ передъ нимъ. Онъ отхлебнулъ и сказалъ какъ будто про себя: «да, бывало!» Это восклицаніе подало мнѣ большія надежды. Я знаю, старые кавказцы любятъ поговорить, поразсказать; имъ такъ рѣдко это удается: другой лѣтъ пять стоитъ гдѣ нибудь въ захолустѣ съ ротою, и цѣлыя пять лѣтъ ему никто не скажетъ: здравствуйте [потому что фельдфебель говорить здравія желаю]. А поболтать было бы о чемъ: кругомъ народъ дикій, любопытный; каждый день опасность; случаи бывають чудные, и тутъ поневолѣ пожалѣешь о томъ, что у насъ такъ мало записываютъ.

— Не хотите ли подбавить рому? сказалъ я моему собесѣднику: у меня есть бѣлый изъ Тифлиса; теперь холодно.

— Нѣтъ-съ, благодарствуйте, не пью.

— Что такъ?

— Да такъ. Я далъ себѣ заклятье. Когда я былъ еще подпоручикомъ, разъ, знаете,

мы подгуляли между собою, а ночью сдѣлалась тревога; вотъ мы и вышли передъ фрунтъ навеселѣ; да ужъ и досталось намъ, какъ Алексѣй Петровичъ узналъ: не дай Господи, какъ онъ разсердился! чуть-чуть не отдалъ подъ судъ. Оно и точно: другой разъ цѣлый годъ живешь никого не видишь, да какъ тутъ еще водка—пропадшій человекъ!

Услышавъ это, я почти потерялъ надежду.

— Да вотъ хоть черкесы, продолжалъ онъ: какъ напьются бузы на свадьбѣ, или на похоронахъ, такъ и пошла рубка. Я разъ насилу ноги унесъ, а еще у мирнѣва князя былъ въ гостяхъ.

— Какъ же это случилось?

— Вотъ... [онъ набилъ трубку, затянулся и началъ разсказывать], вотъ изволите видѣть, я тогда стоялъ въ крѣпости за Терекомъ съ ротою—этому скоро пять лѣтъ. Разъ, осенью, пришелъ транспортъ съ провіантомъ; въ транспортѣ былъ офицеръ, молодой человекъ лѣтъ двадцати-пяти. Онъ явился ко мнѣ въ полной формѣ и объявилъ, что ему велѣно остаться у меня въ крѣпости. Онъ былъ такой тоненькій, бѣленькій; на немъ мундиръ былъ такой новенькій, что я тотчасъ догадался, что онъ на Кавказѣ у насъ недавно. «Вы, вѣрно», спросилъ я его, «переведены сюда изъ Россіи?» — Точно такъ, господинъ штабсъ-капитанъ, отвѣчалъ онъ. Я взялъ его за руку и сказалъ: «Очень радъ, очень радъ. Вамъ будетъ немножко скучно... ну, да мы съ вами будемъ жить попріятельски. Да пожалуйста, зовите меня просто Максимъ Максимычъ, и пожалуйста—къ чему эта полная форма? приходите ко мнѣ всегда въ фуражкѣ.» Ему отвели квартиру, и онъ поселился въ крѣпости.

— А какъ его звали? спросилъ я Максима Максимыча.

— Его звали... Григорьемъ Александровичемъ Печоринымъ. Славный былъ малый, смѣю васъ увѣрить; только немножко

страненъ. Вѣдь, напримѣръ, въ дождикъ, въ холодъ, цѣлый день на охотѣ; всѣ иззябнутъ, устанутъ—а ему ничего. А другой разъ сидитъ у себя въ комнатѣ, вѣтеръ пахнѣтъ, увѣряетъ, что простудился; ставнемъ стукнетъ, онъ вздрогнетъ и поблѣднѣетъ; а при мнѣ ходилъ на кабана одинъ на одинъ; бывало, по цѣлымъ часамъ слова не добьешься, за то ужъ иногда какъ начнетъ рассказывать, такъ животики надорвешь со смѣха. Да-съ, съ большими странностями, и должно быть богатый человекъ: сколько у него было разныхъ дорогихъ вещицъ!...

— А долго онъ съ вами жилъ? спросилъ я опять.

— Да съ годъ. Ну, да ужъ за то памятенъ мнѣ этотъ годъ; надѣлалъ онъ мнѣ хлопотъ, не тѣмъ будь помянутъ!... Вѣдь есть, право, такіе люди, у которыхъ на роду написано, что съ ними должны случаться разныя необыкновенныя вещи!

— Необыкновенный? воскликнулъ я съ видомъ любопытства, подливая ему чаю.

— А вотъ я вамъ расскажу. Верстъ шесть отъ крѣпости жилъ одинъ мирной князь. Сынишко его, мальчикъ лѣтъ пятнадцати, повадился къ намъ ѣздить: всякій день, бывало, то за тѣмъ, то за другимъ. И ужъ точно, избаловали мы его съ Григорьемъ Александровичемъ. А ужъ какой былъ головорѣзъ, проворный на что хочешь; шапку ли поднять на всемъ скаку, изъ ружья ли стрѣлять. Одно было въ немъ нехорошо: ужасно падохъ былъ на деньги. Разъ, для смѣха, Григорій Александровичъ обѣщался ему дать червонецъ, коли онъ ему украдетъ лучшаго козла изъ отцовскаго стада; и что жъ вы думаете? на другую же ночь притащилъ его за рога. А, бывало, мы его вздумаемъ дразнить, такъ глаза кровью и нальются, и сейчасъ за кинжалъ. «Эй, Азаматъ, не сносить тебѣ головы», говорилъ я ему: «яманъ будетъ твоя башка!»

— Разъ, пріѣзжаетъ самъ старый князь звать насъ на свадьбу: онъ отдавалъ старшую дочь замужъ, а мы были съ нимъ кунаки: такъ нельзя же, знаете, отказаться, хоть онъ и татаринъ. Отправились. Въ аулѣ множество собакъ встрѣтило насъ громкимъ лаемъ. Женщины, увидя насъ, прятались; тѣ, которыхъ мы могли разсмотрѣть въ лицо, были далеко не красавицы. «Я имѣлъ гораздо лучшее мнѣніе о черкешенкахъ», сказалъ мнѣ Григорій Александровичъ.—Погодите! отвѣчалъ я, усмѣхаясь. У меня было свое на умѣ.

— У князя въ саклѣ собралось уже множество народа. У азіятовъ, знаете, обычай всѣхъ встрѣчныхъ и поперечныхъ приглашать на свадьбу. Насъ приняли со всѣми почестями и повели въ кунацкую. Я, однако жъ, не позабылъ подмѣтить, гдѣ поставили нашихъ лошадей, знаете, для непредвидимаго случая.

— Какъ же у нихъ празднуютъ свадьбу? спросилъ я штабъ-капитана.

— Да обыкновенно. Сначала мулла прочитаетъ имъ что-то изъ корана; потомъ дарятъ молодыхъ и всѣхъ ихъ родственниковъ; ѣдятъ, пьютъ бузу, потомъ начинается джигитовка и всегда одинъ какой-нибудь оборвышъ, засаленный, на скверной, хромой лошаденкѣ, ломается, паясничаетъ, смѣшитъ честную компанію; потомъ, когда смеркнется, въ кунацкой начинается, по нашему сказать, балъ. Бѣдный старичишка бренчитъ на трехструнной... забылъ какъ по ихнему... ну, да въ родѣ нашей балалайки. Дѣвки и молодые ребята становятся въ двѣ шеренги, одна противъ другой, хлопаютъ въ ладоши и поютъ. Вотъ выходитъ одна дѣвка и одинъ мужчина на середину, и начинаютъ говорить другъ другу стихи нараспѣвъ, что попало, а остальные подхватываютъ хоромъ. Мы съ Печоринымъ сидѣли на почетномъ мѣстѣ и вотъ къ нему подошла меньшая дочь хозяина, дѣвушка лѣтъ

шестнадцати, и пропѣла ему... какъ бы сказать въ родѣ комплимента?...

— А что жъ такое она пропѣла, не помните ли?

— Да, кажется, вотъ такъ: «Стройны, дескать, наши молодые джигиты, и кафтаны на нихъ серебромъ выложены, а молодой русскій офицеръ стройнѣе ихъ, и галуны на немъ золотые. Онъ какъ тополь между ними: только не расти, не цвѣсти ему въ нашемъ саду». Печоринъ всталъ, поклонился ей, приложилъ руку ко лбу и сердцу, и просилъ меня отвѣчать ей; я хорошо знаю по-ихнему, и перевелъ его отвѣтъ.

— Когда она отъ насъ отошла, тогда я шепнулъ Григорью Александровичу: ну что, какова?—Прелестъ! отвѣчалъ онъ; а какъ ее зовутъ?—Ее зовутъ Бѣлою, отвѣчалъ я.

— И точно, она была хороша: высокая, тоненькая, глаза черные, какъ у горной серны, такъ и заглядывали къ вамъ въ душу. Печоринъ въ задумчивости не сводилъ съ нея глазъ, и она частенько изподлобья на него посматривала. Только не одинъ Печоринъ любовался хорошенькой княжной: изъ угла комнаты на нее смотрѣли другіе два глаза, неподвижные, огненные. Я сталъ вглядываться, и узналъ моего стараго знакомаго Казбича. Онъ, знаете, былъ не то, чтобъ мирной не то, чтобъ немирной. Подозрѣній на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не былъ замѣченъ. Бывало, онъ приводилъ къ намъ въ крѣпость барановъ и продавалъ дешево, только никогда не торговался: что запросить, давай, — хоть зарѣжь, не уступить. Говорили про него, что онъ любитъ таскаться за Кубань съ абреками, и, правду сказать, рожа у него была самая разбойничья; маленькій, сухой, широкоплечій... А ужъ ловокъ-то, ловокъ-то былъ, какъ бѣсъ! Бешметъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оружіе въ серебрѣ. А лошадь его славилась въ цѣлой

Кабардѣ — и точно, лучше этой лошади ничего выдумать невозможно. Недаромъ ему завидовали всѣ наѣзники, и не разъ пытались ее украсть, только не удавалось. Какъ теперь гляжу на эту лошадь: вороная какъ смоль, ноги — струнки, и глаза не хуже чѣмъ у Бѣлы; а какая сила! скачи хоть на 50 верстъ; а ужъ выѣзжена — какъ собака бѣгаетъ за хозяиномъ; голосъ даже его знала! Бывало, онъ ее никогда и не привязываетъ. Ужъ такая разбойничья лошадь!..

— Въ этотъ вечеръ Казбичъ былъ угрюмѣе, чѣмъ когда нибудь, и я замѣтилъ, что у него подъ бешметомъ надѣта кольчуга.—«Не даромъ на немъ эта кольчуга», подумалъ я: «ужъ онъ вѣрно что нибудь замышляетъ».

— Душно стало въ саклѣ, и я вышелъ на воздухъ освѣжиться. Ночь ужъ ложилась на горы, и туманъ начиналъ бродить по ущельямъ.

— Мнѣ вздумалось завернуть подъ навѣсъ, гдѣ стояли наши лошади, посмотреть, есть ли у нихъ кормъ, и притомъ осторожность никогда не мѣшаетъ; у меня же была лошадь славная, и ужъ не одинъ кабардинецъ на нее умильно поглядывалъ, приговаривая: якши тхе, чекъ якши!

— Пробираюсь вдоль забора, и вдругъ слышу голоса; одинъ голосъ я тотчасъ узналъ: это былъ повѣса Азаматъ, сынъ нашего хозяина; другой говорилъ рѣже и тише. «О чемъ они тутъ толкуютъ?» подумалъ я: «ужъ не о моей ли лошади?» Вотъ присѣлъ я у забора и сталъ прислушиваться, стараясь не пропустить ни одного слова. Иногда шумъ пѣсенъ и говоръ голосовъ, вылетая изъ сакли, заглушали любопытный для меня разговоръ.

— «Славная у тебя лошадь! говорилъ Азаматъ: если бъ я былъ хозяинъ въ домѣ и имѣлъ табунъ въ триста кобылъ, то отдалъ бы половину за твоего скакуна, Казбичъ!»

Б. С. С. С. С. С.



— А! Казбичь!—подумаль я, и вспомнил кольчугу.

— «Да», отвѣчалъ Казбичь послѣ нѣ котораго молчанія: «въ цѣлой Кабардѣ не найдешь такой. Разъ—это было за Терекѡмъ—я ѣздилъ съ абреками отбивать русскіе табуны; намъ не посчастливилось и мы разсыпались кто куда. За мной неслись четыре казака; ужъ я слышалъ за собою крики гяуровъ и передо мною былъ густой лѣсъ. Прилежъ я на сѣдло, поручилъ себя Аллаху, и въ первый разъ въ жизни оскорбилъ коня ударомъ плети. Какъ птица нырнулъ онъ между вѣтвями; острыя колючки рвали мою одежду, сухіе сучья карагача били меня по лицу. Конь мой прыгалъ черезъ пни, разрывалъ кусты грудью. Лучше было бы мнѣ его бросить у опушки и скрыться въ лѣсу пѣшкомъ, да жалъ было съ нимъ разстаться—и пророкъ вознаградилъ меня. Нѣсколько пуль провизжало надъ моей головою; я ужъ слышалъ, какъ спѣшившіеся казаки бѣжали по слѣдамъ... Вдругъ передо мною рытвина глубокая; скакунъ мой призадумался—и прыгнулъ. Заднія его копыта оборвались съ противнаго берега, и онъ повисъ на переднихъ ногахъ. Я бросилъ поводья и полетѣлъ въ оврагъ; это спасло моего коня: онъ выскочилъ. Казаки все это видѣли, только ни одинъ не спустился меня искать: они вѣрно думали, что я убится до смерти, и я слышалъ, какъ они бросились ловить моего коня. Сердце мое облилось кровью; поползъ я по густой травѣ вдоль по оврагу—смотрю: лѣсъ кончился, нѣсколько казаковъ выѣзжаютъ изъ него на поляну, и вотъ выскакиваетъ прямо къ нимъ мой Карагѣзъ; всѣ кинулись за нимъ съ крикомъ; долго, долго они за нимъ гонялись, особенно одинъ раза два чуть-чуть не накинулъ ему на шею аркана; я задрожалъ, опустилъ глаза и началъ молиться. Черезъ нѣсколько мгновеній поднимаю ихъ—и вижу, мой Карагѣзъ летитъ, раз-

вѣвая хвостъ, вольный какъ вѣтеръ: а гяуры далеко одинъ за другимъ тянутся по степи на измученныхъ коняхъ. Валлахъ! это правда, истинная правда! До поздней ночи я сидѣлъ въ своемъ оврагѣ. Вдругъ, что жъ ты думаешь, Азаматъ? во мракѣ слышу, бѣгаетъ по берегу оврага конь, фыркаетъ, ржетъ и бьетъ копытами о землю; я узналъ голосъ моего Карагѣза, это былъ онъ, мой товарищъ!... Съ тѣхъ поръ мы не разлучались.»

— И слышно было, какъ онъ трепалъ рукою по гладкой шеѣ своего скакуна, давая ему разныя нѣжныя названья.

— «Если бъ у меня былъ табунъ въ тысячу кобылъ, сказалъ Азаматъ, то отдалъ бы тебѣ его весь за твоего Карагѣза.»

— «Йокъ, не хочу,» отвѣчалъ равнодушно Казбичъ.

— «Послушай, Казбичъ, говорилъ, ласкаясь къ нему Азаматъ:—ты добрый человекъ, ты храбрый джигитъ, а мой отецъ боится русскихъ и не пускаетъ меня въ горы; отдай мнѣ свою лошадь, и я сдѣлаю все, что ты хочешь; украду для тебя у отца лучшую его винтовку, или шашку, что только пожелаешь—а шашка его настоящая гурда: приложи лезвеемъ къ рукѣ, сама въ тѣло вопьется; а кольчуга такая, какъ твоя, ни почемъ.»

— Казбичъ молчалъ.

— «Въ первый разъ, какъ я увидѣлъ твоего коня, продолжалъ Азаматъ, когда онъ подъ тобой крутился и прыгалъ раздувая ноздри, и кремни брызгами летѣли изъ-подъ копытъ его, въ моей душѣ сдѣлалось что-то непонятное, и съ тѣхъ поръ все мнѣ опостылило: на лучшихъ скакуновъ моего отца смотрѣлъ я съ презрѣніемъ, стыдно было мнѣ на нихъ показаться, и тоска овладѣла мной; и, тоскуя, просиживалъ я на утѣсѣ цѣлые дни, и ежеминутно мыслямъ моимъ являлся во роной скакунъ твой съ своей стройной поступью, съ своимъ гладкимъ, прямымъ,

какъ стрѣла, хребтомъ; онъ смотрѣлъ мнѣ въ глаза своими бойкими глазами, какъ будто хотѣлъ слово вымолвить. Я умру, Казбичъ, если ты мнѣ не продашь его!» сказалъ Азаматъ дрожащимъ голосомъ.

— Мнѣ послышалось, что онъ заплакалъ; а надо вамъ сказать, что Азаматъ былъ преупрямый мальчишка, и ничѣмъ, бывало, у него слезъ не выбьешь, даже когда онъ былъ и помоложе.

— Въ отвѣтъ на его слезы послышалось что-то въ родѣ смѣха.

— «Послушай, сказалъ твердымъ голосомъ Азаматъ: видишь, я на все рѣ-

пойду съ нею мимо въ сосѣдній аулъ— и она твоя. Неужели не стоитъ Бѣла твоего скакуна?»

— Долго, долго молчалъ Казбичъ; наконецъ, вмѣсто отвѣта, онъ затунилъ старинную пѣсню вполголоса:

Много красавицъ въ аулахъ у насъ,
Звѣзды сіяютъ во мракѣ ихъ глазъ.
Сладко любить ихъ—завидная доля;
Но веселѣй молодецкая воля.
Золото купить четыре жены,
Конь же лихой не имѣетъ цѣны:
Онъ и отъ вихря въ степи не отстанетъ,
Онъ не измѣнитъ, онъ не обманетъ *).

Напрасно упрашивалъ его Азаматъ согласиться, и плакалъ, и лѣстилъ ему, и клялся; наконецъ Казбичъ нетерпѣливо прервалъ его:

— «Поди прочь, безумный мальчишка! Гдѣ тебѣ ѣздить на моемъ конѣ? На первыхъ трехъ шагахъ онъ тебя сброситъ, и ты разобьешь себѣ затылокъ объ камни».

— «Меня!» крикнулъ Азаматъ въ бѣшенствѣ, и желѣзо дѣтскаго кинжала зазвенѣло объ кольчугу. Сильная рука оттолкнула его прочь и онъ ударился объ плетень такъ, что плетень зашатался. «Будетъ потѣха!» подумалъ я, кинулся въ конюшню, взнуздаль лошадей нашихъ и вывелъ ихъ на задній дворъ. Черезъ двѣ минуты ужъ въ саклѣ былъ ужасный

гвалтъ. Вотъ что случилось: Азаматъ вбѣжалъ туда въ разорванномъ бешметѣ го-

шаюсь. Хочешь, я украду для тебя мою сестру? Какъ она пляшетъ! какъ поетъ! а вышиваетъ золотомъ—чудо! не бывало такой жены и у турецкаго падишаха... Хочешь? Дождись меня завтра ночью, тамъ въ ущельѣ, гдѣ бѣжитъ потокъ: я

*) Я прошу прощенія у читателей въ томъ, что переложилъ въ стихи пѣсню Казбича, переданную мнѣ, разумѣется, прозой; но привычка— вторая натура.



вора, что Казбичъ его хотѣлъ зарѣзать. Всѣ вскочили, схватились за ружья—и, пошла потѣха! Крикъ, шумъ, выстрѣлы; только Казбичъ ужъ былъ верхомъ и вертѣлся среди толпы по улицѣ, какъ бѣсъ, отмахиваясь шашкой. «Плохое дѣло—въ чужомъ пиру похмѣлье», сказалъ я Григорью Александровичу, поймавъ его за руку: «не лучше ли намъ поскорѣй убраться?»

— Да погодите, чѣмъ кончится.

— Да ужъ, вѣрно, кончится худо; у этихъ азіатовъ все такъ: натянулись бузы—и пошла рѣзня!—Мы сѣли верхомъ и ускакали домой.

— А что Казбичъ? спросилъ я нетерпѣливо у штабсъ-капитана.

— Да что этому народу дѣлается! отвѣчалъ онъ, допивая стаканъ чая—вѣдь ускользнулъ!

— И не раненъ? спросилъ я.

— А Богъ его знаетъ! Живущи разбойники! Видаль я-съ иныхъ въ дѣлѣ, на примѣръ: вѣдь весь исколотъ, какъ рѣшето, штыками, а все махаетъ шашкой.—Штабсъ-капитанъ послѣ нѣкотораго молчанія продолжалъ, топнувъ ногою о землю:

— Никогда себѣ не прощу одного: чортъ меня дернулъ, пріѣхавъ въ крѣпость, пересказать Григорью Александровичу все, что я слышалъ, сидя за заборомъ; онъ посмѣялся—такой хитрый!—а самъ задумалъ кое-что.

— А что такое? Разскажите пожалуйста.

— Ну, ужъ нѣчего дѣлать! началъ разсказывать, такъ надо продолжать.

— Дня черезъ четыре пріѣзжаетъ Азаматъ въ крѣпость. По обыкновенію, онъ зашелъ къ Григорью Александровичу, который его всегда кормилъ лакомствами. Я былъ тутъ. Зашелъ разговоръ о лошадяхъ, и Печоринъ началъ расхваливать лошадь Казбича; ужъ такая-то она рѣзвая, красивая, словно серна—ну, просто, по его словамъ, этакой и въ цѣломъ мірѣ нѣтъ.

— Засверкали глазенки у татарченка, а Печоринъ будто не замѣчаетъ; я заго-

ворю о другомъ, а онъ, смотришь, тотчасъ собьетъ разговоръ на лошадь Казбича. Эта исторія продолжалась всякій разъ, какъ пріѣзжалъ Азаматъ. Недѣли три спустя, сталъ я замѣчать, что Азаматъ блѣднѣетъ и сохнетъ, какъ бываетъ отъ любви въ романахъ-съ. Чтѣ за диво?...

— Вотъ видите, я ужъ послѣ узналъ всю эту штуку: Григорій Александровичъ до того его задразнилъ, что хотъ въ воду. Разъ, онъ ему и скажи: «Вижу, Азаматъ, что тебѣ больно понравилась эта лошадь, а не видать тебѣ ея, какъ своего затылка! Ну, скажи, что бы ты далъ тому, кто тебѣ ее подарилъ бы?...»

— Все, что онъ захочетъ, отвѣчалъ Азаматъ.

— Въ такомъ случаѣ я тебѣ ее достану, только съ условіемъ... Поклянись, что ты его исполнишь...

— Клянусь... Клянись и ты!

— Хорошо! Клянусь, ты будешь владѣть конемъ; только за него ты долженъ отдать мнѣ сестру Бѣлу: Карагѣзъ будетъ ея калымомъ. Надѣюсь, что торгъ для тебя выгоденъ.

Азаматъ молчалъ.

— Не хочешь? Ну, какъ хочешь! Я думалъ, что ты мужчина, а ты еще ребенокъ: рано тебѣ ѣздить верхомъ...

Азаматъ вспыхнулъ.

— А мой отецъ? сказалъ онъ.

— Развѣ онъ никогда не уѣзжаетъ?

— Правда...

— Согласенъ?...

— Согласенъ, прошепталъ Азаматъ, блѣдный какъ смерть.—Когда же?

— Въ первый разъ, какъ Казбичъ пріѣдетъ сюда; онъ обѣщался пригнать десятокъ барановъ; остальное—мое дѣло. Смотри же, Азаматъ!

— Вотъ они и сладили это дѣло... по правдѣ сказать, нехорошее дѣло! Я послѣ говорилъ это Печорину, да только онъ мнѣ отвѣчалъ, что дикая черкешенка должна быть счастлива, имѣя такого милаго мужа, какъ онъ, потому что, по

ихнему, онъ все-таки ея мужъ, а что Казбичъ — разбойникъ, котораго надо было наказать. Сами посудите, что жъ я могъ отвѣчать противъ этого?... Но въ то время я ничего не зналъ объ ихъ разговорѣ. Вотъ, разъ пріѣхалъ Казбичъ и спрашиваетъ, не нужно ли барановъ и меда; я велѣлъ ему привести на другой день. «Азаматъ!» сказалъ Григорій Александровичъ, «завтра Карагѣзъ въ моихъ рукахъ; если нынче ночью Бѣла не будетъ здѣсь, то не видать тебѣ коня...»

— Хорошо! сказалъ Азаматъ и поскакалъ въ аулъ. Вечеромъ Григорій Александровичъ вооружился и выѣхалъ изъ крѣпости; какъ они сладили это дѣло — не знаю, только ночью они оба возвратились, и часовой видѣлъ, что поперегъ сѣдла Азамата лежала женщина, у которой руки и ноги были связаны, а голова окутана чадрой.

— А лошадь? спросилъ я у штабсъ-капитана.

— Сейчасъ, сейчасъ. На другой день утромъ рано пріѣхалъ Казбичъ и пригналъ десятокъ барановъ на продажу. Привязавъ лошадь у забора, онъ вошелъ ко мнѣ; я поподчивалъ его чаемъ, потому что хотя разбойникъ онъ, а все-таки былъ моимъ кунакомъ *).

— Стали мы болтать о томъ, о семъ... Вдругъ, смотрю, Казбичъ вздрогнулъ, перемѣнился въ лицѣ — и къ окну; но окно къ несчастію, выходило на задворье. — «Что съ тобой?» спросилъ я.

— Моя лошадь!... лошадь! сказалъ онъ, весь дрожа.

Точно, я услышалъ топотъ копытъ: — это, вѣрно, какой-нибудь казакъ пріѣхалъ...

— Нѣтъ! Урусъ-яманъ, яманъ! заревѣлъ онъ и опрометью бросился вонъ, какъ дикій барсъ. Въ два прыжка онъ былъ ужъ на дворѣ; у воротъ крѣпости часо-

вой загородилъ ему путь ружьемъ; онъ перескочилъ черезъ ружье и кинулся бѣжать по дорогѣ... Вдали видалась пыль — Азаматъ скакалъ на лихомъ Карагѣзѣ; на-бѣгу Казбичъ выхватилъ изъ чехла ружье и выстрѣлилъ. Съ минуту онъ остался неподвиженъ, пока не убѣдился, что далъ промахъ; потомъ завизжалъ, ударилъ ружье о камень, разбилъ его въ дребезги, повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ... Вотъ кругомъ него собрался народъ изъ крѣпости — онъ никого не замѣчалъ; постояли, потолковали, и пошли назадъ; я велѣлъ возлѣ него положить деньги за барановъ — онъ ихъ не тронулъ, лежалъ себѣ ничкомъ, какъ мертвый. Повѣрите ли, онъ такъ пролежалъ до поздней ночи и цѣлую ночь?... Только на другое утро пришелъ въ крѣпость и сталъ просить, чтобъ ему назвали похитителя. Часовой, который, видѣлъ, какъ Азаматъ отвязалъ коня и ускакалъ на немъ, не почелъ за нужное скрывать. При этомъ имени глаза Казбича засверкали, и онъ отправился въ аулъ, гдѣ жилъ отецъ Азамата.

— Что жъ отецъ?

— Да въ томъ-то и штука, что его Казбичъ не нашелъ: онъ куда-то уѣзжалъ дней на шесть, а то удалось ли бы Азамату увезти сестру?

— А когда отецъ возвратился, то ни дочери, ни сына не было. Такой хитрецъ: вѣдь смекнулъ, что не сносить ему головы, если бъ онъ попался. Такъ съ тѣхъ поръ и пропалъ: вѣрно, присталъ къ какой-нибудь шайкѣ абрековъ, да и сложилъ буйную голову за Тереккомъ, или за Кубанью; туда и дорога!...

— Признаюсь, и на мою долю порядочно досталось. Какъ я только провѣдалъ, что черкешенка у Григорія Александровича, то надѣлъ эполеты, шпагу и пошелъ къ нему.

— Онъ лежалъ въ первой комнатѣ на постели, подложивъ одну руку подъ за-

*) Кунакъ значитъ пріятель.

тылокъ; а въ другой держа погасшую трубку; дверь во вторую комнату была заперта на замокъ, и ключа въ замкѣ не было. Я все это тотчасъ замѣтилъ... Я началъ кашлять и постукивать каблуками о порогъ—только онъ притворился, будто не слышитъ.

— Господинъ прапорщикъ! сказалъ я какъ можно строже:—развѣ вы не видите, что я къ вамъ пришелъ?

— Ахъ, здравствуйте, Максимъ Максимычъ! Не хотите ли трубку? отвѣчалъ онъ, не приподнимаясь.

— Извините, я не Максимъ Максимычъ: я штабсъ-капитанъ.

— Все равно. Не хотите ли чаю? Если бъ вы знали, какая мучить меня работа!

— Я все знаю, отвѣчалъ я, подошедъ къ кровати.

— Тѣмъ лучше: я не въ духѣ рассказывать.

— Господинъ прапорщикъ, вы сдѣлали проступокъ, за который и я могу отвѣчать...

— И, полноте! что жъ за бѣда? Вѣдь у насъ давно все пополамъ.

— Что за шутки? Пожалуйста вашу шпагу!

— Митька, шпагу!...

Митька принесъ шпагу. Исполнивъ долгъ свой, сѣлъ я къ нему на кровать и сказалъ: Послушай, Григорій Александровичъ; признайся, что нехорошо.

— Что нехорошо.

— Да то, что ты увезъ Бэлу... Ужъ эта мнѣ бестія Азаматъ!... Ну, признайся, сказалъ я ему.

— Да когда она мнѣ нравится?...

— Ну, что прикажете отвѣчать на это... Я сталъ въ тупикъ. Однако жъ, послѣ нѣкотораго молчанія, я ему сказалъ, что если отецъ станетъ ее требовать, то надо будетъ отдать.

— Вовсе не надо!

— Да онъ узнаетъ, что она здѣсь.

— А какъ онъ узнаетъ?

— Я опять сталъ въ тупикъ. — «Послушайте, Максимъ Максимычъ!» сказалъ Печоринъ, приподнявшись: «вѣдь вы добрый человекъ—а если отдадимъ дочь этому дикарю, онъ ее зарѣжетъ, или продастъ. Дѣло сдѣлано, не надо только охотою портить, оставьте ее у меня, а у себя мою шпагу...»

— Да покажите мнѣ ее, сказалъ я.

— Она за этой дверью; только я самъ нынче напрасно хотѣлъ ее видѣть: сидитъ въ углу, закутавшись въ покрывало, не говорить и не смотреть; пуглива, какъ дикая серна. Я нанялъ нашу духанщицу: она знаетъ по-татарски, будетъ ходить за нею и приучить ее мысли, что она моя; потому что она никому не будетъ принадлежать кромѣ меня!—прибавилъ онъ, ударивъ кулакомъ по столу.—Я и въ этомъ согласился... Что прикажете дѣлать? Есть люди, съ которыми непременно должно соглашаться.

— А что? спросилъ я у Максима Максимыча: въ самомъ ли дѣлѣ онъ приучилъ ее къ себѣ, или она зачала въ неволѣ, съ тоски по родинѣ?

— Помилуйте, отчего же съ тоски по родинѣ? Изъ крѣпости видны были тѣ же горы, что изъ аула—а этимъ дикарямъ больше ничего не надобно. Да притомъ Григорій Александровичъ каждый день дарилъ ей что нибудь; первые дни она, молча, гордо отталкивала подарки, которые тогда доставались духанщицѣ и возбуждали ея краснорѣчіе. Ахъ, подарки! чего не сдѣлаетъ женщина за цвѣтную тряпичку!... Ну, да это въ сторону... Долго бился съ нею Григорій Александровичъ, между тѣмъ учился по-татарски, и она начинала понимать по-нашему. Мало по малу, она приучилась на него смотрѣть, сначала изподлобья, искоса, и все грустила, напѣвала свои пѣсни въ полголоса, такъ что, бывало, и мнѣ становилось



грустно, когда слушалъ ее изъ сосѣдней комнаты. Никогда не забуду одной сцены: шелъ я мимо и заглянулъ въ окно; Бѣла сидѣла на лежанкѣ, повѣсивъ голову на грудь, а Григорій Александровичъ стоялъ передъ нею. «Послушай, моя пери», говорилъ онъ: «вѣдь ты знаешь, что рано или поздно ты должна быть моею—отчего

призадумалась, не спуская съ него черныхъ глазъ своихъ; потомъ улыбнулась ласково и кивнула головой въ знакъ согласія. Онъ взялъ ее руку и сталъ ее уговаривать, чтобъ она его поцѣловала; она слабо защищалась и только повторяла: «поджалуста, поджалуста, не нада, не нада». Онъ сталъ настаивать; она

же только мучишь меня? Развѣ ты любишь какого-нибудь чеченца? Если такъ, я тебя сейчасъ отпущу домой.» — Она вздрогнула едва примѣтно и покачала головой. — «Или», продолжалъ онъ, «я тебѣ совершенно ненавистенъ?» — Она вздохнула. — «Или твоя вѣра запрещаетъ полюбить меня?» — Она поблѣднѣла и молчала. — «Повѣрь мнѣ, Аллахъ для всѣхъ племенъ одинъ и тотъ же, и если онъ мнѣ позволяетъ любить тебя, отчего же запретить тебѣ платить мнѣ взаимностью?» — Она посмотрѣла ему пристально въ лицо, какъ будто пораженная этой новой мыслью; въ глазахъ ея выразились недовѣрчивость и желаніе убѣдиться. Что за глаза! они такъ и сверкали, будто два угля.

— Послушай, милая, добрая Бѣла! продолжалъ Печоринъ: ты видишь, какъ я тебя люблю; я все готовъ отдать, чтобы тебя развеселить! я хочу, чтобъ ты была счастлива; а если ты снова будешь грустить, то я умру. Скажи, ты будешь веселѣй? — Она

задрожала, заплакала. — «Я твоя плѣнница», говорила она: «твоя раба; конечно, ты можешь меня принудить!» — и опять слезы.

Григорій Александровичъ ударилъ себя въ лобъ кулакомъ и выскочилъ въ другую комнату. Я зашелъ къ нему; онъ сложа руки прохаживался угрюмый взадъ и впередъ. «Что батюшка?» сказалъ я ему. — «Дьяволъ, а не женщина!» отвѣчалъ онъ: «только я вамъ даю мое честное слово, что она будетъ моя...» Я покачалъ головою. «Хотите пари?» сказалъ онъ: «черезъ недѣлю!» — Извольте! — Мы ударили по рукамъ и разошлись.

На другой день онъ тотчасъ отправилъ нарочнаго въ Кизляръ за разными покупками; привезено было множество разныхъ персидскихъ матерій, всѣхъ не перечести!

— Какъ вы думаете, Максимъ Максимычъ, сказалъ онъ мнѣ, показывая подарки, — устоитъ ли азіятская красавица противъ такой батареи? — Вы черкешенокъ не знаете, отвѣчалъ я; это совсѣмъ не то, что грузинки или закавказскія татарки — совсѣмъ не то. У нихъ свои правила; онѣ иначе воспитаны. — Григорій Александровичъ улыбнулся и сталъ насвистывать маршъ.

А вѣдь вышло, что я былъ правъ: подарки подѣйствовали только въ половину: она стала ласковѣе, довѣрчивѣе — да и только; такъ что онъ рѣшился на послѣднее средство. Разъ утромъ онъ велѣлъ осѣдлать лошадь, одѣлся по-черкески, вооружился и пошелъ къ ней. «Бѣла!» сказалъ онъ, «ты знаешь, какъ я тебя люблю. Я рѣшился тебя увести, думая, что ты, когда узнаешь меня, полюбишь; я ошибся: — прощай! оставайся полною хозяйкой всего, что я имѣю; если хочешь, вернись къ отцу — ты свободна. Я виновать передъ тобой и долженъ наказать себя. Прощай, я ѣду — куда? почему я знаю! Авось, недолго буду гоняться за

пулей или ударомъ шашки; тогда вспомни обо мнѣ и прости меня.» — Онъ отвернулся и протянулъ ей руку на прощанье. Она не взяла руки, молчала. Только стоя за дверью, я могъ въ щель разсмотрѣть ея лицо; и мнѣ стало жаль — такая смертельная блѣдность покрыла это милое личико! Не слыша отвѣта, Печоринъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ къ двери; онъ дрожалъ — и сказать ли вамъ? я думаю, онъ въ состояніи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чемъ говорилъ шутя. Таковъ ужъ былъ человекъ, Богъ его знаетъ. Только едва онъ коснулся двери, какъ она вскочила, зарыдала, бросилась ему на шею. — Повѣрите ли? я стоя за дверью, также заплакалъ, то есть, знаете, не то, чтобъ заплакалъ, а такъ — глупость!...

Штабсъ-капитанъ замолчалъ.

— Да, признаюсь, сказалъ онъ потомъ, теребя усы: мнѣ стало досадно, что никогда ни одна женщина меня такъ не любила.

— И продолжительно было ихъ счастье? спросилъ я.

— Да, она намъ призналась, что съ того дня, какъ увидѣла Печорина, онъ часто ей грезился во снѣ, и что ни одинъ мужчина никогда не производилъ на нее такого впечатлѣнія. — Да, они были счастливы!

— Какъ это скучно! воскликнулъ я невольно. Въ самомъ дѣлѣ, я ожидалъ трагической развязки, и вдругъ такъ неожиданно обмануть мои надежды!... «Да неужели,» продолжалъ я, «отецъ не догадался, что она у васъ въ крѣпости?»

— То есть, кажется, онъ подозревалъ. Спустя нѣсколько дней, узнали мы, что старикъ убитъ. Вотъ какъ это случилось...

Вниманіе мое пробудилось снова.

— Надо вамъ сказать, что Казбичъ вообразилъ, будто Азаматъ съ согласія отпая укралъ у него лошадь, по крайней мѣрѣ

я такъ полагаю. Вотъ онъ разъ и дожидался у дороги, версты три за ауломъ; старикъ возвращался изъ напрасныхъ поисковъ за дочерью; уздени его отстали—это было въ сумерки—онъ ѣхалъ задумчиво шагомъ, какъ вдругъ Казбичъ, будто кошка, нырнулъ изъ-за куста, прыгъ сзади его на лошадь, ударомъ кинжала свалилъ его на земь, схватилъ поводья — и былъ таковъ; нѣкоторые уздени все это видѣли съ пригорка; они бросились догонять, только не догнали.

— Онъ вознаградилъ себя за потерю коня и отмстилъ, сказалъ я, чтобъ вызвать мнѣніе моего собесѣдника.

— Конечно, по-ихнему, сказалъ штабсъ-капитанъ,—онъ былъ совершенно правъ.

Меня невольно поразила способность русскаго человѣка примѣняться къ обычаямъ тѣхъ народовъ, среди которыхъ ему случается жить. Не знаю, достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываетъ неимовѣрную его гибкость и присутствіе этого яснаго, здраваго смысла, который прощаетъ зло вездѣ, гдѣ видитъ его необходимость, или невозможность его уничтоженія.

Между тѣмъ чай былъ выпить; давно запряженные кони продрогли на снѣгу; мѣсяцъ блѣднѣлъ на западѣ и готовъ ужъ былъ погрузиться въ черныя свои тучи, висящія на дальнихъ вершинахъ, какъ клочки разодраннаго занавѣса. Мы вышли изъ сакли. Вопреки предсказанію моего спутника, погода прояснилась и обѣщала намъ тихое утро; хороводы звѣздъ чудными узорами сплетались на далекомъ небосклонѣ и одна за другою гасли по мѣрѣ того, какъ блѣдноватый отблескъ востока разливался по темно-лиловому своду, озаряя постепенно крутя отлогости горъ, покрытыя дѣвственными снѣгами. Направо и налѣво чернѣли мрачныя, таинственныя пропасти; и туманы, клубясь и извиваясь какъ змѣи, сползали туда по морщинамъ сосѣднихъ скалъ,

будто чувствуя и пугаясь приближенія дня.

Тихо было все на небѣ и на землѣ, какъ въ сердцѣ человѣка въ минуту утренней молитвы; только изрѣдка набѣгаль прохладный вѣтеръ съ востока, приподнимая гриву лошадей, покрытую инеемъ. Мы тронулись въ путь; съ трудомъ пять худыхъ клячъ тащили наши повозки по извилистой дорогѣ на Гудъ-гору. Мы шли пѣшкомъ сзади, подкладывая камни подъ колеса, когда лошади выбивались изъ силъ; казалось, дорога вела на небо, потому что, сколько глазъ могъ разглядѣть, она все поднималась и наконецъ пропадала въ облакѣ, которое еще съ вечера отдыхало на вершинѣ Гудъ-горы, какъ коршунъ, ожидающій добычу; снѣгъ хрустѣлъ подъ ногами нашими; воздухъ становился такъ рѣдокъ, что было больно дышать: кровь поминутно прилиwała въ голову, но со всѣмъ тѣмъ какое-то отрадное чувство распространилось по всѣмъ моимъ жиламъ, и мнѣ было какъ-то весело, что я такъ высоко надъ міромъ—чувство дѣтское, не спорю, но, удаляясь отъ условій общества и приближаясь къ природѣ, мы невольно становимся дѣтьми: все пріобрѣтенное отпадаетъ отъ души, и она дѣлается вновь такою, какой была нѣкогда и вѣрно будетъ когда нибудь опять. Тотъ, кому случалось, какъ мнѣ, бродить по горамъ пустыннымъ и долго-долго всматриваться въ ихъ причудливые образы, и жадно глотать животворящій воздухъ, разлитый въ ихъ ущельяхъ, тотъ, конечно, пойметъ мое желаніе передать, рассказать, нарисовать эти волшебныя картины. Вотъ, наконецъ, мы взобрались на Гудъ-гору, остановились и оглянулись: на ней висѣло сѣрое облако, и его холодное дыханіе грозило близкой бурей; но на востокѣ все было такъ ясно и золотисто, что мы, то есть я и штабсъ-капитанъ, совершенно о немъ забыли... Да и штабсъ-капитанъ: въ сердцахъ простыхъ

чувство красоты и величія природы сильнѣе, живѣе во стократъ, чѣмъ въ насъ, восторженныхъ раскащикахъ на словахъ и на бумагѣ.

— Вы, я думаю, привыкли къ этимъ великолѣпнымъ картинамъ? сказалъ я ему.

— Да-съ, и къ свисту пули можно привыкнуть, то есть привыкнуть скрывать невольное біеніе сердца.

— Я слышалъ напротивъ, что для иныхъ старыхъ воиновъ эта музыка даже пріятна?

— Разумѣется, если хотите, оно и пріятно; только все же потому, что сердце бьется сильнѣе. Посмотрите, прибавилъ онъ, указывая на востокъ: что за край!

И точно, такую панораму врядъ ли гдѣ еще удастся мнѣ видѣть: подъ нами лежала Койшаурская долина, пересѣкаемая Арагвой и другой рѣчкой, какъ двумя серебряными нитями; голубоватый туманъ скользилъ по ней, убѣгая въ сосѣднія тѣснины отъ теплыхъ лучей утра; направо и налево гребни горъ, одинъ выше другого, пересѣкались, тянулись, покрытые снѣгами, кустарникомъ; вдали тѣ же горы, но хоть бы двѣ скалы похожія одна на другую—и всѣ эти снѣга горѣли румянымъ блескомъ такъ весело, такъ ярко, что кажется, тутъ бы и остаться жить навѣки; солнце чуть показалось изъ за темносиной горы, которую только привычный глазъ могъ бы различить отъ грозовой тучи; но надъ солнцемъ была кровавая полоса, на которую мой товарищъ обратилъ особенное вниманіе. «Я говорилъ вамъ», воскликнулъ онъ, «что нынче будетъ погода; надо торопиться, а то, пожалуй, она застанетъ насъ на Крестовой. Трогайтесь!» закричалъ онъ ямщикамъ.

Подложили цѣпи подъ колеса вмѣсто тормазовъ, чтобъ они не раскатывались; взяли лошадей подъ-уздцы и начали спускаться; направо былъ утесъ, налево пропасть такая, что цѣлая деревушка осе-

тинъ, живущихъ на днѣ ея, казалась гнѣздомъ ласточки; я содрогнулся, подумавъ, что часто здѣсь, въ глухую ночь, по этой дорогѣ, гдѣ двѣ повозки не могутъ разъѣхаться, какойнибудь курьеръ разъ десять въ годъ проѣзжаетъ, не вылезая изъ своего тряскаго экипажа. Одинъ изъ нашихъ извозчиковъ былъ русскій ярославскій мужикъ, другой осетинъ. Осетинъ велъ коренную подъ-уздцы со всѣми возможными предосторожностями, отпрягши заранѣе уносныхъ—а нашъ безпечный русакъ даже не слѣзъ съ облучка! Когда я ему замѣтилъ, что онъ могъ бы побезпокоиться въ пользу хотя моего чемодана, за которымъ я вовсе не желалъ лазить въ эту бездну, онъ отвѣчалъ мнѣ: «И, баринъ! Богъ дастъ не хуже ихъ дождемъ; вѣдь намъ не впервые!»—и онъ былъ правъ: мы точно могли бы не доѣхать, однако-жъ все-таки доѣхали! И если бъ всѣ люди побольше разсуждали, то убѣдились бы, что жизнь не стоитъ того, чтобъ объ ней такъ много заботиться...

Но, можетъ быть, вы хотите знать окончаніе исторіи Бэлы?—Во-первыхъ, я пишу не повѣсть, а путевыя записки: слѣдовательно, не могу заставить штабсъ-капитана разсказывать прежде, нежели онъ началъ разсказывать въ самомъ дѣлѣ. Итакъ, погодите, или, если хотите, переверните нѣсколько страницъ, только я вамъ этого не совѣтую, потому что переѣздъ черезъ Крестовую гору [или, какъ называетъ ее ученый Гамба, le Mont St.-Christophe] достоинъ вашего любопытства. Итакъ, мы спускались съ Гудъ-горы въ Чертову долину... Вотъ романтическое названіе! Вы уже видите гнѣздо злаго духа между неприступными утесами—не тутъ-то было: названіе Чертовой долины происходитъ отъ слова «черта», а не «чортъ»—ибо здѣсь когда-то была граница Грузин. Эта долина была завалена снѣговыми сугробами, напоминавшими довольно живо

Саратовъ, Тамбовъ и прочія милыя мѣста нашего отечества.

«Вотъ и Крестовая!» сказалъ мнѣ штабсъ-капитанъ, когда мы съѣхали въ Чертову долину, указывая на холмъ, покрытый пеленою снѣга; на его вершинѣ чернѣлся каменный крестъ, и мимо его вела едва-едва замѣтная дорога, по которой проѣзжаютъ только тогда, когда боковая завалена снѣгомъ; наши извошники объявили, что обваловъ еще не было, и сберегая лошадей, повезли насъ кругомъ. При поворотѣ встрѣтили мы человѣкъ пять осетинъ; они предложили намъ свои услуги и, уцепясь за колеса, съ крикомъ принялись тащить и поддерживать нашу тележку. И точно, дорога опасная: направо висѣли надъ нашими головами груды снѣга, готовые, кажется, при первомъ порывѣ вѣтра оборваться въ ущелье; узкая дорога частію была покрыта снѣгомъ, который въ иныхъ мѣстахъ проваливался подъ ногами, въ другихъ превращался въ ледъ отъ дѣйствія солнечныхъ лучей и ночныхъ морозовъ, такъ что съ трудомъ мы сами пробирались; лошади падали; — налѣво зіяла глубокая расщелина, гдѣ катился потокъ, то скрываясь подъ ледяной корою, то съ пѣною прыгая по чернымъ камнямъ. Въ два часа едва могли мы обогнуть Крестовую гору—двѣ версты въ два часа! Между тѣмъ тучи спустились, повалилъ градъ, снѣгъ; вѣтеръ, врываясь въ ущелья, ревѣлъ, свисталъ какъ Соловей-Разбойникъ, и скоро каменный крестъ скрылся въ туманѣ, котораго волны, одна другой гуще и тѣснѣе, набѣгали съ востока... Кстати, объ этомъ крестѣ существуетъ странное, но всеобщее преданіе, будто его поставилъ императоръ Петръ I, проѣзжая черезъ Кавказъ; но, во-первыхъ, Петръ былъ только въ Дагестанѣ, и во-вторыхъ, на крестѣ было написано крупными буквами, что онъ поставленъ по приказанію ген. Ермолова, а именно въ 1824 году. Но преданіе, не смотря на

надпись, такъ укоренилось, что, право, не знаешь чему вѣрить, тѣмъ болѣе, что мы не привыкли вѣрить надписямъ.

Намъ должно было спускаться еще верстъ пять по обледенѣвшимъ скаламъ и топкому снѣгу, чтобъ достигнуть станціи Коби. Лошади измучились, мы продрогли; метель гудѣла сильнѣе и сильнѣе, точно наша родимая, сѣверная; только ея дикіе напѣвы были печальнѣе, заунывнѣе. «И ты, изгнанница,» думалъ я, «плачешь о своихъ широкихъ, раздольныхъ степяхъ! Тамъ есть гдѣ развернуть холодныя крылья, а здѣсь тебѣ душно и тѣсно какъ орлу, который съ крикомъ бьется о рѣшетку желѣзной своей клѣтки.»

— Плохо! говорилъ штабсъ-капитанъ: посмотрите, кругомъ ничего не видно, только туманъ да снѣгъ; того и гляди, что свалимся въ пропасть или засядемъ въ трущобу; а тамъ пониже, чай, Байдара такъ разыгралась, что и не переѣдешь. Ужъ эта мнѣ Азія! что люди, что рѣчки—никакъ нельзя положиться.

Извошники съ крикомъ и бранью колоутили лошадей, которыя фыркали, упирались и не хотѣли ни за что въ свѣтъ тронуться съ мѣста, не смотря на краснорѣчіе кнутовъ. «Ваше благородіе,» сказалъ наконецъ одинъ: «вѣдь мы нынче до Коби не доѣдемъ; не прикажете ли, покамѣстъ можно, своротить налѣво? Вонъ тамъ что-то на кособорѣ чернѣется—вѣрно, сакли: тамъ всегда-съ проѣзжающіе останавливаются въ погоду; они говорятъ, что проведутъ, если дадите на водку,» прибавилъ онъ, указывая на осетина.

— Знаю, братецъ, знаю безъ тебя! сказалъ штабсъ-капитанъ. Ужъ эти бестіи! рады придраться, чтобъ сорвать на водку.

— Признайтесь, однако, сказалъ я, что безъ нихъ намъ было бы хуже.

— Все такъ, все такъ, пробормоталъ онъ:—ужъ эти мнѣ проводники! чутьемъ слышать, гдѣ можно попользоваться; будто безъ нихъ и нельзя найти дороги.

Вотъ мы свернули налѣво и кое-какъ, послѣ многихъ хлопотъ, добрались до скуднаго пріюта, состоявшаго изъ двухъ саклей, сложенныхъ изъ плитъ и булыжника и обведенныхъ такою же стѣною. Оборванные хозяева приняли насъ радушно. Я послѣ узналъ, что правительство имъ платить и кормить ихъ съ условіемъ, чтобъ они принимали путешественниковъ, застигнутыхъ бурей.—Все къ лучшему, сказалъ я; присѣвъ у огня:—теперь вы мнѣ доскажите вашу исторію про Бѣлу; я увѣренъ, что этимъ не кончилось.

— А почему жъ вы такъ увѣрены? отвѣчалъ мнѣ штабсъ-капитанъ, примигивая съ хитрой улыбкою.

— Оттого, что это не въ порядкѣ вещей: чтó началось необыкновеннымъ образомъ, то должно такъ же и кончиться.

— Вѣдь вы угадали...

— Очень радъ.

— Хорошо вамъ радоваться; а мнѣ такъ, право, грустно, какъ вспомню. Славная была дѣвочка, эта Бѣла. Я къ ней наконецъ такъ привыкъ, какъ къ дочери, и она меня любила. Надо вамъ сказать, что у меня нѣтъ семейства: объ отцѣ и матери я лѣтъ двѣнадцать ужъ не имѣю извѣстія, а завестись женой не догадался раньше—такъ теперь ужъ, знаете, и не къ лицу! я и радъ былъ, что нашелъ кого баловать. Она, бывало, намъ поетъ пѣсни, иль пляшетъ лезгинку... А ужъ какъ плясала! Видалъ я нашихъ губернскихъ барышень, а разъ былъ-съ и въ Москвѣ въ благородномъ собраніи, лѣтъ двадцать тому назадъ,—только куда имъ! совсѣмъ не то!... Григорій Александровичъ наряжалъ ее какъ куколку, холилъ и лелѣялъ, и она у насъ такъ похорошѣла, что чудо, съ лица и съ рукъ сошелъ загаръ, румянецъ разыгрался на щекахъ... Ужъ какая, бывало, веселая, и все надо мной, проказница, подшучивала... Богъ ей прости!...

— А что, когда вы ей объявили о смерти отца?

— Мы долго отъ нея это скрывали, пока она не привыкла къ своему положенію; а когда сказали, такъ она дня два поплакала, а потомъ забыла.

— Мѣсяца четыре все шло какъ нельзя лучше. Григорій Александровичъ, я ужъ кажется говорилъ, страстно любилъ охоту: бывало, такъ его въ лѣсъ и подмываетъ за кабанями или козами — а тутъ хоть бы вышелъ за крѣпостной валъ. Вотъ, однако жъ, смотрю, онъ сталъ снова задумываться; ходить по комнатѣ, загнувъ руки назадъ; потомъ разъ, не сказавъ никому, отправился стрѣлять — цѣлое утро пропадалъ; разъ и другой, все чаще и чаще... «Нехорошо,» подумалъ я: «вѣрно между ними черная кошка проскочила.»

— Одно утро захожу къ нимъ—какъ теперь передъ глазами: Бѣла сидѣла на кровати въ черномъ, шолковомъ бешметѣ, блѣдненькая, такая печальная, что я испугался.

— А гдѣ Печоринъ? спросилъ я.

— На охотѣ.

— Сегодня ушелъ?—Она молчала, какъ будто ей трудно было выговорить.

— Нѣтъ, еще вчера, наконецъ сказала она, тяжело вздохнувъ.

— Ужъ не случилось ли съ нимъ чего?

— Я вчера цѣлый день думала, думала, отвѣчала она сквозь слезы; придумывала разные несчастія: то казалось мнѣ, что его ранилъ дикій кабанъ, то чеченецъ утащилъ въ горы... А нынче мнѣ ужъ кажется, что онъ меня не любитъ.

— Право, милая, ты хуже ничего не могла придумать!

Она заплакала, потомъ съ гордостью подняла голову, отерла слезы и продолжала:

— Если онъ меня не любитъ, то кто ему мѣшаетъ отослать меня домой? Я его не принуждаю. А если это такъ будетъ продолжаться, то я сама уйду: я не раба—я княжеская дочь!...

Я сталъ ее уговаривать. — Послушай, Бѣла, вѣдь нельзя же ему вѣкъ сидѣть здѣсь, какъ пришитому къ твоей юбкѣ: онъ человѣкъ молодой, любитъ погоняться за дичью—походить да и придетъ; а если ты будешь грустить, то скорѣй ему наскучишь.

— Правда, правда, отвѣчала она: я буду весела.—И съ хохотомъ схватила свой бубень, начала пѣть, плясать и прыгать около меня; только и это не было продолжительно: она опять упала на постель и закрыла лицо руками.

— Что было съ нею мнѣ дѣлать? Я, знаете, никогда съ женщинами не обращался; думалъ, думалъ, чѣмъ ее утѣшить, и ничего не придумалъ; нѣсколько времени мы оба молчали... Пренепріятное положеніе-съ!

Наконецъ я ей сказалъ: «хочешь, пойдемъ прогуляться на валь, погода славная!»—Это было въ сентябрѣ. И точно, день былъ чудесный, свѣтлый и не жаркій; всѣ горы видны были какъ на блюдечкѣ. Мы пошли, походили по крѣпостному валу взадъ и впередъ молча, наконецъ она сѣла на дернъ, и я сѣлъ возлѣ нея. Ну, право, вспомнить смѣшно: я бѣгалъ за нею, точно какая нибудь нянька.

— Крѣпость наша стояла на высокомъ мѣстѣ, и видъ былъ съ вала прекрасный: съ одной стороны широкая поляна, изрытая нѣсколькими балками, *) оканчивалась лѣсомъ, который тянулся до самаго хребта горъ; кое-гдѣ на ней дымились аулы, ходили табуны; съ другой бѣжала мелкая рѣчка, и къ ней примыкалъ частый кустарникъ, покрывавшій кремнистыя возвышенности, которыя соединялись съ главной пѣпью Кавказа. Мы сидѣли на углу бастіона, такъ что въ обѣ стороны могли видѣть все. Вотъ смотрю: изъ лѣса выѣзжаетъ кто-то на сѣрой лошади, все ближе и ближе, и наконецъ остановился

по ту сторону рѣчки, саженьяхъ во стѣ отъ насъ, и началъ кружить лошадь свою какъ бѣшенный. Что за притча!... «Посмотри-ка, Бѣла, сказалъ я: у тебя глаза молодые, что это за джигитъ: кого это онъ пріѣхалъ тѣшить?...»

Она взглянула, и вскрикнула: «это Казбичъ!»

— Ахъ онъ разбойникъ! смѣяться что ли пріѣхалъ надъ нами? — Всматриваюсь, точно Казбичъ: его смуглая рожа, оборванный, грязный какъ всегда.—«Это лошадь отца моего,» сказала Бѣла, схвативъ меня за руку; она дрожала какъ листъ, и глаза ея сверкали.—Ага! подумалъ я: и въ тебѣ, душенька, не молчитъ разбойничья кровь!

— Подойди-ка сюда, сказалъ я часовому: осмотри ружье, да ссади мнѣ этого молодца—получишь рубль серебромъ.—«Слушаю, ваше высокоблагородіе; только онъ не стоитъ на мѣстѣ...» — Прикажи, сказалъ я, смѣясь.—«Эй любезный!» закричалъ часовой, махая ему рукой: «подожди маленько, что ты крутишься какъ волчокъ?»—Казбичъ остановился въ самомъ дѣлѣ и сталъ вслушиваться: вѣрно думалъ, что съ нимъ заводятъ переговоры—какъ не такъ!... Мой гренадеръ приложился... бацъ!... мимо,—только-что порохъ на полкѣ вспыхнулъ, Казбичъ толкнулъ лошадь, и она дала скачекъ въ сторону. Онъ привсталъ на стременахъ, крикнулъ что-то по-своему, погрозилъ нагайкой—и былъ таковъ.

— Какъ тебѣ не стыдно! сказалъ я часовому.

— Ваше высокоблагородіе! умирать отправился, отвѣчалъ онъ, такой проклятый народъ, съ разу не убьешь.

Четверть часа спустя, Печоринъ вернулся съ охоты; Бѣла бросилась ему на шею, и ни одной жалобы, ни одного упрека за долгое отсутствіе... Даже я ужъ на него разсердился.—Помилуйте, говорилъ я: вѣдь вотъ сейчасъ тутъ былъ

*) Овраги.

за рѣчкою Казбичъ и мы по немъ стрѣляли; ну, долго ли вамъ на него наткнуться? Эти горцы народъ мстительный; вы думаете, что онъ не догадывается, что вы частію помогли Азамату? А я бьюсь объ закладъ, что нынче онъ узналъ Бѣлу. Я знаю, что, годъ тому назадъ, она ему больно нравилась—онъ мнѣ самъ говорилъ—и если бъ надѣялся собрать порядочный калымъ, то вѣрно бы посватался...—Тутъ Печоринъ задумался. — Да, отвѣчалъ онъ: надо быть осторожнѣе.. Бѣла! съ нынѣшняго дня ты не должна болѣе ходить на крѣпостной валъ.

Вечеромъ я имѣлъ съ нимъ длинное объясненіе: мнѣ было досадно, что онъ перемѣнился къ этой бѣдной дѣвочкѣ; кромѣ того, что онъ половину дня проводилъ на охотѣ, его обращеніе стало холодно, ласкалъ онъ ее рѣдко, и она замѣтно начинала сохнуть, личико ея вытянулось, большіе глаза потускнѣли. Бывало спросишь: о чемъ ты вздохнула, Бѣла? ты печальна? «Нѣтъ.» Тебѣ чего нибудь хочется? «Нѣтъ.» Ты тоскуешь по роднымъ? «У меня нѣтъ родныхъ.» Случалось, по цѣлымъ днямъ, кромѣ «да» да «нѣтъ», отъ нея ничего больше не добьешься.

— Вотъ объ этомъ-то я и сталъ ему говорить. «Послушайте Максимъ Максимычъ», отвѣчалъ онъ: «у меня несчастный характеръ: воспитаніе ли меня сдѣлало такимъ, Богъ ли такъ меня создалъ—не знаю; знаю только, что если я причиною несчастія другихъ, то и самъ не менѣе несчастливъ. Разумѣется, это имъ плохое утѣшеніе—только дѣло въ томъ, что это такъ. Въ первой моей молодости, съ той минуты, когда я вышелъ изъ опеки родныхъ, я сталъ наслаждаться бѣшено всѣми удовольствіями, которыя можно достать за деньги и, разумѣется, удовольствія эти мнѣ опротивѣли. Потомъ пустился я въ большой свѣтъ, и скоро общество мнѣ также надоѣло; влюблялся

въ свѣтскихъ красавицъ, и былъ любимъ; но ихъ любовь только раздражала мое воображеніе и самолюбіе, а сердце осталось пусто... Я сталъ читать, учиться—науки также надоѣли; я видѣлъ, что ни слава, ни счастье отъ нихъ не зависятъ нисколько, потому что самые счастливые люди—невѣжды, а слава—удача, и чтобъ добиться ее, надо только быть ловкимъ. Тогда мнѣ стало скучно... Вскорѣ перевели меня на Кавказъ: это самое счастливое время моей жизни. Я надѣялся, что скука не живетъ подъ чеченскими пулями—напрасно: черезъ мѣсяцъ я такъ привыкъ къ ихъ жужоканью и къ близости смерти, что, право, обращалъ больше вниманія на комаровъ—и мнѣ стало скучнѣе прежняго, потому что я потерялъ почти послѣднюю надежду. Когда я увидѣлъ Бѣлу въ своемъ домѣ, когда въ первый разъ, держа ее на колѣняхъ, цѣловалъ ея черные локоны, я, глупецъ, подумалъ, что она ангелъ, посланный мнѣ сострадательной судьбою... Я опять ошибся: любовь дикарки немногимъ лучше любви знатной барыни; невѣжество и простосердечіе одной такъ же надоѣдаютъ, какъ и кокетство другой. Если вы хотите, я ее еще люблю, я ей благодаренъ за нѣсколько минутъ довольно сладкихъ, я за нее отдамъ жизнь—только мнѣ съ нею скучно... Глупецъ я или злодѣй—не знаю; но то вѣрно, что я также очень достоинъ сожалѣнія, можетъ быть больше, нежели она; во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображеніе безпокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало; къ печали я также легко привыкаю, какъ къ наслажденію, и жизнь моя становится пустѣе день ото дня; мнѣ осталось одно средство: путешествовать. Какъ только будетъ можно, отправлюсь—только не въ Европу, избави Боже!—поѣду въ Америку, въ Аравію, въ Индію—авось гдѣ нибудь умру на дорогѣ. Покрайней мѣрѣ, я увѣренъ, что это послѣднее утѣшеніе

не скоро истощится, съ помощію бурь и дурныхъ дорогъ.»—Такъ онъ говорилъ долго, и его слова врѣзались у меня въ памяти, потому что въ первый разъ я слышалъ такія вещи отъ двадцатипятилѣтняго человѣка, и, Богъ дастъ, въ послѣдній... Что за диво! Скажите-ка, пожалуйста, продолжалъ штабсъ-капитанъ, обращаясь ко мнѣ: вы вотъ, кажется, бывали въ столицѣ, и недавно—неужто тамошняя молодежь вся такова?

Я отвѣчалъ, что много есть людей, говорящихъ то же самое; что есть, вѣроятно, и такіе, которые говорятъ правду; что впрочемъ разочарованіе, какъ всѣ моды, начавъ съ высшихъ слоевъ общества, спустилось къ низшимъ, которые его донашиваютъ, и что нынче тѣ, которые больше всѣхъ и въ самомъ дѣлѣ скучаютъ, стараются скрыть это несчастіе, какъ порокъ.—Штабсъ-капитанъ не понималъ этихъ тонкостей, покачалъ головою и улыбнулся лукаво.

— А все, чай, французы, ввели моду скучать?

— Нѣтъ, англичане.

— Ага, вотъ что!... отвѣчалъ онъ; да вѣдь они всегда были отъявленные пьяницы!...

Я невольно вспомнилъ объ одной московской барынѣ, которая утверждала, что Байронъ былъ больше ничего, какъ пьяница. Впрочемъ, замѣчаніе штабсъ-капитана было извинительнѣе: чтобъ держиваться отъ вина, онъ конечно старался увѣрять себя, что всѣ въ мірѣ несчастія происходятъ отъ пьянства.

Между тѣмъ онъ продолжалъ свой рассказъ такимъ образомъ:

— Казбичъ не являлся снова. Только не знаю почему, я не могъ выбить изъ головы мысль, что онъ не даромъ пріѣзжалъ и затѣваетъ что-нибудь худое.

— Вотъ, разъ уговариваетъ меня Печоринъ ѣхать съ нимъ на кабана; я долго отпѣкивался: ну, что мнѣ былъ за дико-

винка кабанъ! Однако жъ утащилъ-таки онъ меня съ собою.—Мы взяли человѣкъ пять солдатъ и уѣхали рано утромъ. До десяти часовъ шиняли по камышамъ и по лѣсу—нѣтъ звѣря. «Эй, не воротится ли?» говорилъ я. «Къ чему упрямитесь? Ужъ, видно, такой задался несчастный день!» Только Григорій Александровичъ, не смотря на зной и усталость, не хотѣлъ воротиться безъ добычи... Таковъ ужъ былъ человѣкъ: что задумаетъ—подавай; видно, въ дѣтствѣ былъ маменькой избалованъ... Наконецъ въ полдень отыскали проклятаго кабана—пафъ! пафъ! не тутъ-то было: ушелъ въ камыши... такой ужъ былъ несчастный день!... Вотъ мы, отдохнувъ маленько, отправились домой.

— Мы ѣхали рядомъ, молча, распустивъ поводья, и были ужъ почти у самой крѣпости: только кустарникъ закрывалъ ее отъ насъ. Вдругъ выстрѣлъ... Мы взглянули другъ на друга: насъ поразило одинаковое подозрѣніе... Опрометью поскакали мы на выстрѣлъ—смотримъ: на валу солдаты собрались въ кучку и указываютъ въ поле, а тамъ летитъ стремглавъ всадникъ и держитъ что-то бѣлое на сѣдлѣ. Григорій Александровичъ взвизгнулъ не хуже любого чеченца; ружье изъ чехла—и туда; я за нимъ.

— Къ счастью, по причинѣ неудачной охоты, наши кони не были измучены: они рвались изъ-подъ сѣдла и съ каждымъ мгновеніемъ мы были все ближе и ближе... И наконецъ я узналъ Казбича, только не могъ разобрать, что такое онъ держалъ передъ собою. Я тогда поравнялся съ Печоринымъ и кричу ему: это Казбичъ!... Онъ посмотрѣлъ на меня, кивнулъ головою, и ударилъ коня плетью.

— Вотъ наконецъ мы были ужъ отъ него на ружейный выстрѣлъ; измучена ли была у Казбича лошадь, или хуже нашихъ, только, не смотря на всѣ его старанія, она не больно подавалась впе-

редъ. Я думаю, въ эту минуту онъ вспомнилъ своего Карагёза...

— Смотрю: Печоринъ на скаку приложился изъ ружья... «Не стрѣляйте!» кричу я ему: «берегите зарядъ; мы и такъ его догонимъ.»—Ужъ эта молодежь! вѣчно не кстати горячиться... Но выстрѣлъ раздался и пуля перебила заднюю ногу лошади: она сгоряча сдѣлала еще прыжковъ десять, споткнулась и упала на колѣни. Казбичъ соскочилъ, и тогда мы увидѣли, что онъ держалъ на рукахъ своихъ женщину, окутанную чадрую... Это была Бѣла... бѣдная Бѣла!—Онъ что-то намъ закричалъ по-своему и занесъ надъ нею кинжалъ... Медлить было нечего: я выстрѣлилъ въ свою очередь, на-удачу; вѣрно пуля попала ему въ плечо, потому что вдругъ онъ опустилъ руку. Когда дымъ разсѣялся, на землѣ лежала раненая лошадь и возлѣ нея Бѣла; а Казбичъ, бросивъ ружье, по кустарникамъ, точно кошка, карабкался на утесъ. Хотѣлось мнѣ его снять оттуда—да не было заряда готоваго! Мы соскочили съ лошадей и кинулись къ Бѣлѣ. Бѣдняжка, она лежала неподвижно и кровь лилась изъ раны ручьями... Такой злодѣй: хотъ бы въ сердце ударилъ—ну, такъ ужъ и быть, однимъ разомъ все бы кончилось, а то въ спину... самый разбойничій ударъ! Она была безъ памяти. Мы изорвали чадру и перевязали рану какъ можно туже. Напрасно Печоринъ цѣловалъ ея холодныя губы—ничто не могло привести ее въ себя.

— Печоринъ сѣлъ верхомъ; я поднялъ ее съ земли и кое-какъ посадилъ къ нему на сѣдло; онъ обхватилъ ее рукой, и мы поѣхали назадъ. Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, Григорій Александровичъ сказалъ мнѣ: «послушайте, Максимъ Максимычъ, мы этакъ ее не доведемъ живую.»—«Правда!» сказалъ я, и мы пустили лошадей во весь духъ. —Насъ у воротъ крѣпости ожидала толпа народа. Осторожно перенесли мы раненую къ Печо-

рину и послали за лекаремъ. Онъ былъ хотя пьянъ, но пришелъ, осмотрѣлъ рану и объявилъ, что она больше дня жить не можетъ; только онъ ошибся...

— Выздоровѣла? спросилъ я у штабс-капитана, схвативъ его за руку и невольно обрадовавшись.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ онъ:—а ошибся лекарь тѣмъ, что она еще два дня прожила.

— Да объясните мнѣ, какимъ образомъ ее похитилъ Казбичъ?

— А вотъ какъ: не смотря на запрещеніе Печорина, она вышла изъ крѣпости къ рѣчкѣ. Было, знаете, очень жарко; она сѣла на камень и опустила ноги въ воду. Вотъ Казбичъ подкрался—цапъ-царапъ ее, зажалъ ротъ и потащилъ въ кусты, а тамъ вскочилъ на коня, да и тягу! Она, между тѣмъ, успѣла закричать; часовые всполошились, выстрѣлили, да мимо, а мы тутъ и подоспѣли.

— Да зачѣмъ Казбичъ ее хотѣлъ увезти?

— Помилуйте! да эти черкесы извѣстный воровской народъ: что плохо лежитъ, не могутъ не стянуть; другое и не нужно, а все украдетъ... ужъ въ этомъ прошу ихъ извинить! Да притомъ она ему давно-таки нравилась.

— И Бѣла умерла?

— Умерла; только долго мучилась, и мы ужъ съ нею измучились порядкомъ. Около десяти часовъ вечера она пришла въ себя; мы сидѣли у постели; только что она открыла глаза,—начала звать Печорина.—«Я здѣсь, подлѣ тебя, моя джанечка!» [то-есть, по-нашему душенька], отвѣчалъ онъ, взявъ ее за руку.—Я умру! сказала она.

— Мы начали ее утѣшать; говорили, что лекарь обѣщалъ ее вылечить непременно. Она покачала головкой и отвернулась къ стѣнѣ: ей не хотѣлось умирать!...

— Ночью она начала бредить; голова ея горѣла; по всему тѣлу иногда пробѣгала дрожь лихорадки. Она говорила не-

связныя рѣчи объ отцѣ, братѣ; ей хотѣлось въ горы, домой... Потомъ она также говорила о Печоринѣ; давала ему разныя нѣжныя названія, или упрекала его въ томъ, что онъ разлюбилъ свою джанечку.

— Онъ слушалъ ее молча, опустивъ голову на руки; но только я во все время не замѣтилъ ни одной слезы на рѣсницахъ его: въ самомъ ли дѣлѣ онъ не могъ плакать, или владѣлъ собою — не знаю; что до меня, то я ничего жалъ этого не видывалъ.

— Къ утру бредъ прошелъ; съ часъ она лежала неподвижная, блѣдная, и въ такой слабости, что едва можно было замѣтить, что она дышетъ; потомъ ей стало лучше, и она начала говорить, только, какъ вы думаете, о чемъ?... Этакая мысль придетъ вѣдь только умирающему!... Начала печалиться о томъ, что она не христіанка, и что на томъ свѣтѣ душа ея никогда не встрѣтится съ душою Григорья Александровича, и что иная женщина будетъ въ раю его подругой. Мнѣ пришло на мысль окрестить ее передъ смертію: я ей это предложилъ; она посмотрѣла на меня въ нерѣшимости и долго не могла слова вымолвить; наконецъ отвѣчала, что она умретъ въ той вѣрѣ, въ какой родилась. Такъ прошелъ цѣлый день. Какъ она перемѣнилась въ этотъ день! Блѣдныя щеки впали, глаза сдѣлались большіе, большіе; губы горѣли. Она чувствовала внутренній жаръ, какъ будто въ груди у ней лежало раскаленное желѣзо.

— Настала другая ночь: мы не смыкали глазъ, не отходили отъ ея постели. Она ужасно мучилась, стонала, и только-что боль начинала утихать, она старалась увѣрить Григорья Александровича, что ей лучше, уговаривала его идти спать, цѣловала его руку, не выпускала ее изъ своихъ. Передъ утромъ стала она чувствовать тоску смерти, начала метаться, сбила перевязку и кровь потекла снова. Когда перевязали рану, она на минуту

успокоилась и начала просить Печорина, чтобъ онъ ее поцѣловалъ. Онъ сталъ на колѣни возлѣ кровати, приподнялъ ея голову съ подушки и прижалъ свои губы къ ея холодѣющимъ губамъ: она крѣпко обвила его шею дрожащими руками, будто въ этомъ поцѣлуѣ хотѣла передать ему свою душу... Нѣтъ, она хорошо сдѣлала, что умерла! Ну, чтобы съ ней стало, еслибъ Григорій Александровичъ ее покинулъ? А это бы случилось рано или поздно...

— Половину слѣдующаго дня она была тиха, молчалива и послушна, какъ ни мучилъ ее нашъ лекарь припарками и микстурой.—Помилуйте!—говорилъ я ему:—вѣдь вы сами сказали, что она умретъ непременно, такъ зачѣмъ тутъ всѣ ваши препараты? «Все-таки лучше Максимъ Максимычъ,—отвѣчалъ онъ,—чтобъ совѣсть была покойна.» Хороша совѣсть!

— Послѣ полудня она начала томиться жаждой. Мы отворили окна, но на дворѣ было жарче, чѣмъ въ комнатѣ; поставили льду около кровати—ничего не помогало. Я зналъ, что эта невыносимая жажда — признакъ приближенія конца, и сказалъ это Печорину.

— Воды, воды!... говорила она хриплымъ голосомъ, приподнявшись съ постели.

— Онъ сдѣлался блѣденъ, какъ полотно, схватилъ стаканъ, налилъ и подалъ ей. Я закрылъ глаза руками и сталъ читать молитву—не помню какую... Да, батюшка, видалъ я много, какъ люди умираютъ въ госпиталяхъ и на полѣ сраженія, только это все не то, совсѣмъ не то!... Еще, признаться, меня вотъ что печалитъ: она передъ смертію ни разу не вспомнила обо мнѣ; а кажется я ее любилъ какъ отецъ... Ну, да Богъ ее проститъ!... И вправду молвить: что жъ я такое, чтобъ обо мнѣ вспоминать передъ смертію?...

— Только-что она испила воды, какъ ей стало легче, а минуты черезъ три она

скончалась. Приложили зеркало къ губамъ—гладко!...

Я вывелъ Печорина вонъ изъ комнаты и мы пошли на крѣпостной валъ; долго мы ходили взадъ и впередъ рядомъ, не говоря ни слова, загнувъ руки на спину; его лицо ничего не выражало особеннаго, и мнѣ стало досадно: я бы, на его мѣстѣ, умеръ съ горя. Наконецъ онъ сѣлъ на землю, въ тѣни, и началъ что-то чертить палочкой на пескѣ. Я, знаете, больше для приличія, хотѣлъ утѣшить его, началъ говорить; онъ поднялъ голову и засмѣялся... У меня морозъ пробѣжалъ по кожѣ отъ этого смѣха... Я пошелъ закладывать гробъ.

— Признаться, я частію для развлеченія занялся этимъ. У меня былъ кусокъ термаламы, я обиль ею гробъ и украсилъ его черкесскими серебряными галунами, которыхъ Григорій Александровичъ купилъ для нея же.

— На другой день рано утромъ мы ее похоронили за крѣпостью, у рѣчки, возлѣ того мѣста, гдѣ она въ послѣдній разъ сидѣла; кругомъ ея могилки теперь разрослись кусты бѣлой акаціи и бузины. Я хотѣлъ-было поставить крестъ, да, знаете, неловко: все-таки она была не христіанка....

— А что Печоринъ? спросилъ я.

— Печоринъ былъ долго нездоровъ, исхудалъ, бѣдняжка; только никогда съ этихъ поръ мы не говорили о Бѣлѣ; я видѣлъ, что это ему будетъ непріятно, такъ зачѣмъ же?—Мѣсяца три спустя, его назначили въ Е—й полкъ, и онъ уѣхалъ въ Грузію. Мы съ тѣхъ поръ не встрѣчались... Да, помнится, кто-то недавно мнѣ говорилъ, что онъ возвратился въ Россію, но въ приказахъ по корпусу не было. Впрочемъ, до нашего брата вѣсти поздно доходятъ.

Тутъ онъ пустился въ длинную диссертацію о томъ, какъ непріятно узнавать новости годомъ позже—вѣроятно для

того, чтобъ заглушить печальныя воспоминанія.

Я не перебивалъ его и не слушалъ.

Черезъ часъ явилась возможность ѣхать; метель утихла, небо прояснилось, и мы отправились. Дорогой невольно я опять завелъ разговоръ о Бѣлѣ и о Печоринѣ.

— А не слыхали ли вы, что сдѣлалось съ Казбичемъ? спросилъ я.

— Съ Казбичемъ? А, право, не знаю... Слышалъ я, что на правомъ флангѣ у шапсуговъ есть какой-то Казбичъ, удалецъ, который въ красномъ бешметѣ разѣзжаетъ шажкомъ подъ нашими выстрѣлами и превѣжливо раскланивается, когда пуля прожужжитъ близко; да врядъ ли это тотъ самый!...

Въ Коби мы разстались съ Максимомъ Максимычемъ; я поѣхалъ на почтовыхъ, а онъ по причинѣ тяжелой поклажи не могъ за мной слѣдовать. Мы не надѣялись никогда болѣе встрѣтиться, однако встрѣтились, и, если хотите, я расскажу: это цѣлая исторія... Сознаться, однако жъ, что Максимъ Максимычъ человѣкъ достойный уваженія?... Если вы сознаетесь въ этомъ, то я вполне буду вознагражденъ за свой, можетъ быть, слишкомъ длинный рассказъ.

II.

МАКСИМЪ МАКСИМЫЧЪ.

Разставшись съ Максимомъ Максимычемъ, я живо проскакалъ Терекское и Дарьяльское ушелья, завтракалъ въ Казбекѣ, чай пилъ въ Ларсѣ, а къ ужину поспѣшилъ въ Владикавказъ. Избавляю васъ отъ описанія горъ, отъ возгласовъ, которые ничего не выражаютъ, отъ картинъ, которыя ничего не изображаютъ, особенно для тѣхъ, которые тамъ не были, и отъ статистическихъ замѣчаній, которыхъ рѣшительно никто читать не станетъ.

Я остановился въ гостинницѣ, гдѣ останавливаются всѣ проѣзжіе, и гдѣ между тѣмъ некому велѣтъ зажарить фазана и сварить шей, ибо три инвалида, которымъ она поручена, такъ глупы или такъ пьяны, что отъ нихъ никакого толка нельзя добиться.

Мнѣ объявили, что я долженъ прожить тутъ еще три дня, ибо «оказія» изъ Екатеринограда еще не пришла и слѣдовательно отправиться обратно не можетъ. Что за оказія!... Но дурной каламбуръ не утѣшеніе для русскаго человѣка, и я для развлеченія вздумалъ записывать разсказъ Максима Максимыча о Бѣлѣ, не воображая, что онъ будетъ первымъ звеномъ длинной цѣпи повѣстей; видите, какъ иногда маловажный случай имѣетъ жестокія послѣдствія!... А вы можете быть не знаете что такое «оказія»? Это—прикрытіе, состоящее изъ полроты пѣхоты и пушки, съ которымъ ходятъ обозы чрезъ Кабарду изъ Владикавказа въ Екатериноградъ.

Первый день я провелъ очень скучно; на другой, рано утромъ вѣзжаетъ на дворъ повозка... А! Максимъ Максимычъ!... Мы встрѣтились какъ старые пріятели. Я предложилъ ему свою комнату; онъ не церемонился, даже ударилъ меня по плечу и скривилъ ротъ на манеръ улыбки. Такой чудакъ!...

Максимъ Максимычъ имѣлъ глубокія свѣдѣнія въ поваренномъ искусствѣ: онъ удивительно хорошо зажарилъ фазана, удачно полилъ его огуречнымъ разсоломъ, и я долженъ признаться, что безъ него пришлось бы остаться на сухояденіи. Бутылка кахетинскаго помогла намъ забыть о скромномъ числѣ блюдъ, которыхъ было всего одно, и, закуривъ трубки, мы усѣлись—я у окна, онъ у затопленной печи, потому что день былъ сырой и холодный. Мы молчали. О чемъ было намъ говорить?... Онъ ужъ разсказалъ мнѣ о себѣ все, что было заниматель-

наго, а мнѣ было нечего разсказывать. Я смотрѣлъ въ окно. Множество низенькихъ домиковъ, разбросанныхъ по берегу Терека, который разбѣгается шире и шире, мелькали изъ-за деревъ, а дальше синѣлись зубчатою стѣною горы и изъ-за нихъ выглядывалъ Казбекъ въ своей бѣлой архиерейской шапкѣ. Я съ ними мысленно прощался: мнѣ стало ихъ жалко...

Такъ сидѣли мы долго. Солнце пряталось за холодныя вершины, и бѣловатый туманъ начиналъ расходиться въ долинахъ, когда на улицѣ раздался звонъ дорожнаго колокольчика и крикъ извозчиковъ. Нѣсколько повозокъ съ грязными армянами вѣхало на дворъ гостинницы и за ними пустая дорожная коляска; ея легкій ходъ, удобное устройство и щегольской видъ имѣли какой-то заграничный отпечатокъ. За нею шелъ человѣкъ съ большими усами, въ венгеркѣ, довольно хорошо одѣтый для лакея; въ его званіи нельзя было ошибиться, видя ухарскую замашку, съ которою онъ вытряхивалъ золу изъ трубки и покрикивалъ на ямщика. Онъ явно былъ балованный слуга лѣниваго барина—нѣчто вродѣ русскаго Фигаро.—«Скажи, любезный, закричалъ я ему въ окно, что это—оказія пришла, что ли?»—Онъ посмотрѣлъ довольно дерзко, поправилъ галстухъ и отвернулся; шедшій возлѣ него армянинъ, улыбаясь, отвѣчалъ за него, что точно пришла оказія и завтра утромъ отправится обратно.—«Слава Богу!» сказалъ Максимъ Максимычъ, подошедшій къ окну въ это время. «Экая чудная коляска!» прибавилъ онъ: «вѣрно какой нибудь чиновникъ ѣдетъ на слѣдствіе въ Тифлисъ. Видно не знаетъ нашихъ горокъ! Нѣтъ, шутишь, любезный: онъ не свой братъ, растрясуть хоть англійскую!»—А кто бы это такое былъ—подойдемте-ка узнать!...» Мы вышли въ корридоръ. Въ концѣ корридора была отворена дверь въ боковую комнату.

Лакей съ извощикомъ перетаскивали въ нее чемоданы.

— Послушай, братецъ, спросилъ у него штабсъ-капитанъ: чья эта чудесная коляска?... а?... Прекрасная коляска!... Лакей, не оборачиваясь, бормоталъ что-то про себя, развязывая чемоданъ. Максимъ Максимычъ разсердился: онъ тронулъ неучтивца по плечу и сказалъ: я тебѣ говорю, любезный...

— Чья коляска?... Моего господина...

— А кто твой господинъ?

— Печоринъ...

— Что ты? что ты? Печоринъ?... Ахъ, Боже мой!... да не служилъ ли онъ на Кавказѣ?... воскликнулъ Максимъ Максимычъ, дернувъ меня за рукавъ. У него въ глазахъ сверкала радость.

— Служилъ кажется—да я у нихъ недавно.

— Ну, такъ!.. такъ!.. Григорій Александровичъ?... Такъ вѣдь его зовутъ? Мы съ твоимъ бариномъ были пріятели, прибавилъ онъ, ударивъ дружески по плечу лакея, такъ что заставилъ его пошатнуться...

— Позвольте, сударь; вы мнѣ мѣшаете, сказалъ тотъ нахмурившись.

— Экой ты, братецъ!... да знаешь ли, мы съ твоимъ бариномъ были друзья закадычные, жили вмѣстѣ?... Да гдѣ жъ онъ самъ остался?...

Слуга объявилъ, что Печоринъ остался ужинать и ночевать у полковника Н....

— Да не зайдетъ ли онъ вечеромъ сюда? сказалъ Максимъ Максимычъ: или ты, любезный, не пойдешь ли къ нему зачѣмънибудь?... Коли пойдешь, такъ скажи, что здѣсь Максимъ Максимычъ; такъ и скажи... ужъ онъ знаетъ... Я тебѣ дамъ восьмигривенный на водку...

Лакей сдѣлалъ презрительную мину, слыша такое скромное обѣщаніе, однако увѣрилъ Максима Максимыча, что онъ исполнить его порученіе.

— Вѣдь сейчасъ прибѣжитъ!... сказалъ мнѣ Максимъ Максимычъ съ тор-

жествующимъ видомъ: пойду за ворота его дожидаться... Эхъ жалко, что я незнакомъ съ Н...

Максимъ Максимычъ сѣлъ за воротами на скамейку, а я ушелъ въ свою комнату. Признаюсь, я также съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ ждалъ появленія этого Печорина; хотя, по разсказу штабсъ-капитана, я составилъ себѣ о немъ не очень выгодное понятіе, однако нѣкоторыя черты въ его характерѣ показались мнѣ замѣчательными. Черезъ часъ инвалидъ принесъ кипящій самоваръ и чайникъ. «Максимъ Максимычъ, не хотите ли чаю?» закричалъ я ему въ окно.

— Благодарствуйте; что-то не хочется.

— Эй выпейте! Смотрите, вѣдь ужъ поздно, холодно.

— Ничего; благодарствуйте...

— Ну, какъ угодно!—Я сталъ пить чай одинъ; минутъ черезъ десять входитъ мой старикъ.

— А вѣдь вы правы: все лучше выпить чайку—да я все ждалъ. Ужъ человѣкъ его давно къ нему пошелъ, да видно что нибудь задержало!

Онъ наскоро выхлебнулъ чашку, откасался отъ второй и ушелъ опять за ворота въ какомъ-то безпокойствѣ: явно было, что старика огорчало небреженіе Печорина, и тѣмъ болѣе, что онъ мнѣ недавно говорилъ о своей съ нимъ дружбѣ, и еще часъ тому назадъ былъ увѣренъ, что онъ прибѣжитъ, какъ только услышитъ его имя.

Уже было поздно и темно, когда я снова отворилъ окно и сталъ звать Максима Максимыча, говоря, что пора спать; онъ что-то пробормоталъ сквозъ зубы; я повторилъ приглашеніе—онъ ничего не отвѣчалъ.

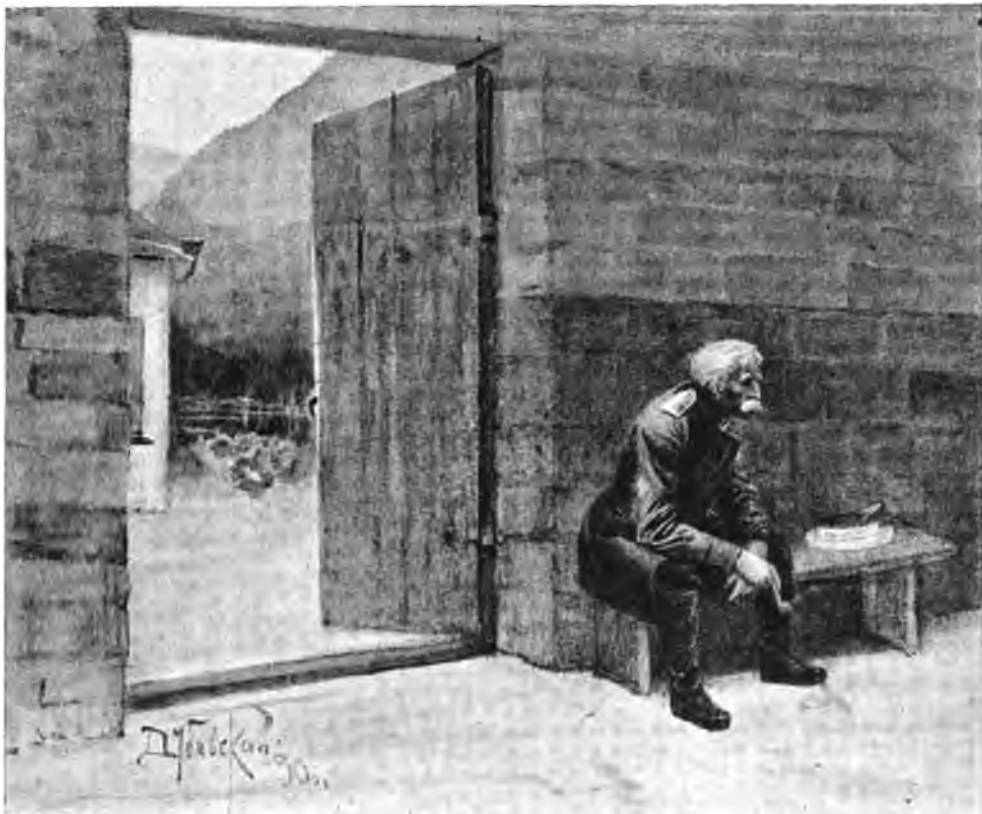
Я легъ на диванъ, завернувшись въ шинель и оставивъ свѣчу на лежанкѣ, скоро задремалъ и проспалъ бы покойно, если бъ, уже очень поздно, Максимъ Максимычъ, войдя въ комнату, не разбу-

диль меня. Онъ бросилъ трубку на столъ, сталъ ходить по комнатѣ, шевырять въ печи, наконецъ легъ, но долго кашлялъ, плевалъ, ворочался...

— Не клопы ли васъ кусаютъ? спросилъ я.

— Да, клопы... отвѣчалъ онъ, тяжело вздохнувъ.

редъ воротами разстилалась широкая площадь; за нею базаръ кипѣлъ народомъ, потому что было воскресенье: босые мальчишки-осетины, неся за плечами котомки съ сотовымъ медомъ, вертѣлись вокругъ меня; я ихъ проклиналъ: мнѣ было не до нихъ—я начиналъ раздѣлять безпокойство добраго штабсъ-капитана.



На другой день утромъ я проснулся рано, но Максимъ Максимычъ предупредилъ меня. Я нашелъ его у воротъ сидящаго на скамейкѣ. «Мнѣ надо сходить къ коменданту», сказалъ онъ: «такъ пожалуйста, если Печоринъ придетъ, пришлите за мной...»

Я общался. Онъ побѣждалъ, какъ будто члены его получили вновь юношескую силу и гибкость.

Утро было свѣжее и прекрасное. Золотыя облака громоздились на горахъ, какъ новый рядъ воздушныхъ горъ; пе-

Не прошло десяти минутъ, какъ на концѣ площади показался тотъ, котораго мы ожидали. Онъ шелъ съ полковникомъ Н..., который, доведя его до гостиницы, простился съ нимъ и повернулъ въ крѣпость. Я тотчасъ же послалъ инвалида за Максимомъ Максимычемъ.

На встрѣчу Печорина вышелъ его лакей и доложилъ, что сейчасъ станутъ закладывать; подалъ ему ящикъ съ сигарами и, получивъ нѣсколько приказаній, отправился хлопотать. Его господинъ, закуривъ сигару, зѣвнулъ раза два и сѣлъ

на скамью по другую сторону воротъ. Теперь я долженъ нарисовать вамъ его портретъ.

Онъ былъ средняго роста; стройный, тонкій станъ его и широкія плечи доказывали крѣпкое сложеніе, способное переносить всѣ трудности кочевой жизни и перемѣны климатовъ, непобѣжденное ни развратомъ столичной жизни, ни бурями душевными; пыльный бархатный сюртучокъ его, застегнутый только на двѣ нижнія пуговицы, позволялъ разглядѣть ослѣпительно-чистое бѣлье, изобличавшее привычки порядочнаго человѣка; его запачканныя перчатки казались нарочно сшитыми по его маленькой аристократической рукѣ, и когда онъ снялъ одну перчатку, то я былъ удивленъ худобой его блѣдныхъ пальцевъ. Его походка была небрежна и лѣнива, но я замѣтилъ, что онъ не размахивалъ руками—вѣрный признакъ нѣкоторой скрытности характера. Впрочемъ, это мои собственные замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ заставить вѣровать въ нихъ слѣпо. Когда онъ опустился на скамью, то прямой станъ его согнулся, какъ будто у него въ спинѣ не было ни одной косточки; положеніе всего его тѣла изобразило какую-то нервическую слабость; онъ сидѣлъ, какъ сидитъ Бальзакова тридцатилѣтняя кокетка на своихъ пуховыхъ креслахъ послѣ утомительнаго бала. Съ перваго взгляда на лицо его, я бы не далъ ему болѣе двадцати трехъ лѣтъ, хотя послѣ я готовъ былъ дать ему тридцать. Въ его улыбкѣ было что-то дѣтское. Его кожа имѣла какую-то женскую нѣжность; бѣлокурые волосы, вьющіеся отъ природы, такъ живописно обрисовывали его блѣдный, благородный лобъ, на которомъ только по долгомъ наблюденіи можно было замѣтить слѣды морщинъ, пересѣкавшихъ одна другую и, вѣроятно, обозначававшихъ гораздо явственнѣе въ мину-

ты гнѣва, или душевнаго безпокойства. Не смотря на свѣтлый цвѣтъ его волосъ, усы его и брови были черныя—признакъ породы въ человѣкѣ, такъ какъ черная грива и черный хвостъ у бѣлой лошади. Чтобъ докончить портретъ, я скажу, что у него былъ немного вздернутый носъ, зубы ослѣпительной бѣлизны и каріе глаза; о глазахъ я долженъ сказать еще нѣсколько словъ.

Во-первыхъ, они не смѣялись, когда онъ смѣялся.—Вамъ не случилось замѣчать такой странности у нѣкоторыхъ людей?... Это признакъ или злаго нрава, или глубокой, постоянной грусти. Изъза полуопущенныхъ рѣсницъ они сіяли какимъ-то фосфорическимъ блескомъ, если можно такъ выразиться. То не было отраженіе жара душевнаго или играющаго воображенія: то былъ блескъ, подобный блеску гладкой стали, ослѣпительный, но холодный; взглядъ его—непродолжительный, но проникающій и тяжелый, оставлялъ по себѣ непріятное впечатлѣніе нескромнаго вопроса и могъ бы казаться дерзкимъ, если бъ не былъ столь равнодушно-спокоенъ. Всѣ эти замѣчанія пришли мнѣ на умъ, можетъ быть, только потому, что я зналъ нѣкоторыя подробности его жизни, и, можетъ быть, на другаго видъ его произвелъ бы совершенно различное впечатлѣніе; но такъ какъ вы о немъ не услышите ни отъ кого, кромѣ меня, то по неволѣ должны довольствоваться этимъ изображеніемъ. Скажу въ заключеніе, что онъ былъ вообще очень недуренъ и имѣлъ одну изъ тѣхъ оригинальныхъ фizioномій, которыя особенно нравятся женщинамъ.

Лошади были уже заложены; крокольчикъ по временамъ звенѣлъ подъ дугою, и лакей уже два раза подходилъ къ Печорину съ докладомъ, что все готово, а Максимъ Максимычъ еще не являлся. Къ счастью, Печоринъ былъ по-

груженъ въ задумчивость, глядя на синіе зубцы Кавказа, и кажется, вовсе не торопился въ дорогу. Я подошелъ къ нему. «Если вы захотите еще немного подождать», сказалъ я, «то будете имѣть удовольствіе увидѣться съ старымъ пріелемъ...»

— Ахъ, точно! быстро отвѣчалъ онъ: мнѣ вчера говорили; но гдѣ же онъ?— Я обернулся къ площади и увидѣлъ Максима Максимыча, бѣгущаго что было мочи... Черезъ нѣсколько минутъ онъ былъ уже возлѣ насъ; онъ едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ, вырвавшись изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его; колѣни его дрожали... онъ хотѣлъ кинуться на шею Печорину, но тотъ довольно холодно, хотя съ привѣтливой улыбкой, протянулъ ему руку. Штабсъ-капитанъ на минуту остоленѣлъ, но потомъ жадно схватилъ его руку обѣими руками: онъ еще не могъ говорить.

— Какъ я радъ, дорогій Максимъ Максимычъ! Ну, какъ вы поживаете? сказалъ Печоринъ.

— А... ты?... а вы?... пробормоталъ со слезами на глазахъ старикъ: сколько лѣтъ... сколько дней... да куда это?...

— Буду въ Персію—и дальше...

— Неужто сейчасъ?... Да подождите дражайшій!... Неужто сейчасъ разстанемся?... Сколько времени не видались...

— Мнѣ пора, Максимъ Максимычъ,—былъ отвѣтъ.

— Боже мой, Боже мой! да куда это такъ спѣшите?... Мнѣ столько бы хотѣлось вамъ сказать... столько разспросить.. Ну, что? въ отставку?... какъ?... что подѣлывали?...

— Скучалъ! отвѣчалъ Печоринъ, улыбаясь.

— А помните наше житье-бытье въ крѣпости?... Славная страна для охоты!... Вѣдь вы были страстный охотникъ стрѣлять... А Бѣла?...





Печоринъ чуть-чуть поблѣднѣлъ и отвернулся...

— Да, помню! сказалъ онъ, почти тотчасъ принужденно зѣвнувъ.

Максимъ Максимычъ сталъ его упрасивать остаться съ нимъ еще часа два. «Мы славно пообѣдаемъ», говорилъ онъ: «у меня есть два фазана; а кахетинское здѣсь прекрасное... разумѣется не то, что въ Грузіи, однако лучшаго сорта... Мы поговоримъ... Вы мнѣ расскажете про свое житіе въ Петербургѣ... А?...»

— Право, мнѣ нечего рассказывать, дорогой Максимъ Максимычъ... Однако прощайте, мнѣ пора... я спѣшу... Благодарю, что не забыли... прибавилъ онъ, взявъ его за руку.

Старикъ нахмурилъ брови... Онъ былъ печаленъ и сердитъ, хотя старался скрыть это. «Забытъ!» проворчалъ онъ: «я-то не забылъ ничего... Ну, да Богъ съ вами... Не такъ я думалъ съ вами встрѣтиться...

— Ну, полно, полно! сказалъ Печоринъ, обнявъ его дружески: неужели я не тотъ же? Что дѣлать?... всякому своя дорога... Удастся ли еще встрѣтиться—Богъ знаетъ!... Говоря это, онъ уже сидѣлъ въ коляскѣ и ямщикъ ужъ началъ подбирать возжи.

— Постой, постой! закричалъ вдругъ Максимъ Максимычъ, ухватясь за дверцы коляски:—совсѣмъ было забылъ... У меня остались ваши бумаги, Григорій Александровичъ... я ихъ таскаю съ собой... думалъ найти васъ въ Грузіи, а вотъ гдѣ Богъ далъ свидѣться... Что съ ними дѣлать?...

— Что хотите! отвѣчалъ Печоринъ.— Прощайте...

— Такъ вы въ Персію?... а когда вернетесь?... кричалъ въ слѣдъ Максимъ Максимычъ.

Коляска была уже далеко, но Печоринъ сдѣлалъ знакъ рукой, который можно было перевести слѣдующимъ образомъ: врядъ ли! да и не зачѣмъ!

Давно уже не слышно было ни звона колокольчика, ни стука колесъ по кремнистой дорогѣ, а бѣдный старикъ еще стоялъ на томъ же мѣстѣ въ глубокой задумчивости.

«Да», сказалъ онъ наконецъ, стараясь принять равнодушный видъ, хотя слеза досады по временамъ сверкала на его рѣсницахъ; «конечно, мы были пріятеля—ну, да что пріятеля въ нынѣшнемъ вѣкѣ!... Что ему во мнѣ? Я не богатъ, не чиновенъ, да и по лѣтамъ совсѣмъ ему не пара... Вишь какимъ онъ франтомъ сдѣлался, какъ побывалъ опять въ Петербургѣ... Что за коляска!... сколько поклажи!... и лакей такой гордый!...» Эти слова были произнесены съ иронической улыбкой. «Скажите, продолжалъ онъ, обратясь ко мнѣ: ну, что вы объ этомъ думаете?... ну, какой бѣсъ несетъ его теперь въ Персію?... Смѣшно, ей-Богу, смѣшно!... Да я всегда зналъ, что онъ вѣтренный человекъ, на котораго нельзя надѣяться... А, право, жаль, что онъ дурно кончитъ... да и нельзя иначе!... Ужъ я всегда говорилъ, что нѣтъ проку въ томъ, кто старыхъ друзей забываетъ!...» Тутъ онъ отвернулся, чтобы скрыть свое волненіе, и пошелъ ходить по двору около своей повозки, показывая, будто осматриваетъ колеса, тогда какъ глаза его поминутно наполнялись слезами.

— Максимъ Максимычъ, сказалъ я, дошедши къ нему, а что это за бумаги вамъ оставилъ Печоринъ.

— А Богъ его знаетъ! какія-то записки...

— Что вы изъ нихъ сдѣлаете?

— Что? Я велю надѣлать патроновъ.

— Отдайте ихъ лучше мнѣ.

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ, проворчалъ что-то сквозь зубы и началъ рыться въ чемоданѣ; вотъ онъ вынулъ одну тетрадку и бросилъ ее съ презрѣніемъ на землю; потомъ другая, третья и десятая имѣли ту же участь: въ



его досадѣ было что-то дѣтское; мнѣ стало смѣшно и жалко...

— Вотъ онѣ всѣ, сказалъ онѣ; поздравляю васъ съ находкою...

— И я могу дѣлать съ ними все, что хочу?

— Хотя въ газетахъ печатайте. Какое мнѣ дѣло?... Что, я развѣ другъ его какой, или родственникъ?... Правда, мы жили долго подъ одной кровлей... Да мало ли съ кѣмъ я не жилъ?...

Я схватилъ бумаги и поскорѣе унесъ ихъ, боясь, чтобъ штабсъ-капитанъ не раскаялся. Скоро пришли намъ объявить, что черезъ часъ тронется оказія; я велѣлъ закладывать. Штабсъ-капитанъ вошелъ въ комнату въ то время, когда я уже надѣвалъ шапку; онѣ, казалось, не готовился къ отъѣзду; у него былъ какой-то принужденный, холодный видъ.

— А вы, Максимъ Максимычъ, развѣ не ѣдете?

— Нѣтъ-съ.

— А что такъ?

— Да я еще коменданта не видалъ,

а мнѣ надо сдать кой-какія казенныя вещи...

— Да вѣдь вы же были у него?

— Былъ, конечно, сказалъ онѣ, заминаясь, да его дома не было... а я не дождался.

Я понялъ его: бѣдный старикъ въ первый разъ отъ роду, можетъ быть, бросилъ дѣла службы для собственной надобности, говоря языкомъ бумажнымъ, — и какъ же онѣ былъ награжденъ!

— Очень жаль, сказалъ я ему, очень жаль, Максимъ Максимычъ, что намъ до срока надо разстаться.

— Гдѣ намъ, необразованнымъ старикамъ, за вами гоняться!... Вы молодежь свѣтская, гордая; еще покамѣсть подъ черкесскими пулями, такъ вы туда-сюда... а послѣ встрѣтитесь, такъ стыдитесь и руку протянуть нашему брату.

— Я не заслужилъ этихъ упрековъ, Максимъ Максимычъ.

— Да я, знаете, такъ, къ слову говорю; а впрочемъ, желаю вамъ всякаго счастья и вселой дороги.

Мы простились довольно сухо. Добрый Максимъ Максимычъ сдѣлался упрямымъ, сварливымъ штабсъ-капитаномъ. И отчего? Оттого, что Печоринъ, въ разсѣянности, или отъ другой причины, протянулъ ему руку, когда тотъ хотѣлъ кинуться ему на шею. Грустно видѣть, когда юноша теряетъ лучшія свои надежды и мечты, когда предъ нимъ отдергивается розовый флёръ, сквозь который онъ смотрѣлъ на дѣла и чувства человѣческія, хотя есть надежда, что онъ замѣнитъ старыя заблужденія новыми, не менѣе преходящими, но за то не менѣе сладкими... Но чѣмъ ихъ замѣнить въ лѣта Максима Максимыча? По неволѣ сердце очерствѣетъ и душа закроется...

Я уѣхалъ одинъ.

ЖУРНАЛЪ ПЕЧОРИНА.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Недавно я узналъ, что Печоринъ возвращаясь изъ Персіи, умеръ. Это извѣстіе меня очень обрадовало: оно давало мнѣ право печатать эти записки, и я воспользовался случаемъ поставить свое имя надъ чужимъ произведеніемъ. Дай Богъ, чтобъ читатели меня не наказали за такой невинный подлогъ!

Теперь я долженъ нѣсколько объяснить причины, побудившія меня предать публикѣ сердечныя тайны человѣка, котораго я никогда не зналъ. Добро бы я былъ еще его другомъ: коварная нескромность истиннаго друга понятна каждому; но я видѣлъ его только разъ въ моей жизни на большой дорогѣ, слѣдовательно, не могу питать къ нему той неизяснимой ненависти, которая, таясь подъ личиною

дружбы, ожидаетъ только смерти или несчастія любимаго предмета, чтобъ разразиться надъ его головою градомъ упрековъ, совѣтовъ, насмѣшекъ и сожалѣній.

Перечитывая эти записки, я убѣдился въ искренности того, кто такъ безпощадно выставялъ наружу собственныя слабости и пороки. Исторія души человѣческой, хотя бы самой мелкой души, едва ли не любопытнѣе и не полезнѣе исторіи цѣлаго народа, особенно когда она—слѣдствіе наблюденій ума зрѣлаго надъ самимъ собою, и когда она писана безъ тщеславнаго желанія возбудить участіе или удивленіе. Исповѣдь Руссо имѣетъ уже тотъ недостатокъ, что онъ читалъ ее своимъ друзьямъ.

Итакъ, одно желаніе пользы заставило меня напечатать отрывки изъ журнала, доставшагося мнѣ случайно. Хотя я перемѣнилъ всѣ собственныя имена, но тѣ, о которыхъ въ немъ говорится, вѣроятно, себя узнаютъ и, можетъ быть, они найдутъ оправданія поступкамъ, въ которыхъ до сей поры обвиняли человѣка, уже не имѣющаго отнынѣ ничего общаго съ здѣшнимъ міромъ: мы почти всегда извиняемъ то, что понимаемъ.

Я помѣстилъ въ этой книгѣ только то, что относилось къ пребыванію Печорина на Кавказѣ. Въ моихъ рукахъ осталась еще толстая тетрадь, гдѣ онъ разсказываетъ всю жизнь свою. Когда нибудь и она явится на судъ свѣта; но теперь я не смѣю взять на себя эту отвѣтственность по многимъ важнымъ причинамъ.

Можетъ быть, нѣкоторые читатели захотятъ узнать мое мнѣніе о характерѣ Печорина. Мой отвѣтъ — заглавіе этой книги. «Да это злая иронія!» скажутъ они.—Не знаю.



I.

Тамань — самый скверный городишка изъ всѣхъ приморскихъ городовъ Россіи. Я тамъ чуть-чуть не умеръ съ голода, да еще въ добавокъ меня хотѣли утопить. Я пріѣхалъ на перекладной тележкѣ поздно ночью. Ямщикъ остановилъ усталую тройку у воротъ единственного каменнаго дома, что при вѣздѣ. Часовой, черноморскій казакъ, услышавъ звонъ колокольчика, закричалъ съ просонья дикимъ голосомъ: «кто идетъ?» Вышелъ урядникъ и десятникъ. Я имъ объяснилъ, что я офицеръ, ѣду въ дѣйствующій отрядъ по казенной надобности, и сталъ требовать казенную квартиру. Десятникъ насъ повелъ по городу. Къ которой избѣ ни подъѣдемъ—занята. Было холодно: я три ночи не спалъ, измучился и началъ сердиться.—Веди меня куда-нибудь, разбойникъ! хоть къ чорту, только къ мѣсту! закричалъ я.—«Есть еще одна фатера», отвѣчалъ десятникъ, почесывая затылокъ, «только вашему благородію не понравится: тамъ нечисто!» Не понявъ точнаго значенія послѣдняго слова, я велѣлъ ему идти впередъ, и послѣ долгаго странствованія по грязнымъ переулкамъ, гдѣ по сторонамъ я видѣлъ одни только вет-

хіе заборы, мы подѣхали къ небольшой хатѣ на самомъ берегу моря.

Полный мѣсяцъ свѣтилъ на камышевую крышку и бѣлыя стѣны моего новаго жилища; на дворѣ, обведенномъ оградой изъ булыжника, стояла, избогачась, другая лачужка, менѣе и древнѣе первой. Берегъ обрывомъ спускался къ морю почти у самыхъ стѣнъ ея, и внизу съ непрерывнымъ ропотомъ плескались темносинія волны. Луна тихо смотрѣла на безпкойную, но покорную ей сти-

хію, и я могъ различить при свѣтѣ ея, далеко отъ берега, два корабля, которыхъ черныя снасти, подобно паутинѣ, неподвижно рисовались на блѣдной чертѣ небосклона. «Суда въ пристани есть, подумалъ я: завтра отправлюсь въ Геленджикъ.»

При мнѣ исправлялъ должность денщика линейскій казакъ. Велѣвъ ему выложить чемоданъ и отпустить извозчика, я сталъ звать хозяина—молчать; стучу—молчать... что это? Наконецъ изъ сѣней выползъ мальчикъ лѣтъ четырнадцати.

— «Гдѣ хозяинъ?» — Не-мѣ. — «Какъ со-всѣмъ-нѣту?» — Совсимъ. — «А хозяйка?» — Побигла въ слободку. — «Кто же мнѣ отпереть дверь?» сказалъ я, ударивъ въ нее ногою. Дверь сама отворилась; изъ хаты повѣяло сыростью. Я засвѣтилъ сѣрную спичку и поднесъ ее къ носу мальчика: она озарила два бѣлые глаза. Онъ былъ слѣпой, совершенно слѣпой отъ природы. Онъ стоялъ передо мною неподвижно и я началъ разсматривать черты его лица.

Признаюсь, я имѣю сильное предубѣжденіе противъ всѣхъ слѣпыхъ, кривыхъ, глухихъ, нѣмыхъ, безногихъ, безрукихъ, горбатыхъ и проч. Я замѣчалъ, что всегда есть какое-то странное отношеніе между

наружностью человека и его душою; какъ будто, съ потерей члена, душа теряетъ какое нибудь чувство.

И такъ, я началъ разсматривать лицо слѣпаго; но что прикажете прочитать на лицѣ, у котораго нѣтъ глазъ?... Долго я глядѣлъ на него съ невольнымъ сожалѣніемъ, какъ вдругъ едва примѣтная улыбка пробѣжала по тонкимъ губамъ его и, не знаю отчего, она произвела на меня самое непріятное впечатлѣніе. Въ головѣ моей родилось подозрѣніе, что этотъ слѣпой не такъ слѣпъ, какъ оно кажется; напрасно я старался увѣрить себя, что бѣлымы поддѣлать невозможно, да и съ какой цѣлью? Но что дѣлать?—я часто склоненъ къ предубѣжденіямъ...

— «Ты хозяйскій сынъ?» спросилъ я его наконецъ.—Ни.—«Кто же ты?»—Сирота убогій.—«А у хозяйки есть дѣти?»—Ни; была дочь, да утикла за море съ татаринѣмъ.—«Съ какимъ татаринѣмъ?»—А бисъ его знаетъ! крымскій татаринъ, лодочникъ изъ Керчи.

Я вошелъ въ хату: двѣ лавки и столъ, да огромный сундукъ возлѣ печи составляли всю ея мебель. На стѣнѣ ни одного образа—дурной знакъ! Въ разбитое стекло врывался морской вѣтеръ. Я вытащилъ изъ чемодана восковой огарокъ, и, засвѣтивъ его, сталъ раскладывать вещи, поставилъ въ уголокъ шашку и ружье, пистолеты положилъ на столъ, разостлалъ бурку на лавкѣ, казакъ свою на другой; черезъ десять минутъ онъ захрапѣлъ, но я не могъ заснуть: передо мной во мракѣ все вертѣлся мальчикъ съ бѣлыми глазами.

Такъ прошло около часа. Мѣсяцъ свѣтилъ въ окно и лучъ его игралъ по земляному полу хаты. Вдругъ на яркой полостѣ, пересѣкающей полъ, промелькнула тѣнь. Я привсталъ и взглянулъ въ окно; кто-то вторично пробѣжалъ мимо его и скрылся. Богъ знаетъ куда. Я не могъ полагать, чтобъ это существо сбѣжало

по отвѣсу берега; однако иначе ему некуда было дѣваться. Я всталъ, накинулъ бешметъ, опоясалъ кинжалъ и тихо-тихо вышелъ изъ хаты; на встрѣчу мнѣ слѣпой мальчикъ. Я притаился у забора, и онъ вѣрной, но осторожной поступью прошелъ мимо меня. Подъ мышкой онъ несъ какой-то узелъ и, повернувшись къ пристани, сталъ спускаться по узкой и крутой тропинкѣ. «Въ тотъ день нѣмцы возопіютъ и слѣпые прозрѣтъ», подумалъ я, слѣдуя за нимъ въ такомъ разстояніи, чтобъ не терять его изъ вида.

Между тѣмъ луна начала одѣваться туманами и на морѣ поднялся туманъ; едва сквозь него свѣтился фонарь на кормѣ ближняго корабля; у берега сверкала пѣна валуновъ, ежеминутно грозящихъ его потопить. Я, съ трудомъ спускаясь, пробиравшись по крутизнамъ, и вотъ вижу: слѣпой пріостановился, потомъ повернулъ низомъ направо; онъ шелъ такъ близко отъ воды, что, казалось, сейчасъ волна его схватитъ и унесетъ; но, видно это была не первая его прогулка, судя по увѣренности, съ которой онъ ступалъ съ камня на камень и избѣгалъ рывтинъ. Наконецъ онъ остановился, будто прислушиваясь къ чему-то, присѣлъ на землю и положилъ возлѣ себя узелъ. Я наблюдалъ за его движеніями, спрятавшись за выдававшуюся скалою берега. Спустя нѣсколько минутъ, съ противоположной стороны показалась бѣлая фигура; она подошла къ слѣпому и сѣла возлѣ него. Вѣтеръ по временамъ приносилъ мнѣ ихъ разговоръ.

— Что, слѣпой? сказалъ женскій голосъ:—буря сильна; Янко не будетъ.—Янко не боится бури, отвѣчалъ тотъ.—Туманъ густѣетъ, возразилъ опять женскій голосъ, съ выраженіемъ печали.

— Въ туманѣ лучше пробраться мимо сторожевыхъ судовъ, былъ отвѣтъ.—А если онъ утонетъ?—Ну, что жъ? въ воскресенье ты пойдешь въ церковь безъ новой ленты.

Послѣдовало молчаніе; меня, однако, поразило одно: слѣпой говорилъ со мной малороссійскимъ нарѣчіемъ, а теперь изъяснялся чисто по русски.

— Видишь, я правъ, сказалъ опять слѣпой, ударивъ въ ладоши:—Янко не боится ни моря, ни вѣтровъ, ни тумана, ни береговыхъ сторожей; прислушайся-ка: это не вода плещетъ, меня не обманешь—это его длинныя весла.

Женщина вскочила и стала всматриваться въ даль съ видомъ безпокойства.

— Ты бредишь, слѣпой! сказала она: я ничего не вижу.

Признаюсь, сколько я ни старался различить вдаль что-нибудь на подобіе лодки, но безуспѣшно. Такъ прошло минутъ десять; и вотъ показалась между горами волнъ черная точка: она то увеличивалась, то уменьшалась. Медленно поднимаясь на хребты волнъ, быстро спускаясь съ нихъ, приближалась къ берегу лодка. «Отваженъ былъ пловецъ, рѣшившійся въ такую ночь пуститься черезъ проливъ на разстояніе двадцати верстъ, и важная должна быть причина, его къ тому побудившая». Думая такъ, я съ невольнымъ біеніемъ сердца, глядѣлъ на бѣдную лодку; но она, какъ утка, ныряла, и потомъ быстро взмахнувъ веслами, будто крыльями, выскакивала изъ пропасти среди брызговъ пѣны; и вотъ, я думалъ, она ударится съ размаха объ берегъ и разлетится въ дребезги; но она ловко повернулась бокомъ и вскочила въ маленькую бухту невредима. Изъ нея вышелъ человѣкъ средняго роста, въ татарской бараньей шапкѣ; онъ махнулъ рукою—и всѣ трое принялись вытаскивать что-то изъ лодки; грузъ былъ такъ великъ, что я до сихъ поръ не понимаю, какъ она не потонула. Взявъ на плечи каждый по узлу, они пустились вдоль по берегу, и скоро я потерялъ ихъ изъ вида. Надо было вернуться домой; но, признаюсь, всѣ эти

странности меня тревожили, и я насилу дождался утра.

Казакъ мой былъ очень удивленъ, когда, проснувшись, увидѣлъ меня совсѣмъ одѣтаго; я ему, однако жъ, не сказалъ причины. Полюбовавшись нѣсколько времени изъ окна на голубое небо, усыянное разорванными облачками, на дальній берегъ Крыма, который тянется лиловой полосой и кончается утесомъ, на вершинѣ коего бѣлѣтся маячная башня, я отправился въ крѣпость Фанагорію, чтобы узнать отъ коменданта о часѣ моего отъѣзда въ Геленджикъ.

Но—увы! комендантъ ничего не могъ сказать мнѣ рѣшительнаго. Суда, стоящіе въ пристани, были всѣ или сторожевыя, или купеческія, которыя еще даже не начинали нагружаться.—«Можетъ быть, дня черезъ три, четыре прійдетъ почтовое судно, сказалъ комендантъ:—и тогда мы увидимъ». Я вернулся домой утрюмъ и сердитъ. Меня въ дверяхъ встрѣтилъ казакъ мой съ испуганнымъ лицомъ.

— Плохо ваше благородіе! сказалъ онъ мнѣ.

— Да, братъ, Богъ знаетъ, когда мы отсюда уѣдемъ!

Тутъ онъ еще больше встревожился и, наклонясь ко мнѣ, сказалъ шопотомъ:—здѣсь нечисто! я встрѣтилъ сегодня черноморскаго урядника; онъ мнѣ знакомъ—былъ прошлаго года въ отрядѣ; какъ я ему сказалъ, гдѣ мы остановились, а онъ мнѣ: здѣсь, братъ, нечисто, люди недобрые!... Да и въ самомъ дѣлѣ, что это за слѣпой.... ходитъ вездѣ одинъ, и на базаръ за хлѣбомъ и за водой... ужъ, видно здѣсь къ этому привыкли.

— Да чтожъ? покрайней мѣрѣ, показалась ли хозяйка?...

— Сегодня безъ васъ пришла старуха и съ ней дочь.

— Какая дочь? у нея нѣтъ дочери.—А Богъ ее знаетъ, кто она, коли не дочь; да вонъ старуха сидитъ теперь въ своей хатѣ.

Я вошелъ въ лачужку. Печь была жарко натоплена, и въ ней варился обѣдъ довольно роскошный для бѣдняковъ. Старуха на всѣ мои вопросы отвѣчала, что она глуха, не слышитъ. Что было съ ней дѣлать? Я обратился къ слѣпому, который сидѣлъ передъ печью и подкладывалъ въ огонь хворостъ. «Ну-ка, слѣпой чертенокъ сказалъ я, взявъ его за ухо: — говори, куда ты ночью таскался съ узломъ—а?» Вдругъ мой слѣпой заплакалъ, закричалъ, заохалъ: куда я ходивъ?... никуда не ходивъ... съ узломъ?... якимъ узломъ? — Старуха на этотъ разъ услышала и стала ворчать: «Вотъ выдумываютъ, да еще на убогаго! За что вы его? что онъ вамъ сдѣлалъ?» Мнѣ это надоѣло и я вышелъ, твердо рѣшившись достать ключъ этой загадки.

Я завернулся въ бурку и сѣлъ у забора на камень, поглядывая въ даль; передо мною тянулось ночью бурю взволнованное море, и однообразный шумъ его, подобный ропоту засыпающаго города, напомнилъ мнѣ старые годы, перенесъ мои мысли на сѣверъ, въ нашу холодную столицу. Волнуемый воспоминаніями, я забылся... Такъ прошло около часа; можетъ быть и болѣе... Вдругъ что-то похожее на пѣсню поразило мой слухъ. Точно это была пѣсня, и женскій свѣжій голосокъ—но откуда?... Прислушиваюсь: напѣвъ стройный—то протяжный и печальный, то быстрый и живой. Оглядываюсь—никого нѣтъ кругомъ; прислушиваюсь снова—звуки какъ будто падаютъ съ неба. Я поднялъ глаза: на крышѣ хаты моей стояла дѣвушка въ полосатомъ платьѣ, съ распущенными косами, настоящая русалка. Защитивъ глаза ладонью отъ

солнца, она пристально всматривалась въ даль, то смѣялась и разсуждала сама съ собой, то запѣвала снова пѣсню.

Я запомнилъ эту пѣсню отъ слова до слова.



Какъ по вольной волюшкѣ—
По зелену морю,
Ходятъ все кораблики
Бѣлопарусники.

Промежъ тѣхъ корабликовъ
Моя лодочка
Лодка не снащенная
Двухвесельная.

Буря ль разыграется—
Старые кораблики
Приподнимутъ крылышки,
По морю размечутся.

Стану морю кланяться
Я низехонько:
«Ужъ не тронь ты, злое море,
Мою лодочку:

Везетъ моя лодочка
Вещи драгоцѣнныя,
Править ея въ темну ночь
Буйная головушка».

Мнѣ невольно пришло на мысль, что ночью я слышалъ тотъ же голосъ; я на минуту задумался, и когда снова посмотрѣлъ на крышу, дѣвушки тамъ не было. Вдругъ она пробѣжала мимо меня, напѣвая что-то другое, и, прищелкивая пальцами, вбѣжала къ старухѣ, и тутъ начался между ними споръ. Старуха сердилась, она громко хохотала. И вотъ вижу, бѣжить опять въ припрыжку моя ундина; поровнявшись со мной, остановилась и пристально посмотрѣла мнѣ въ глаза, какъ будто удивленная моимъ присутствіемъ; потомъ небрежно обернулась и тихо пошла къ пристани. Этимъ не кончилось: цѣлый день она вертѣлась около моей квартиры; пѣнье и прыганье не прекращались ни на минуту. Странное существо! На лицѣ ея не было никакихъ признаковъ безумія; напротивъ, глаза ея съ бойкою пронизательностію останавливались на мнѣ, и эти глаза, казалось, были одарены какою-то магнетическою властью, и всякій разъ они какъ будто бы ждали вопроса. Но только я начиналъ говорить, она убѣгала, коварно улыбаясь.

Рѣшительно, я никогда подобной женщины не видывалъ. Она была далеко не красавица, но я имѣю свои предубѣжденія также и на счетъ красоты. Въ ней было много породы... порода въ женщинахъ, какъ и въ лошадяхъ, великое дѣло: это открытіе принадлежитъ юной Франціи. Она, т. е. порода, а не юная Франція, большею частью изобличается въ поступи, въ рукахъ и ногахъ; особенно ность очень много значитъ. Правильный ность въ Россіи рѣже маленькой ножки. Моей пѣвунѣ казалось не болѣе 18 лѣтъ. Необыкновенная гибкость ея стана, особенное, ей только свойственное, наклоненіе головы, длинные русые волосы, какой-то золотистый отливъ ея слегка загорѣлой кожи на шеѣ и плечахъ, и особенно правильный ность—все это было для меня обворожительно. Хотя въ ея

косвенныхъ взглядахъ я читалъ что-то дикое и подозрительное, хотя въ ея улыбкѣ было что-то неопредѣленное, но такова сила предубѣждений: правильный ность свелъ меня съ ума; я вообразилъ, что нашелъ Гётеву Миньйону—это причудливое созданіе его нѣмецкаго воображенія; и, точно, между ими было много сходства: тѣ же быстрые переходы отъ величайшаго безпокойства къ полной неподвижности, тѣ же загадочныя рѣчи, тѣ же прыжки, странныя пѣсни...

Подъ вечеръ, остановивъ ее въ дверяхъ, я завелъ съ нею слѣдующій разговоръ:

— Скажи-ка мнѣ, красавица, спросилъ я:—что ты дѣлала сегодня на кровлѣ?—А смотрѣла, откуда вѣтеръ дуетъ.—За чѣмъ тебѣ?—Откуда вѣтеръ, оттуда и счастье.—Что же? развѣ ты пѣсней зывала счастье?—Гдѣ поется, тамъ и счастливится.—А какъ неравно напоешь себя горе?—Ну, что жъ? гдѣ не будетъ лучше, тамъ будетъ хуже, а отъ худа до добра опять не далеко.—Кто жъ тебя выучилъ эту пѣсню?—Никто не выучилъ; вздумается—запою; кому услышать, тотъ услышитъ; а кому не должно слышать, тотъ не пойметъ.—А какъ тебя зовутъ, моя пѣвунья?—Кто крестилъ, тотъ знаетъ.—А кто крестилъ?—Почему я знаю.—Экая скрытная! А вотъ я кое-что про тебя узналъ [она не измѣнилась въ лицѣ, не пошевелила губами, какъ будто не объ ней дѣло]. Я узналъ, что ты вчера ночью ходила на берегъ.—И тутъ я очень важно пересказалъ ей все, что видѣлъ, думая смутить ее; нimalo! Она захохотала во все горло.—Много видѣли, да мало знаете; а что знаете, такъ держите подъ замочкомъ.—А если бъ я, напримеръ, вздумалъ донести коменданту?—и тутъ я сдѣлалъ очень серьезную, даже строгую мину. Она вдругъ прыгнула, запѣла и скрылась, какъ птичка, выпутнутая изъ кустарника. Послѣднія слова мои

были вовсе не умѣста; я тогда не подозревалъ ихъ важности, но въ послѣдствіи имѣлъ случай въ нихъ раскаяться.

Только что смерклося, я велѣлъ казаку нагрѣть чайникъ по походному, засвѣтилъ свѣчу и сѣлъ у стола, покуривая изъ дорожной трубки. Ужъ я доканчивалъ второй стаканъ чая, какъ вдругъ дверь скрипнула, легкій шорохъ платья и шаговъ послышался за мной; я вздрогнулъ и обернулся—то была она, моя ундина. Она сѣла противъ меня тихо и безмолвно, и устремила на меня глаза свои, и, не знаю почему, но этотъ взоръ показался мнѣ чудно нѣженъ; онъ мнѣ напомнилъ одинъ изъ тѣхъ взглядовъ, которые въ старые годы такъ самовластно играли моею жизнью. Она, казалось, ждала вопроса, но я молчалъ, полный неизъяснимаго смущенія. Лицо ея было покрыто тусклою блѣдностью, изобличавшей волненіе душевное; рука ея безцѣли бродила по столу, и я замѣтилъ въ ней легкій трепетъ; грудь ея то высоко подымалась, то, казалось, она удерживала дыханіе. Эта комедія начинала мнѣ надоедать, и я готовъ былъ прервать молчаніе самымъ прозаическимъ образомъ, то есть предложить ей стаканъ чая, какъ вдругъ она вскочила, обвила руками мою шею, и влажный, огненный поцѣлуй прозвучалъ на губахъ моихъ. Въ глазахъ у меня потемнѣло, голова закружилась, я сжалъ ее въ моихъ объятіяхъ со всею силою юношеской страсти, но она, какъ змѣя, скользнула между моими руками, шепнувъ на ухо: «нынче ночью, какъ всѣ уснутъ, выходи на берегъ», и стрѣлою выскочила изъ комнаты. Въ сѣняхъ она опрокинула чайникъ и свѣчу, стоящую на полу. «Экой бѣсъ-дѣвка!» закричалъ казакъ, расположившійся на соломѣ и мечтавшій согрѣться остатками чая. Только тутъ я опомнился.

Часа черезъ два, когда все на пристани умолкло, я разбудилъ своего казака. «Если

я выстрѣлю изъ пистолета, скажешь я ему, то бѣги на берегъ». Онъ выпучилъ глаза и машинально отвѣчалъ: «слушаю, ваше благородіе». Я заткнулъ за поясъ пистолетъ и вышелъ. Она дожидалась меня на краю спуска; ея одежда была болѣе нежели легкая, небольшой платокъ опоясывалъ ея гибкій станъ.

— Идите за мной! сказала она, взявъ меня за руку, и мы стали спускаться. Не понимаю, какъ я не сломилъ себѣ шеи; внизу мы повернули направо и пошли по той же дорогѣ, гдѣ наканунѣ я слѣдовалъ за слѣпымъ. Мѣсяцъ еще не вставалъ и только двѣ звѣздочки, какъ два спасительные маяка, сверкали на темносинемъ сводѣ. Тяжелыя волны мѣрно и ровно катились одна за другой, едва приподнимая одинокую лодку, причаленную къ берегу. «Войдемъ въ лодку», сказала моя спутница. Я колебался—я не охотникъ до сантиментальныхъ прогулокъ по морю; но отступать было не время. Она прыгнула въ лодку, я за ней, и не успѣлъ еще опомниться, какъ замѣтилъ, что мы плывемъ. «Что это значитъ?» сказалъ я сердито.—«Это значитъ, отвѣчала она, сажая меня на скамью и обвивъ мой станъ руками:—это значитъ, что я тебя люблю...» И щека ея прижалась къ моей, и я почувствовалъ на лицѣ моемъ ея пламенное дыханіе. Вдругъ что-то шумно упало въ воду; я хватъ за поясъ—пистолета нѣтъ. О, тутъ ужасное подозрѣніе закралось мнѣ въ душу, кровь хлынула мнѣ въ голову! Оглядываюсь—мы отъ берега около пятидесяти сажень, а я не умѣю плавать! Хочу оттолкнуть ее отъ себя—она, какъ кошка, вцѣпилась въ мою одежду, и вдругъ сильный толчокъ едва не сбросилъ меня въ море. Лодка качалась, но я справился, и между нами началась отчаянная борьба; бѣшенство придавало мнѣ силы, но я скоро замѣтилъ, что уступаю моему противнику въ ловкости... «Чего ты хочешь!» закричалъ

я, крѣпко сжавъ ея маленькія руки; пальцы ея хрустѣли, но она не вскрикнула: ея змѣнная натура выдержала эту пытку.

— Ты видѣлъ, отвѣчала она: ты донесешь! и сверхъестественнымъ усиліемъ повалила меня на бортъ; мы оба по поясъ свѣсились изъ лодки; ея волосы касались воды; минута была рѣшительная. Я уперся колѣнкою въ дно, схватилъ ее одной рукой за косу, другой за горло, она выпустила мою одежду, и я мгновенно сбросилъ ее въ волны.

Было уже довольно темно; голова ее мелькнула раза два среди морской пѣны, и больше я ничего не видалъ...

На днѣ лодки я нашелъ половину стараго весла, и кое-какъ, послѣ долгихъ усилій, причалилъ къ пристани. Пробираясь берегомъ къ своей хатѣ, я невольно всматривался въ ту сторону, гдѣ накануне слѣпой дожидался ночнаго пловца. Луна уже катилась по небу и мнѣ показалось, что кто-то въ бѣломъ сидѣлъ на берегу; я подкрался, подстрекаемый любопытствомъ, и прилегъ въ травѣ надъ обрывомъ берега; высунувъ немного голову, я могъ хорошо видѣть съ утеса все, что внизу дѣлалось, и не очень удивился, а почти обрадовался, узнавъ мою русалку. Она выжимала морскую пѣну изъ длинныхъ волосъ своихъ; мокрая рубашка обрисовывала гибкій станъ ея и высокую грудь. Скоро показалась вдали лодка: быстро приблизилась она; изъ нея, какъ накануне, вышелъ человѣкъ въ татарской шапкѣ, но остриженъ онъ былъ показавши, и за ременнымъ поясомъ его торчалъ большой ножъ. «Янко, сказала она: все пропало!» Потомъ разговоръ ихъ продолжался, но такъ тихо, что я ничего не могъ разслушать.—А гдѣ же слѣпой? сказалъ наконецъ Янко, возвыся голосъ. «Я его послала», былъ отвѣтъ. Черезъ нѣсколько минутъ явился слѣпой, таща на спинѣ мѣшокъ, который положили въ лодку.

— Послушай, слѣпой! сказалъ Янко: — ты береги то мѣсто... знаешь? тамъ богатые товары... скажи [имени я не разслушалъ], что я ему больше не слуга; дѣла пошли худо, онъ меня больше не увидитъ; теперь опасно; поѣду искать работы въ другомъ мѣстѣ, а ему ужъ такого удалца не найти. Да скажи, кабы онъ получше платилъ за труды, такъ и Янко бы его не покинулъ; а мнѣ вездѣ дорога, гдѣ только вѣтеръ дуетъ и море шумитъ!—Послѣ нѣкотораго молчанія Янко продолжалъ: она поѣдетъ со мною; ей нельзя здѣсь оставаться; а старухѣ скажи, что, дескать, пора умирать, зажи-лась, надо знать и честь. Насъ же больше не увидитъ.

— А я? сказалъ слѣпой жалобнымъ голосомъ.

— На что мнѣ тебя? былъ отвѣтъ.

Между тѣмъ моя ундина вскочила въ лодку и махнула товарищу рукою; онъ что-то положилъ слѣпому въ руку, примолвивъ: «На, купи себѣ пряниковъ».—Только? сказалъ слѣпой. «Ну, вотъ тебѣ еще»—и упавшая монета зазвенѣла, ударясь о камень. Слѣпой ея не поднималъ. Янко сѣлъ въ лодку; вѣтеръ дулъ отъ берега; они подняли маленькій парусъ и быстро понеслись. Долго при свѣтѣ мѣсяца мелькалъ бѣлый парусъ между темныхъ волнъ; слѣпой все сидѣлъ на берегу, и вотъ мнѣ послышалось что-то похожее на рыданіе: слѣпой мальчикъ точно плакалъ, и долго, долго... Мнѣ стало грустно. И зачѣмъ было судьбѣ кинуть меня въ мирный кругъ честныхъ контрабандистовъ? Какъ камень, брошенный въ гладкій источникъ, я встревожилъ ихъ спокойствіе, и какъ камень едва самъ не пошелъ ко дну!

Я возвратился домой. Въ сѣняхъ трещала догоравшая свѣча въ деревянной тарелкѣ, и казакъ мой, вопреки приказанію, спалъ крѣпкимъ сномъ, держа ружье обѣими руками. Я его оставилъ въ покоѣ,



взялъ свѣчу и вошелъ въ хату. Увы! моя шкатулка, шашка съ серебряной оправой, дагестанскій кинжалъ—подарокъ пріятеля, все исчезло. Тутъ-то я догадался, какія вещи тащилъ проклятый слѣпой. Разбудивъ казака довольно невѣжливо толчкомъ, я побранилъ его, посердился, а дѣлать было нечего! И не смѣшно ли было бы жаловаться начальству, что слѣпой мальчикъ меня обокралъ, а восемнадцатилѣтняя дѣвушка чуть-чуть не утопила? Слава Богу, поутру явилась возможность ѣхать, и я оставилъ Тамань. Что случилось съ старухой и съ бѣднымъ слѣпымъ—не знаю. Да и какое дѣло мнѣ до радостей и бѣдствій человѣческихъ, мнѣ, странствующему офицеру, да еще съ подорожной по казенной надобности!...

II.

КНЯЖНА МЕРИ.

11-го мая.

Вчера я пріѣхалъ въ Пятигорскъ, нанялъ квартиру на краю города, на самомъ высокомъ мѣстѣ у подошвы Машука: во время грозы облака будутъ спускаться до моей кровли. Нынче въ пять часовъ утра, когда я открылъ окно, моя комната наполнилась запахомъ цвѣтовъ, растущихъ въ скромномъ полисадникѣ. Вѣтки цвѣтушихъ черешень смотрятъ мнѣ въ окно и вѣтеръ иногда усыпаетъ мой письменный столъ ихъ бѣлыми лепестками. Видъ съ трехъ сторонъ у меня чудесный: на западъ пятиглавый Бѣшту синѣетъ, какъ «послѣдняя туча разсѣянной бури»; на сѣверъ поднимается Машукъ, какъ мохнатая персидская шапка, и закрываетъ всю эту часть небосклона; на востокъ смотрѣтъ веселѣе: внизу передо мною пестрѣтъ чистенькій, новенькій городокъ, шумятъ цѣлебные ключи, шумитъ разноязычная толпа, — а тамъ дальше, амфитеатромъ громоздятся горы все синѣе и туманнѣе,

а на краю горизонта тянется серебряная цѣпь снѣговыхъ вершинъ, начинаясь Казбекомъ и оканчиваясь двуглавымъ Эльбурсомъ... Весело жить въ такой землѣ! Какое-то отрадное чувство разлито во всѣхъ моихъ жилахъ. Воздухъ чистъ и свѣжъ, какъ пошлѣй ребенка; солнце ярко, небо синѣ—чего бы, кажется, больше? Зачѣмъ тутъ страсти, желанія, сожалѣнія?... Однако пора. Пойду къ Елизаветинскому источнику: тамъ, говорятъ, утромъ собирается все водяное общество.

Спустился въ середину города, я пошелъ бульваромъ, гдѣ встрѣтилъ нѣсколько печальныхъ группъ, медленно поднимающихся въ гору; то были большею частію семейства степныхъ помѣщиковъ: объ этомъ можно было тотчасъ догадаться по истертымъ старомоднымъ сюртукамъ мужей и по изысканнымъ нарядамъ женъ и дочерей. Видно, у нихъ вся водяная молодежь была уже на перечеѣ, потому что они на меня посмотрѣли съ нѣжнымъ любопытствомъ: петербургскій покррой сюртука ввелъ ихъ въ заблужденіе, но скоро, узнавъ армейскіе эполеты, они съ негодованіемъ отвернулись.

Жены мѣстныхъ властей, такъ сказать хозяйки водъ, были благосклоннѣе: у нихъ есть лорнеты; онѣ менѣе обращаютъ вниманія на мундиръ; онѣ привыкли на Кавказѣ встрѣчать подъ нумерованной пуговицей пылкое сердце, и подъ бѣлой фуражкой образованный умъ. Эти дамы очень милы, и долго милы! Всякій годъ ихъ обожатели смѣняются новыми, и въ этомъ-то, можетъ быть, секретъ ихъ неутомимой любезности. Подымаясь по узкой тропинкѣ къ Елизаветинскому источнику, я обогналъ толпу мужчинъ статскихъ и военныхъ, которые, какъ я узналъ послѣ, составляютъ особенный классъ людей между чающими движенія воды. Они пьютъ — однако не воду, гуляютъ

мало, волочатся только мимоходомъ: они играютъ и жалуются на скуку. Они франты: опуская свой оплетенный стаканъ въ колодезь кислосѣрной воды, они принимаютъ академическія позы; статскіе носятъ свѣтло-голубые галстуки, военные выпускаютъ изъ-за воротника брыжжи. Они исповѣдываютъ глубокое презрѣніе къ провинціальнымъ дамамъ и вздыхаютъ о столичныхъ аристократическихъ гостинныхъ, куда ихъ не пускаютъ.

Наконецъ вотъ и колодезь... На площадкѣ, близъ него, построенъ домикъ съ красной кровлей надъ ванной, а подальше галерея, гдѣ гуляютъ во время дождя. Нѣсколько раненыхъ офицеровъ сидѣло на лавкѣ, подобравъ костыли—блѣдные, грустные. Нѣсколько дамъ скорыми шагами ходило взадъ и впередъ по площадкѣ, ожидая дѣйствія водъ. Между ими были два-три хорошенькія личика. Подъ виноградными аллеями, покрывающими скатъ Машука, мелькала порой пестрая шляпка любительницы уединенія вдвоемъ, потому что всегда возлѣ такой шляпки я замѣчалъ или военную фуражку, или безобразную круглую шляпу. На крутой скалѣ, гдѣ построенъ павильонъ, называемый Эоловой Арфой, торчали любители видовъ и наводили телескопъ на Эльбурсъ; между ими были два гувернера съ своими воспитанниками, пріѣхавшими лечиться отъ золотухи.

Я остановился, запыхавшись, на краю горы, и, прислонясь къ углу домика, сталъ разсматривать живописную окрестность, какъ вдругъ слышу за собой знакомый голосъ:

— Печоринъ! давно ли здѣсь?

Оборачиваюсь: Грушницкій! Мы обнялись. Я познакомился съ нимъ въ дѣйствующемъ отрядѣ. Онъ былъ раненъ пулей въ ногу и поѣхалъ на воды, съ недѣлю прежде меня.

Грушницкій—юнкеръ. Онъ только годъ въ службѣ; носитъ, по особенному роду

франтовства, толстую солдатскую шинель. У него георгіевскій солдатскій крестикъ. Онъ хорошо сложенъ, смугль и черно-волосъ; ему на видъ можно дать 25 лѣтъ, хотя ему едва ли 21 годъ. Онъ закидываетъ голову назадъ, когда говоритъ, и поминутно крутитъ усы лѣвой рукой, ибо правою опирается на костыль. Говоритъ онъ скоро и вычурно; онъ изъ тѣхъ людей, которые на всѣ случаи жизни имѣютъ готовые пышныя фразы, которыхъ просто прекрасное не трогаетъ, и которые важно драпируются въ необыкновенныя чувства, возвышенныя страсти и исключительныя страданія. Производитъ эффектъ—ихъ наслажденіе; они нравятся романтическимъ провинціалкамъ до безумія. Подъ старость они дѣлаются либо мирными помѣщиками, либо пьяницами; иногда тѣмъ и другимъ. Въ ихъ душѣ часто много добрыхъ свойствъ, но ни на грошъ поэзіи. Грушницкаго страсть была декламировать: онъ закидывалъ васъ словами, какъ скоро разговоръ выходилъ изъ круга обыкновенныхъ понятій; спорить съ нимъ я никогда не могъ. Онъ не отвѣчаетъ на ваши возраженія, онъ васъ не слушаетъ. Только-что вы остановитесь, онъ начинаетъ длинную тираду, по видимому имѣющую какую-то связь съ тѣмъ, что вы сказали, но которая въ самомъ дѣлѣ есть только продолженіе его собственной рѣчи.

Онъ довольно остеръ, эпиграммы его часто забавны, но никогда не бываютъ мѣтки и злы: онъ никого не убьетъ однимъ словомъ; онъ не знаетъ людей и ихъ слабыхъ струнъ, потому что занимался цѣлую жизнь однимъ собою. Его цѣль—сдѣлаться героемъ романа. Онъ такъ часто старался увѣрить другихъ въ томъ, что онъ существо не созданное для міра, обреченное какимъ-то тайнымъ страданіямъ, что онъ самъ почти въ этомъ увѣрился. Оттого онъ такъ гордо носитъ свою толстую солдатскую шинель. Я его

понялъ, и онъ за это меня не любитъ, хотя мы наружно въ самыхъ дружескихъ отношеніяхъ. Грушницкій слыветъ отличнымъ храбрецомъ; я его видѣлъ въ дѣлѣ: онъ махаетъ шашкой, кричитъ и бросается впередъ, зажимая глаза. Это что-то не русская храбрость!...

Я его также не люблю: я чувствую, что мы когда нибудь съ нимъ столкнемся на узкой дорогѣ — и одному изъ насъ не сдобровать.

Пріѣздъ его на Кавказъ — также слѣдствіе его романтическаго фанатизма. Я увѣренъ, что наканунѣ отъѣзда изъ отцовской деревни, онъ говорилъ съ мрачнымъ видомъ какой нибудь хорошенькой сосѣдки, что онъ ѣдетъ не такъ, просто, служить, но что ищетъ смерти, потому что... тутъ онъ, вѣрно, закрывъ глаза рукою, продолжаетъ такъ: «нѣтъ, вы [или ты] этого не должны знать! Ваша чистая душа содрогнется! Да къ чему? Что я для васъ? Поймете ли вы меня?...» и такъ далѣе.

Онъ мнѣ самъ говорилъ, что причина, побудившая его вступить въ К. полкъ, останется вѣчною тайною между имъ и небесами.

Впрочемъ, въ тѣ минуты, когда сбрасываетъ трагическую мантию, Грушницкій довольно милъ и забавенъ. Мнѣ любопытно видѣть его съ женщинами: тутъ-то, я думаю, старается!

Мы встрѣтились старыми пріятелями. Я началъ его разспрашивать объ образѣ жизни на водахъ и о примѣчательныхъ лицахъ.

— Мы ведемъ жизнь довольно прозаическую, сказалъ онъ, вздохнувъ: пьющіе утромъ воду — вялы, какъ всѣ больные, а пьющіе вино повечеру — несносны, какъ всѣ здоровые. Женскія общества есть; только отъ нихъ небольшое утѣшеніе: онѣ играютъ въ вистъ, одѣваются дурно ужасно говорятъ по-французски! Нынѣшній годъ изъ Москвы одна только княгиня

Лиговская съ дочерью; но я съ ними незнакомъ. Моя солдатская шинель — какъ печать отверженія. Участіе, которое она возбуждаетъ, тяжело какъ милостыня.

Въ эту минуту прошли къ колодцу мимо насъ двѣ дамы: одна пожилая, другая молоденькая, стройная. Ихъ лица за шляпками я не разглядѣлъ, но онѣ одѣты были по строгимъ правиламъ лучшаго вкуса: ничего лишняго. На второй было закрытое платье gris de perles, легкая шолковая косынка висала вокругъ ея гибкой шеи. Ботинки couleur russe стягивали у щиколки ея сухошавую ножку такъ мило, что даже непосвященный въ таинства красоты непременно бы ахнулъ, хотя отъ удивленія. Ея легкая, но благородная походка имѣла въ себѣ что-то дѣвственное, ускользающее отъ опредѣленія, но понятное взору. Когда она прошла мимо насъ, отъ нея повѣяло тѣмъ неизъяснимымъ ароматомъ, которымъ дышетъ иногда записка милой женщины.

— Вотъ княгиня Лиговская, сказалъ Грушницкій: и съ нею дочь ея Мери, какъ она ее называетъ на англійскій манеръ. Онѣ здѣсь только три дня.

— Однако ты ужъ знаешь ея имя?

— Да, я случайно слышалъ, отвѣчалъ онъ покраснѣвъ. — Признаюсь, я не желаю съ ними познакомиться. Эта гордая знатъ смотритъ на насъ, армейцевъ, какъ на дикихъ. И какое имъ дѣло, есть ли умъ подъ нумерованной фуражкой и сердце подъ толстой шинелью?

— Бѣдная шинель! сказалъ я, усмѣхаясь. А кто этотъ господинъ, который къ нимъ подходитъ и такъ услужливо подаетъ имъ стаканъ?

— О! это московскій франтъ Раевичъ. Онъ игрокъ: это видно тотчасъ по золотой огромной цѣпи, которая извивается по его голубому жилету. А что за толстая трость — точно у Робинзона Крузоэ; да и борода кстати, и прическа à la moujik.

— Ты озлобленъ противъ всего рода человеческого?

— И есть за что...

— О! право?

Въ это время дамы отошли отъ колодца и поровнялись съ нами. Грушницкій успѣлъ принять драматическую позу съ помощью костыля и громко отвѣчалъ мнѣ по-французски:

— *Mon cher, je hais les hommes pour ne pas les mépriser, car autrement la vie serait une farce trop dégoûtante.*

Хорошенькая княжна обернулась и подарила оратора долгимъ, любопытнымъ взоромъ. Выраженіе этого взора было очень неопредѣленно, но не насмѣшливо, съ чѣмъ я внутренно отъ души его поздравилъ.

— Эта княжна Мери прехорошенькая, сказалъ я ему. — У нея такіе бархатные глаза—именно бархатные: я тебѣ совѣтую присвоить это выраженіе, говоря объ ея глазахъ; нижнія и верхнія рѣсницы такъ длинны, что лучи солнца не отражаются въ ея зрачкахъ. Я люблю эти глаза безъ блеска: они такъ мягки, они будто бы тебя гладятъ. Впрочемъ, кажется, въ ея лицѣ только и есть хорошаго... А что, у нея зубы бѣлы? Это очень важно! Жаль, что она не улыбнулась на твою пышную фразу.

— Ты говоришь о хорошей женщинѣ, какъ объ англійской лошади, сказалъ Грушницкій съ негодованіемъ.

— *Mon cher, отвѣчалъ я ему, стараясь поддѣлаться подъ его тонъ: je méprise les femmes pour ne pas les aimer, car autrement la vie serait un mélodrame trop ridicule.*

Я повернулся и пошелъ отъ него прочь. Съ полчаса гулялъ я по винограднымъ аллеямъ, по известчатымъ скаламъ и висящимъ между нихъ кустарникамъ. Становилось жарко, и я поспѣшилъ домой. Проходя мимо кислотѣрнаго источника, я остановился у крытой галереи, чтобъ

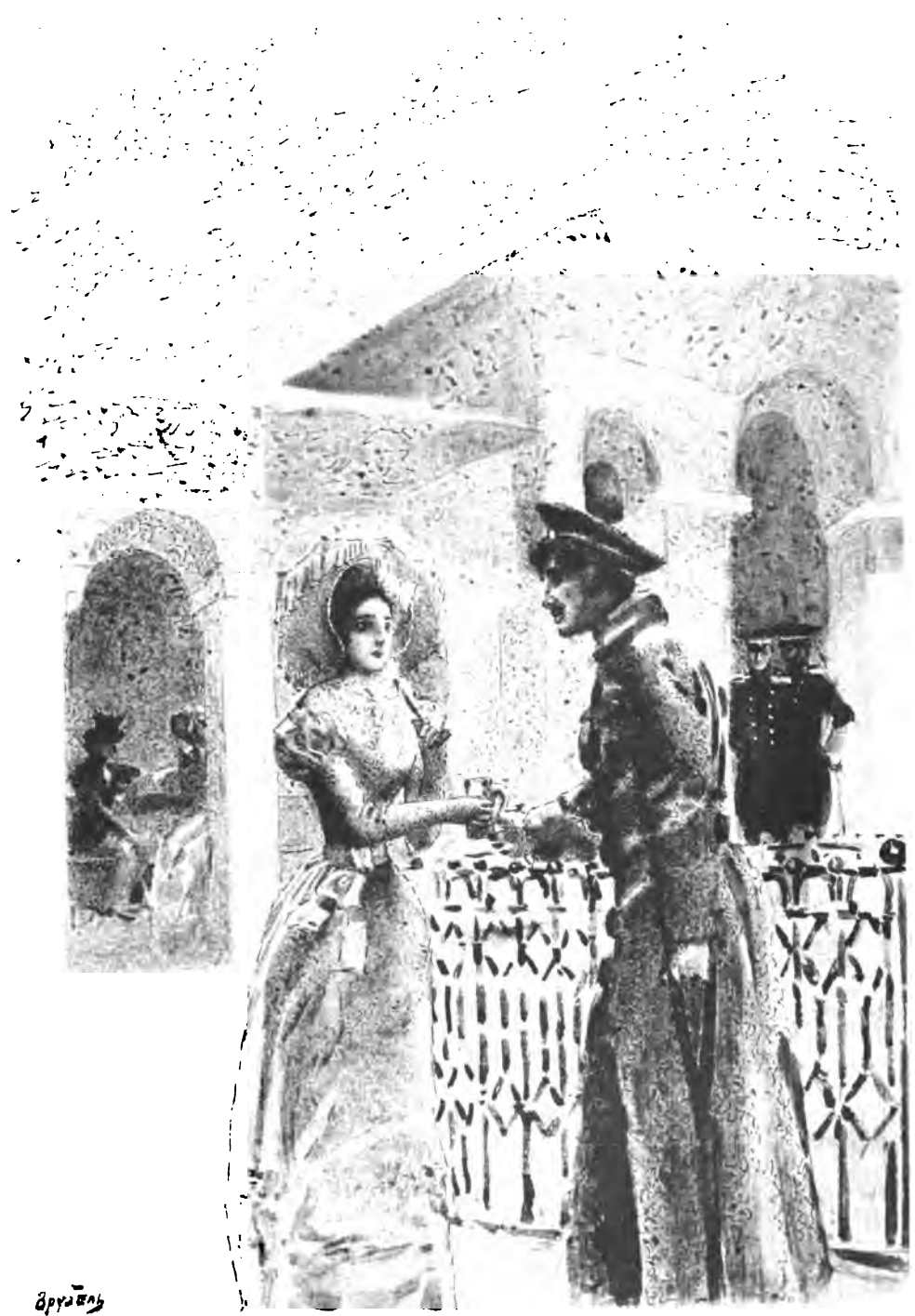
вздохнуть подъ ея тѣнью, и это доставило мнѣ случай быть свидѣтелемъ довольно любопытной сцены. Дѣйствующія лица находились вотъ въ какомъ положеніи: княгиня съ московскимъ франтомъ сидѣла на лавкѣ въ крытой галереѣ, и оба были заняты, кажется, серьезнымъ разговоромъ. Княжна, вѣроятно, допивъ ужъ послѣдній стаканъ, прохаживалась задумчиво у колодца. Грушницкій стоялъ у самаго колодца; больше на площадкѣ никого не было.

Я подошелъ ближе и спрятался за уголъ галереи. Въ эту минуту Грушницкій уронилъ свой стаканъ на песокъ и усиливался нагнуться, чтобъ его поднять: больная нога ему мѣшала. Бѣдняжка! какъ онъ ухитрялся, опираясь на костыль, и все напрасно. Выразительное лицо его въ самомъ дѣлѣ изображало страданіе.

Княжна Мери видѣла все это лучше меня.

Легче птички она къ нему подскочила, нагнулась, подняла стаканъ и подала ему съ тѣлодвиженіемъ, исполненнымъ невыразимой прелести; потомъ ужасно покраснѣла, оглянулась на галерею, и убѣдившись, что ея маменька ничего не видала, кажется, тотчасъ же успокоилась. Когда Грушницкій открылъ ротъ, чтобы поблагодарить ее, она была уже далеко. Черезъ минуту она вышла изъ галереи съ матерью и франтомъ, но, проходя мимо Грушницкаго, приняла видъ такой чинный и важный—даже не обернулась, даже не замѣтила его страстного взгляда, которымъ онъ долго ее провожалъ, пока, спустившись съ горы, она не скрылась за липками бульвара... Но вотъ ея шляпка мелькнула черезъ улицу: она вбѣжала въ ворота одного изъ лучшихъ домовъ Пятигорска; за нею прошла княгиня и у воротъ раскланялась съ Раевичемъ.

Только тогда бѣдный, страстный юнкеръ замѣтилъ мое присутствіе.



Вруда

— Ты видѣлъ? сказалъ онъ, крѣпко пожимая мнѣ руку: — это просто ангелъ!

— Отчего? спросилъ я съ видомъ чистѣйшаго простодушія.

— Развѣ ты не видалъ?

— Нѣтъ, видѣлъ: она подняла твой стаканъ. Если бъ былъ тутъ сторожъ, то онъ сдѣлалъ бы то же самое, и еще поспѣшнѣе, надѣясь получить на водку. Впрочемъ, очень понятно, что ей стало тебя жалко: ты сдѣлалъ такую ужасную гримасу, когда ступилъ на прострѣленную ногу...

— И ты не былъ нисколько тронутъ, глядя на нее въ эту минуту, когда душа сіяла на лицѣ ея?...

— Нѣтъ.

Я лгалъ; но мнѣ хотѣлось его побѣдить. У меня врожденная страсть противорѣчить; цѣлая моя жизнь была только цѣпь грустныхъ и неудачныхъ противорѣчій сердцу или разсудку. Присутствіе энтузіаста обдаётъ меня крещенскимъ холодомъ и, я думаю, частыя сношенія съ вялымъ флегматикомъ сдѣлали бы изъ меня страстнаго мечтателя. Признаюсь еще, чувство непріятное, но знакомое, пробѣжало слегка въ это мгновеніе по моему сердцу; это чувство было — зависть; я говорю смѣло «зависть», потому что привыкъ себѣ во всемъ признаваться; и врядъ ли найдется молодой человѣкъ, который, встрѣтивъ хорошенькую женщину, приковавшую его праздное вниманіе и вдругъ явно при немъ отличившую другаго, ей равно незнакомаго, врядъ ли, говорю, найдется такой молодой человѣкъ [разумѣется, жившій въ большомъ свѣтѣ и привыкшій баловать свое самолюбіе], который бы не былъ этимъ пораженъ непріятно.

Молча, съ Грушницкимъ спустились мы съ горы и прошли по бульвару мимо оконъ дома, гдѣ скрылась наша красавица. Она сидѣла у окна. Грушницкій, дернувъ меня за руку, бросилъ на нее

одинъ изъ тѣхъ мутно-нѣжныхъ взглядовъ, которые такъ мало дѣйствуютъ на женщинъ. Я навелъ на нее лорнетъ и замѣтилъ, что она отъ его взгляда улыбнулась, и что мой дерзкій лорнетъ разсердилъ ее не на шутку. И какъ, въ самомъ дѣлѣ, смѣетъ кавказскій армеецъ наводить стеклышко на московскую княжну? *)...

13-го мая.

Нынче по утру зашелъ ко мнѣ докторъ; его имя Вернеръ, но онъ русскій. Что тутъ удивительнаго? Я зналъ одного Иванова, который былъ нѣмецъ.

Вернеръ человѣкъ замѣчательный по многимъ причинамъ. Онъ скептикъ и материалистъ, какъ всѣ почти медики, а вмѣстѣ съ этимъ поэтъ и не на шутку — поэтъ на дѣлѣ всегда, и часто на словахъ, хотя въ жизнь свою не написалъ двухъ стиховъ. Онъ изучалъ всѣ живыя струны сердца человѣческаго, какъ изучаютъ жилы трупа, но никогда не умѣлъ онъ воспользоваться своимъ знаніемъ: такъ иногда отличный анатомикъ не умѣетъ вылѣчить отъ лихорадки. Обыкновенно Вернеръ исподтишка насмѣхался надъ своими больными; но я разъ видѣлъ, какъ онъ плакалъ надъ умирающимъ солдатомъ... Онъ былъ бѣденъ, мечталъ о милліонахъ, а для денегъ не сдѣлалъ бы лишняго шага: онъ мнѣ разъ говорилъ, что скорѣе сдѣлаетъ одолженіе врагу, чѣмъ другу, потому что это значило бы продавать свою благотворительность, тогда какъ ненависть только усилится соразмѣрно великодушію противника. У него былъ злой языкъ: подъ вѣвѣскою его эпиграммы не одинъ добрякъ прослылъ пошлымъ дуракомъ; его соперники, завистливые водяные медики, распустили слухъ, будто онъ рисуетъ карикатуры на своихъ больныхъ — больные взбѣленились: почти всѣ ему отказали. Его при-

*) Не было напечатано.

ители, то есть всѣ истинно порядочные люди, служившіе на Кавказѣ, напрасно старались возстановить его упавшій кредитъ.

Его наружность была изъ тѣхъ, которыя съ перваго взгляда поражаютъ неприятно, но которыя нравятся въ послѣдствіи, когда глазъ выучится читать въ неправильныхъ чертахъ отпечатокъ души испытанной и высокой. Бывали примѣры, что женщины влюблялись въ такихъ людей до безумія и не промѣняли бы ихъ безобразія на красоту самыхъ свѣжихъ и розовыхъ эндиміоновъ. Надобно отдать справедливость женщинамъ: онѣ имѣютъ инстинктъ красоты душевной; оттого-то, можетъ быть, люди, подобные Вернеру, такъ страстно любятъ женщинъ.

Вернеръ былъ малъ ростомъ, и худъ и слабъ, какъ ребенокъ; одна нога была у него короче другой, какъ у Байрона; въ сравненіи съ туловищемъ, голова его казалась огромна; онъ стригъ волосы подъ гребенку, и неровности его черепа, обнаженные такимъ образомъ, поразили бы френолога страннымъ сплетеніемъ противоположныхъ наклонностей. Его маленькіе черные глаза, всегда безпокойные, старались проникнуть въ ваши мысли. Въ его одеждѣ замѣтны были вкусъ и опрятность; его худощавыя, жилистыя и маленькія руки красовались въ свѣтложелтыхъ перчаткахъ. Его сюртукъ, галстухъ и жилетъ были постоянно чернаго цвѣта. Молодежь прозвала его Мефистофелемъ; онъ показывалъ, будто сердился за это прозваніе, но въ самомъ дѣлѣ оно льстило его самолюбію. Мы другъ друга скоро поняли и сдѣлались пріятелями, потому что я къ дружбѣ неспособенъ: изъ двухъ друзей всегда одинъ рабъ другаго, хотя часто ни одинъ изъ нихъ въ этомъ себѣ не признается; рабомъ я быть не могу, а повелѣвать въ этомъ случаѣ—трудъ утомительный, потому что надо вмѣстѣ съ этимъ и обманывать; да, при-

томъ, у меня есть лакеи и деньги! Вотъ какъ мы сдѣлались пріятелями: я встрѣтилъ Вернера съ С... среди многочисленнаго и шумнаго круга молодежи; разговоръ принялъ подъ конецъ вечера философско-метафизическое направленіе; толковали объ убѣжденіяхъ: каждый былъ убѣжденъ въ разныхъ разностяхъ.

— Что до меня касается, то я убѣжденъ только въ одномъ... сказалъ докторъ.

— Въ чемъ это? спросилъ я, желая узнать мнѣніе человѣка, который до сихъ поръ молчалъ.

— Въ томъ, отвѣчалъ онъ, что, рано или поздно, въ одно прекрасное утро я умру.

— Я богаче васъ, сказалъ я: у меня кромѣ этого, есть еще убѣжденіе, именно то, что я въ одинъ прегадкій вечеръ имѣлъ несчастье родиться.

Всѣ нашли, что мы говоримъ вздоръ, а право изъ нихъ никто ничего умнѣе этого не сказалъ. Съ этой минуты мы отличили въ толпѣ другъ друга. Мы часто сходились вмѣстѣ и толковали вдвоемъ объ отвлеченныхъ предметахъ очень серьезно, пока замѣчали оба, что мы взаимно другъ друга морочимъ. Тогда, посмотрѣвъ значительно другъ другу въ глаза, какъ дѣлали римскіе авгуры, по словамъ Цицерона, мы начинали хохотать, и нахохотавшись, расходились довольные своимъ вечеромъ.

Я лежалъ на диванѣ, устремивъ глаза въ потолокъ и заложивъ руки подъ затылокъ, когда Вернеръ вошелъ въ мою комнату. Онъ сѣлъ въ кресла, поставилъ трость въ уголъ, зѣвнулъ и объявилъ, что на дворѣ становится жарко. Я отвѣчалъ, что меня беспокоятъ мухи—и мы оба замолчали.

— Замѣйте, любезный докторъ, сказалъ я, что безъ дураковъ было бы на свѣтѣ очень скучно... Посмотрите, вотъ насъ двое умныхъ людей; мы знаемъ заранее, что обо всемъ можно спорить до

безконечности, и потому не споримъ; мы знаемъ почти всѣ сокровенныя мысли другъ друга; одно слово—для насъ цѣлая исторія; видимъ зерно каждаго нашего чувства сквозь тройную оболочку. Печальное намъ смѣшно, смѣшное грустно; а вообще, по правдѣ, мы ко всему довольно равнодушны, кромѣ самихъ себя. Итакъ, разнѣна чувствъ и мыслей между нами не можетъ быть: мы знаемъ одинъ о другомъ все, что хотимъ знать, и знать больше не хотимъ; остается одно средство: рассказывать новости. Скажите же мнѣ какуюнибудь новость.

Утомленный долгою рѣчью, я закрылъ глаза и зѣвнулъ...

Онъ отвѣчалъ подумавши: Въ вашей галиматѣѣ однакожь есть идея.

— Двѣ, отвѣчалъ я.

— Скажите мнѣ одну, я вамъ скажу другую.

— Хорошо, начинайте! сказалъ я, продолжая разсматривать потолокъ и внутренне улыбаясь.

— Вамъ хочется знать какіянибудь подробности насчетъ когонибудь изъ прѣхавшихъ на воды, и я ужъ догадываюсь о комъ вы это заботитесь, потому что объ васъ тамъ уже спрашивали.

— Докторъ! рѣшительно намъ нельзя разговаривать: мы читаемъ въ душѣ другъ друга.

— Теперь другая...

— Другая идея вотъ: мнѣ хотѣлось васъ заставить рассказать чтонибудь; во-первыхъ, потому что слушать менѣе утомительно; во-вторыхъ, нельзя проговориться; въ третьихъ, можно узнать чужую тайну; въ четвертыхъ, потому что такіе умные люди, какъ вы, лучше любятъ слушателей, чѣмъ рассказчиковъ. Теперь къ дѣлу; что вамъ сказала княгиня Лиговская обо мнѣ?

— Вы очень увѣрены, что это княгиня... а не княжна?...

— Совершенно убѣжденъ.

— Почему?

— Потому что княжна спрашивала о Грушничкомъ.

— У васъ большой даръ соображенія. Княжна сказала, что она увѣрена, что этотъ молодой человѣкъ въ солдатской шинели разжалованъ въ солдаты за дуэль...

— Надѣюсь, вы ее оставили въ этомъ пріятномъ заблужденіи...

— Разумѣется...

— Завязка есть! закричалъ я въ восхищеніи; объ развязкѣ этой комедіи мы похлопочемъ. Явно судьба заботится о томъ, чтобъ мнѣ не было скучно.

— Я предчувствую, сказалъ докторъ, что бѣдный Грушничкій будетъ 'вашей жертвой'...

— Дальше, докторъ.

— Княгиня сказала, что ваше лицо ей знакомо. Я замѣтилъ, что вѣрно она васъ встрѣчала въ Петербургѣ, гдѣнибудь въ свѣтѣ... я сказалъ ваше имя. Оно было ей извѣстно. Кажется, ваша исторія тамъ надѣлала много шума... Княгиня стала рассказывать о вашихъ похожденияхъ, прибавляя вѣроятно къ свѣтскимъ сплетнямъ свои замѣчанія... Дочка слушала съ любопытствомъ. Въ ея воображеніи вы сдѣлались героемъ романа въ новомъ вкусѣ... Я не противорѣчилъ княгинѣ, хотя зналъ, что она говоритъ вздоръ.

— Достойный другъ! сказалъ я, протянувъ ему руку. Докторъ пожалъ ее съ чувствомъ и продолжалъ:

— Если хотите, я васъ представлю...

— Помилуйте! сказалъ я, всплеснувъ руками; развѣ героевъ представляютъ? Они не иначе знакомятся, какъ спасая отъ вѣрной смерти свою любезную...

— И вы въ самомъ дѣлѣ хотите во-лочиться за княжной?...

— Напротивъ, совсѣмъ напротивъ!... Докторъ, наконецъ я торжествую: вы меня не понимаете!... Это меня, впрочемъ, огорчаетъ, докторъ, продолжалъ я послѣ

минуты молчанія; я никогда самъ не открываю моихъ тайнъ, а ужасно люблю, чтобъ ихъ отгадывали, потому что такимъ образомъ я всегда могу, при случаѣ, отъ нихъ отпереться. Однако жъ, вы мнѣ должны описать маменьку съ дочкой. Что они за люди?

— Во-первыхъ, княгиня—женщина сорока-пяти лѣтъ, отвѣчалъ Вернеръ; у ней прекрасный желудокъ, но кровь испорчена; на щекахъ красныя пятна. Последнюю половину своей жизни она провела въ Москвѣ и тутъ, на покой, растолстѣла. Она любитъ соблазнительные анекдоты и сама говоритъ иногда неприличные вещи, когда дочери нѣтъ въ комнатѣ. Она мнѣ объявила, что дочь ея невинна какъ голубь. Какое мнѣ дѣло?... Я хотѣлъ ей отвѣчать, чтобъ она была спокойна, что я никому этого не скажу. Княгиня лечится отъ ревматизма, а дочь Богъ знаетъ отъ чего. Я велѣлъ обѣимъ пить по два стакана въ день кислосѣрной воды и купаться два раза въ недѣлю въ развальной ваннѣ. Княгиня, кажется, не привыкла повелѣвать: она питаетъ уваженіе къ уму и знаніямъ дочки, которая читала Байрона по-англійски и знаетъ алгебру: въ Москвѣ, видно, барышни пустились въ ученость, и хорошо дѣлають, право! Наши мужчины такъ не любезны вообще, что съ ними кокетничать должно быть для умной женщины несносно. Княгиня очень любитъ молодыхъ людей; княжна смотритъ на нихъ съ нѣкоторымъ презрѣніемъ—московская привычка! Онѣ въ Москвѣ только и питаются, что сорокалѣтними остряками.

— А вы были въ Москвѣ, докторъ?

— Да, я имѣлъ тамъ нѣкоторую практику.

— Продолжайте.

— Да я, кажется, все сказалъ... Да! вотъ еще: княжна, кажется, любитъ разсуждать о чувствахъ, страстяхъ и проч. Она была одну зиму въ Петербургѣ, и

онъ ей не понравился, особенно обществу: ее, вѣрно, холодно приняли.

— Вы никого у нихъ не видали сегодня?

— Напротивъ, былъ одинъ адъютантъ, одинъ натянутый гвардеецъ и какая-то дама изъ новопріѣзжихъ, родственница княгини по мужѣ, очень хорошенькая, но очень, кажется, больная... Не встрѣтили ль вы ее у колодца?—она средняго роста, блондинка, съ правильными чертами, цвѣтъ лица чахоточный, а на правой щекѣ черная рѣдинка: ея лицо меня поразило своею выразительностью.

— Рѣдинка! пробормоталъ я сквозь зубы.—Неужели?

Докторъ посмотрѣлъ на меня и сказалъ торжественно, положивъ мнѣ руку на сердце: «Она вамъ знакома!...» Мое сердце, точно, билось сильнѣе обыкновеннаго.

— Теперь ваша очередь торжествовать! сказалъ я; только я на васъ надѣюсь: вы мнѣ не измѣните. Я ее не видалъ еще, но, увѣренъ, узнаю въ вашемъ портретѣ одну женщину, которую любилъ встарину... Не говорите ей обо мнѣ ни слова; если она спроситъ, отнеситесь обо мнѣ дурно.

— Пожалуй! сказалъ Вернеръ, пожавъ плечами.

Когда онъ ушелъ, ужасная грусть отѣснила мое сердце. Судьба ли насъ свела опять на Кавказѣ, или она нарочно сюда пріѣхала, зная, что меня встрѣтитъ?... и какъ мы встрѣтимся?... и потомъ, она ли это?... Мои предчувствія меня никогда не обманывали. Нѣтъ въ мірѣ челоѣка, надъ которымъ прошедшее пріобрѣтало бы такую власть, какъ надо мною. Всякое напоминаніе о минувшей печали или радости болѣзненно ударяетъ въ мою душу и извлекаетъ изъ нея все тѣ же звуки... Я глупо созданъ: ничего не забываю—ничего!

Послѣ обѣда часовъ въ шесть я пошелъ на бульваръ: тамъ была толпа; кня-

тиня съ княжною сидѣли на скамѣ, окруженная молодежью, которая любезничала наперерывъ. Я помѣстился въ нѣкоторомъ разстояніи на другой лавкѣ, остановилъ двухъ знакомыхъ драгунскихъ офицеровъ и началъ имъ что-то рассказывать; видно, было смѣшно, потому что они начали хохотать, какъ сумасшедшіе. Любопытство привлекло ко мнѣ нѣкоторыхъ изъ окружавшихъ княжну; мало по малу и всѣ ее покинули и присоединились къ моему кружку. Я не умолкалъ; мои анекдоты были умны до глупости, мои насмѣшки надъ проходящими мимо оригиналами были злы до неистовства... Я продолжалъ увеселять публику до захождения солнца. Нѣсколько разъ княжна подъ ручку съ матерью проходила мимо меня, сопровождаемая какимъ-то хромымъ старичкомъ; нѣсколько разъ ее взгляды, упавъ на меня, выражали досаду, стараясь выразить равнодушіе...

— Что онъ вамъ рассказывалъ? спросила она у одного изъ молодыхъ людей возвратившихся къ ней изъ вѣжливости; вѣрно очень занимательную исторію—свои подвиги въ сраженіяхъ?... Она сказала это довольно громко и, вѣроятно, съ намѣреніемъ колынуть меня. «А-га!» подумалъ я: «вы не на шутку сердитесь, милая княжна; погодите, то ли еще будетъ!»

Грушницкій слѣдилъ за нею, какъ хищный звѣрь, и не спускалъ ее съ глазъ: бьюсь объ закладъ, что завтра онъ будетъ просить, чтобъ его кто нибудь представилъ княгинѣ. Она будетъ очень рада, потому что ей скучно.

16-го мая.

Въ продолженіе двухъ дней мои дѣла ужасно подвинулись. Княжна меня рѣшительно ненавидитъ; мнѣ уже пересказывали двѣ-три эпиграммы на мой счетъ, довольно колкія, но вмѣстѣ очень лестныя. Ей ужасно странно, что я, который привыкъ къ хорошему обществу, который

такъ коротокъ съ ея петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться съ нею. Мы встрѣчаемся каждый день у колодца на бульварѣ; я употребляю всѣ свои силы на то, чтобъ отвлекать ея обожателей, блестящихъ адъютантовъ, блѣдныхъ москвичей и другихъ — и мнѣ почти всегда удается. Я всегда ненавиждѣлъ гостей у себя: теперь у меня каждый день полонъ домъ, обѣдаютъ, ужинаютъ, играютъ и, увы! мое шампанское торжествуетъ надъ силою магнетическихъ ея глазокъ!

Вчера я ее встрѣтилъ въ магазинѣ Челахова; она торговала чудесный персидскій коверъ. Княжна угадывала свою маменьку не скупиться: этотъ коверъ такъ украсилъ бы ея кабинетъ!... Я далъ сорокъ рублей лишнихъ и перекупилъ его; за это я былъ вознагражденъ взглядомъ, гдѣ блистало самое восхитительное бѣшенство. Около обѣда я велѣлъ нарочно провести мимо ея оконъ мою черкесскую лошадь, покрытую этимъ ковромъ. Вернеръ былъ у нихъ въ это время и говорилъ мнѣ, что эффектъ этой сцены былъ самый драматическій. Княжна хочетъ проповѣдывать противъ меня ополченіе; я даже замѣтилъ, что ужъ два адъютанта при ней со мною очень сухо кланяются, однако всякій день у меня обѣдаютъ.

Грушницкій принялъ таинственный видъ: ходитъ закинувъ руки за спину и никого не узнаетъ; нога его вдругъ выздоровѣла: онъ едва хромаетъ. Онъ нашелъ случай вступить въ разговоръ съ княгиней и сказать какой-то комплиментъ княжнѣ; она, видно, не очень разборчива, ибо съ тѣхъ поръ отвѣчаетъ на его поклонъ самой милой улыбкою.

— Ты рѣшительно не хочешь познакомиться съ Лиговскими? сказалъ онъ мнѣ вчера.

— Рѣшительно.

— Помилуй! самый пріятный домъ на водахъ! Все здѣшнее лучшее общество...

— Мой другъ, мнѣ и нездѣшнее ужасно надоѣло. А ты у нихъ бываешь?

— Нѣтъ еще; я говорилъ раза два съ княжной, не болѣе. Знаешь, какъ-то напрашиваться въ домъ неловко, хотя здѣсь это и водится... Другое дѣло, если бы я носилъ эполеты...

— Помилуй! да этакъ ты гораздо интереснѣе! Ты, просто, не умѣешь пользоваться своимъ выгоднымъ положеніемъ... Да, солдатская шинель въ глазахъ всякой чувствительной барышни тебя дѣлаетъ героемъ и страдальцемъ.

Грушницкій самодовольно улыбнулся.

— Какой вздоръ! сказалъ онъ.

— Я увѣренъ, продолжалъ я, что княжна въ тебя ужъ влюблена.

Онъ покраснѣлъ до ушей и надулся.

О самолюбіи! ты рычагъ, которымъ Архимедъ хотѣлъ приподнять земной шаръ!...

— У тебя все шутки! сказалъ онъ, показывая, будто сердится: во-первыхъ, она меня еще такъ мало знаетъ...

— Женщины любятъ только тѣхъ, которыхъ не знаютъ.

— Да я вовсе не имѣю претензіи ей нравиться: я, просто, хочу познакомиться съ пріятнымъ домомъ, и было бы очень смѣшно, если-бъ я имѣлъ какія нибудь надежды... Вотъ вы, напримѣръ, другое дѣло! вы, побѣдители петербургскіе: только посмотрите, такъ женщины таютъ... А знаешь ли, Печоринъ, что княжна о тебѣ говорила?...

— Какъ? Она тебѣ ужъ говорила обо мнѣ?...

— Не радуйся, однако. Я какъ-то вступилъ съ нею въ разговоръ у колодца, случайно; третье слово ея было: «Кто этотъ господинъ, у котораго такой непріятный тяжелый взглядъ? онъ былъ съ вами, тогда...» Она покраснѣла и не хотѣла назвать дня, вспомнивъ свою милую выходку. «Вамъ не нужно сказывать дня, отвѣчалъ я ей, онъ вѣчно будетъ мнѣ памятенъ...» Мой другъ, Печоринъ! я тебя

не поздравляю; ты у нея на дурномъ замѣчаніи... А, право, жаль, потому что Мери очень мила!...

Надобно замѣтить, что Грушницкій изъ тѣхъ людей, которые, говоря о женщинѣ, съ которой они едва знакомы, называютъ ее моя Мери, моя Sophie, если она имѣла счастье имъ понравиться.

Я принялъ серьезный видъ и отвѣчалъ ему:

— Да, она недурна... Только берегись, Грушницкій! Русскія барышни большею частью питаются только платонической любовью, не примѣшивая къ ней мысли о замужствѣ; а платоническая любовь самая безпокойная. Княжна, кажется, изъ тѣхъ женщинъ, которыя хотятъ, чтобъ ихъ забавляли; если двѣ минуты сряду ей будетъ возлѣ тебя скучно—ты погибъ навсегда: твое молчаніе должно возбуждать ея любопытство, твой разговоръ—никогда не удовлетворять его вполне; ты долженъ ее тревожить ежеминутно; она десять разъ публично для тебя пренебрежетъ мнѣніемъ и назоветъ это жертвой, и чтобъ вознаградить себя за это, станетъ тебя мучить; а потомъ просто скажетъ, что она тебя терпѣть не можетъ. Если ты надъ нею не приобрѣтешь власти, то даже ея первый поцѣлуй не дастъ тебѣ права на второй; она съ тобой накокетничается вдоволь, а года черезъ два выйдетъ замужъ за урода, изъ покорности къ маменькѣ, и станетъ себя увѣрять, что она несчастна, что она одного только человѣка и любила, то есть тебя, но что небо не хотѣло соединить ее съ нимъ, потому что на немъ была солдатская шинель, хотя подъ этой толстой, сѣрой шинелью билось сердце страстное и благородное...

Грушницкій ударилъ по столу кулакомъ и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатѣ.

Я внутренно хохоталъ и даже раза два улыбнулся, но онъ, къ счастью, этого не

замѣтилъ. Явно, что онъ влюбленъ, потому что сталъ еще довѣрчивѣе прежняго; у него даже появилось серебряное кольцо съ чернью, здѣшной работы: оно мнѣ показалось подозрительнымъ. Я сталъ его разсматривать, и что же?... мелкими буквами имя Мери было вырѣзано на внутренней сторонѣ, и рядомъ—число того дня, когда она подняла знаменитый стаканъ. Я утаилъ свое открытіе; я не хочу вынуждать у него признаній; я хочу, чтобы онъ самъ выбралъ меня въ свои повѣренныя — и тутъ-то я буду наслаждаться!...

.....

Сегодня я всталъ поздно; прихожу къ колодцу—никого уже нѣтъ. Становилось жарко; бѣлыя мохнатые тучки быстро бѣжали отъ снѣговыхъ горъ, обѣщая грозу; голова Машука дымилась, какъ загашенный факелъ; кругомъ его вились и ползали, какъ змѣи, сѣрые клочки облаковъ, задержанные въ своемъ стремленіи и будто зацѣпившіеся за колючій его кустарникъ. Воздухъ былъ напоенъ электричествомъ. Я углубился въ виноградную аллею, ведущую въ гротъ; мнѣ было грустно. Я думалъ о той молодой женщинѣ съ родинкой на щекѣ, про которую говорилъ мнѣ докторъ... Зачѣмъ она здѣсь? И она ли? И почему я думаю, что это она? И почему я даже такъ въ этомъ увѣренъ? Мало ли женщинъ съ родинками на щекахъ?—Размышляя такимъ образомъ, я подошелъ къ самому гроту. Смотрю: въ прохладной тѣни его свода, на каменной скамьѣ сидитъ женщина, въ соломенной шляпкѣ, окутанная черной шалью, опустивъ голову на грудь; шляпка закрывала ея лицо. Я хотѣлъ уже вернуться, чтобы не нарушить ея мечтаній, когда она на меня взглянула.

— Вѣра! вскрикнулъ я невольно.

Она вздрогнула и поблѣднѣла.

— Я знала, что вы здѣсь, сказала она.

Я сѣлъ возлѣ нея и взялъ ее за руку.

Давно забытый трепетъ пробѣжалъ по моимъ жиламъ при звукѣ этого милаго голоса; она посмотрѣла мнѣ въ глаза своими глубокими и спокойными глазами—въ нихъ выражалась недовѣрчивость и что-то похожее на упрекъ.

— Мы давно не видались, сказалъ я.

— Давно, и перемѣнились оба во многомъ!

— Стало быть, ужъ ты меня не любишь?...

— Я замужемъ!... сказала она.

— Опять? Однако, нѣсколько лѣтъ тому назадъ, эта причина также существовала, но между тѣмъ...

Она выдернула свою руку изъ моей, и щеки ея запылали.

— Можетъ быть, ты любишь своего втораго мужа?...

Она не отвѣчала и отвернулась.

— Или онъ очень ревнивъ?

Молчаніе.

— Что жъ? Онъ молодъ, хорошъ, особенно вѣрно богатъ, и ты боишься... Я взглянулъ на нее и испугался: ея лицо выражало глубокое отчаяніе; на глазахъ сверкали слезы.

— Скажи мнѣ, наконецъ, прошептала она, тебѣ очень весело меня мучить? Я бы тебя должна ненавидѣть. Съ тѣхъ поръ, какъ мы знаемъ другъ друга, ты ничего мнѣ не далъ, кромѣ страданій... Ея голосъ задрожалъ; она склонилась ко мнѣ и опустила голову на грудь мою.

— «Можетъ быть», подумалъ я, «ты оттого-то именно меня и любила: радости забываются, а печали никогда...»

Я ее крѣпко обнялъ, и такъ мы оставались долго. Наконецъ губы наши сблизились и слились въ жаркій, упоительный поцѣлуй; ея руки были холодны какъ ледъ, голова горѣла. Тутъ между нами начался одинъ изъ тѣхъ разговоровъ, которые на бумагѣ не имѣютъ смысла, которыхъ повторить нельзя и нельзя даже запомнить: значеніе звуковъ замѣняетъ и

дополняетъ значеніе словъ, какъ въ итальянской оперѣ.

Она рѣшительно не хочетъ, чтобъ я познакомился съ ея мужемъ, тѣмъ хрымъ старичкомъ котораго я видѣлъ мелькомъ на бульварѣ; она вышла за него для сына. Онъ богатъ и страдаетъ ревматизмами. Я не позволилъ себѣ надъ нимъ ни одной насмѣшки: она его уважаетъ какъ отца—и будетъ обманывать какъ мужа... Странная вещь сердце человѣческое вообще, и женское въ особенности!

Мужъ Вѣры, Семень Васильевичъ Г...въ, дальній родственникъ княгини Лиговской. Онъ живетъ съ нею рядомъ. Вѣра часто бываетъ у княгини; я ей далъ слово познакомиться съ Лиговскими и волочиться за княжной, чтобы отвлечь отъ нея вниманіе. Такимъ образомъ мои планы ни мало не разстроились, и мнѣ будетъ весело...

Весело!... Да, я уже прошелъ тотъ періодъ жизни душевной, когда ищутъ только счастья, когда сердце чувствуетъ необходимость любить сильно и страстно кого нибудь; теперь я только хочу быть любимымъ, и то очень немногими; даже мнѣ кажется, одной постоянной привязанности мнѣ было бы довольно: жалкая привычка сердца!...

Одно мнѣ всегда было странно: я никогда не дѣлался рабомъ любимой женщины; напротивъ, я всегда пріобрѣталъ надъ ихъ волей и сердцемъ непобѣдимую власть, вовсе объ этомъ не стараясь. Отчего это?—оттого ли, что я никогда ничѣмъ очень не дорожу, и что онѣ ежеминутно боялись выпустить меня изъ рукъ? или это—магнетическое вліяніе сильнаго организма? или мнѣ просто не удавалось встрѣтить женщину съ упорнымъ характеромъ?

Надо признаться, что я, точно, не люблю женщинъ съ характеромъ: ихъ ли это дѣло!...

Правда, теперь вспомнилъ: одинъ разъ, одинъ только разъ я любилъ женщину съ твердою волей, которую никогда не могъ побѣдить... Мы разстались врагами—и то, можетъ быть, если бъ я ее встрѣтилъ пятью годами позже, мы разстались бы иначе...

Вѣра больна, очень больна, хотя въ этомъ и не признается; я боюсь, чтобы не было у нея чахотки, или той болѣзни, которую называютъ *fièvre lente*—болѣзнь не русская вовсе, и ей на нашемъ языкѣ нѣтъ названія.

Гроза застала насъ въ гротѣ и удержала лишніе полчаса. Она не заставляла меня клясться въ вѣрности, не спрашивала, любилъ ли я другихъ съ тѣхъ поръ, какъ мы разстались... Она ввѣрилась мнѣ снова съ прежней безпечною—и я ее не обману: она единственная женщина въ мірѣ, которую я не въ силахъ былъ бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся опять и, можетъ быть, навѣки: оба пойдемъ разными путями до гроба; но воспоминаніе о ней останется неприкосновеннымъ въ душѣ моей; я ей это повторялъ всегда, и она мнѣ вѣритъ, хотя говоритъ противное.

Наконецъ мы разстались; я долго слѣдилъ за нею взоромъ, пока ея шляпка не скрылась за кустарниками и скалами. Сердце мое болѣзненно сжалось, какъ послѣ перваго разставанія. О, какъ я обрадовался этому чувству! Ужъ не молодость ли съ своими благотворными бурями хочетъ вернуться ко мнѣ опять, или это только ея прощальный взглядъ, послѣдній подарокъ—на память?... А смѣшно подумать, что на видъ я еще мальчикъ: лицо хотя блѣдно, но еще свѣжо; члены гибки и стройны; густыя кудри вьются, глаза горятъ, кровь кипитъ...

Возвратясь домой, я сѣлъ верхомъ и поскакалъ въ степь. Я люблю скакать на горячей лошади по высокой травѣ, противъ пустыннаго вѣтра; съ жадностью

глотая я благовонный воздухъ и устремляю взоры въ синюю даль, стараясь уловить туманные очерки предметовъ, которые ежеминутно становятся все яснѣе и яснѣе. Какая бы горестъ ни лежала на сердцѣ, какое бы безпокойство не томило мысль—все въ минуту разсѣется; на душѣ станетъ легко, усталость тѣла побѣдитъ тревогу ума. Нѣтъ женскаго взора, котораго бы я не забылъ при видѣ кудрявыхъ горъ, озаренныхъ южнымъ солнцемъ, при видѣ голубаго неба, или внимая шуму потока, падающаго съ утеса на утесъ.

Я думаю, казаки, зѣвующіе на своихъ вышкахъ, видя меня скачущаго безъ нужды и цѣли, долго мучились этою загадкой, ибо вѣрно по одеждѣ приняли меня за черкеса. Мнѣ въ самомъ дѣлѣ говорили, что въ черкесскомъ костюмѣ верхомъ я больше похожъ на кабардинца, чѣмъ многіе кабардинцы. И точно, что касается до этой благородной боевой одежды, я совершенный денди: ни одного галуна лишняго; оружіе цѣнное въ простой отдѣлкѣ, мѣхъ на шапкѣ не слишкомъ длинный, не слишкомъ короткій; ноговицы и черевики пригнаны со всевозможной точностью; бешметъ бѣлый, черкеска темнобурая. Я долго изучалъ горскую посадку: ничѣмъ нельзя такъ польстить моему самолюбію, какъ признавая мое искусство въ верховой ѣздѣ на кавказскій ладъ. Я держу четырехъ лошадей: одну для себя, трехъ для пріятелей, чтобъ не скучно было одному таскаться по полямъ; они берутъ моихъ лошадей съ удовольствіемъ и никогда со мной не ѣздятъ вмѣстѣ. Было уже шесть часовъ по полудни, когда вспомнилъ я, что пора обѣдать. Лошадь моя была измучена; я выѣхалъ на дорогу, ведущую изъ Пятигорска въ нѣмецкую колонію, куда часто водяное общество ѣздитъ en pique-nique. Дорога идетъ извиваясь между кустарниками, опускаясь въ небольшіе овраги, гдѣ протекають шумные

ручьи подъ сѣнью высокихъ травъ; кругомъ амфитеатромъ возвышаются синія громады Бешту, Змѣиной, Желѣзной и Лысой горы. Спустясь въ одинъ изъ такихъ овраговъ, называемыхъ на здѣшнемъ нарѣчій балками, я остановился, чтобъ напоить лошадь; въ это время показалась на дорогѣ шумная и блестящая кавалькада; дамы въ черныхъ и голубыхъ амазонкахъ, кавалеры въ костюмахъ, составляющихъ смѣсь черкесскаго съ нижегородскимъ; впереди ѣхалъ Грушницкій съ княжною Мери.

Дамы на водахъ еще вѣрятъ нападеніямъ черкесовъ среди бѣлаго дня; вѣроятно, поэтому Грушницкій сверхъ солдатской шинели повѣсилъ шашку и пару пистолетовъ; онъ былъ довольно смѣшонъ въ этомъ геройскомъ облаченіи. Высокій кустъ закрывалъ меня отъ нихъ; но сквозь листья его я могъ видѣть все и отгадать по выраженіямъ ихъ лицъ, что разговоръ былъ сентиментальный. Наконецъ они приблизились къ спуску; Грушницкій взялъ за поводъ лошадь княжны, и тогда я услышалъ конецъ ихъ разговора:

— И вы цѣлую жизнь хотите остаться на Кавказѣ? говорила княжна.

— Что для меня Россія? отвѣчалъ ей кавалеръ; страна, гдѣ тысячи людей, потому что они богаче меня, будутъ смотреть на меня съ презрѣніемъ, тогда какъ здѣсь—здѣсь эта толстая шинель не помѣшала моему знакомству съ вами...

— Напротивъ... сказала княжна, покраснѣвъ.

Лицо Грушницкаго изобразило удовольствіе. Онъ продолжалъ:

— Здѣсь моя жизнь протечетъ шумно, незамѣтно и быстро, подъ пулями дикарей, и если бы Богъ мнѣ каждый годъ посылалъ одинъ свѣтлый женскій взглядъ, одинъ подобный тому...

Въ это время они поровнялись со мной; я ударилъ плетью по лошади и выѣхалъ изъ-за куста...

— Mon Dieu, un circassien!... вскрикнула княжна въ ужасѣ.

Чтобъ ее совершенно разувѣрить, я отвѣчалъ по французски, слегка наклонясь:

— Ne craignez rien, madame, je ne suis pas plus dangereux que votre cavalier...

Она смутилась—но отчего? отъ своей ошибки, или оттого, что мой отвѣтъ ей показался дерзкимъ? Я желалъ бы, чтобъ послѣднее мое предположеніе было справедливо. Грушницкій бросилъ на меня недовольный взглядъ.

Поздно вечеромъ, т.-е. часовъ въ одиннадцать, я пошелъ гулять по липовой аллѣ бульвара. Городъ спалъ; только въ нѣкоторыхъ окнахъ мелькали огни. Съ трехъ сторонъ чернѣли гребни утесовъ отрасли Машука, на вершинѣ котораго лежало зловѣщее облачко; мѣсяцъ подымался на востокъ; вдали серебряной бахромой сверкали снѣговья горы. Оклики часовыхъ перемежались съ шумомъ горячихъ ключей, спущенныхъ на ночь. Порою звучный топотъ коня раздавался по улицѣ, сопровождаемый скрипомъ нагайской арбы и заунывнымъ татарскимъ припѣвомъ. Я сѣлъ на скамью и задумался... Я чувствовалъ необходимость излить свои мысли въ дружескомъ разговорѣ... но съ кѣмъ?... «Что дѣлаетъ теперь Вѣра?» думалъ я... Я бы дорого далъ, чтобъ въ эту минуту пожать ея руку.

Вдругъ слышу быстрые и неровные шаги... Вѣрно Грушницкій... Такъ и есть!

— Откуда?

— Отъ княгини Лиговской, сказалъ онъ очень важно.—Какъ Мери поетъ!...

— Знаешь ли что? сказалъ я ему, я пари держу, что она не знаетъ, что ты юнкеръ; она думаетъ, что ты разжалованный...

— Можетъ быть. Какое мнѣ дѣло!... сказалъ онъ разсѣянно.

— Нѣтъ, я только такъ это говорю...

— А знаешь ли, что ты нынче ее ужасно разсердилъ? Она нашла, что это неслыханная дерзость; я насилу могъ ее увѣрить, что ты такъ хорошо воспитанъ и такъ хорошо знаешь свѣтъ, что не могъ имѣть намѣренія ее оскорбить. Она говоритъ, что у тебя наглый взглядъ, что ты вѣрно о себѣ самого высокаго мнѣнія.

— Она не ошибается... А ты не хочешь ли за нее вступиться?

— Мнѣ жаль, что я не имѣю еще этого права...

«Ого!» подумалъ я: «у него видно есть уже надежды».

— Впрочемъ, для тебя же хуже, продолжалъ Грушницкій: теперь тебѣ трудно познакомиться съ ними—а жаль! это одинъ изъ самыхъ пріятныхъ домовъ, какіе я только знаю...

Я внутренно улыбнулся.

— Самый пріятный домъ для меня теперь мой, сказалъ я, зѣвая, и всталъ, чтобъ идти.

— Однако признайся, ты раскаяваешься?...

— Какой вздоръ! если я захочу, то завтра же вечеромъ буду у княгини...

— Посмотримъ...

— Даже, чтобъ тебѣ сдѣлать удовольствіе, стану волочиться за княжной...

— Да, если она захочетъ говорить съ тобой...

— Я подожду только той минуты, когда твой разговоръ ей наскучитъ... Прощай...

— А я пойду шататься; я ни за что теперь не засну... Послушай, пойдемъ лучше въ ресторацію, тамъ игра... мнѣ нужны нынче сильныя ощущенія...

— Желаю тебѣ проиграться...

Я пошелъ домой.

21-го мая.

Прошла почти недѣля, а я еще не познакомился съ Лиговскими. Жду удобнаго случая. Грушницкій какъ тѣнь слѣ-

дуетъ за княжной вездѣ; ихъ разговоры безконечны; когда же онъ ей наскучить?... Мать не обращаетъ на это вниманія, потому что онъ не женихъ. Вотъ логика матерей! Я подмѣтилъ два, три нѣжные взгляда—надо этому положить конецъ.

Вчера у колодца въ первый разъ явился Вѣра... Она съ тѣхъ поръ, какъ мы встрѣтились въ гротѣ, не выходила изъ дома. Мы въ одно время опустили стаканы и, наклонясь, она мнѣ сказала шопотомъ:

— Ты не хочешь познакомиться съ Лиговскими?... Мы только тамъ можемъ видѣться...

Упрекъ!... скучно! но я его заслужилъ...

Кстати: завтра балъ по подпискѣ въ залѣ ресторациі, и я буду танцовать съ княжной мазурку.

29-го мая.

Зала ресторациі превратилась въ залу благороднаго собранія. Въ девять часовъ всѣ съѣхались. Княгиня съ дочерью явилась изъ послѣднихъ; многія дамы посмотрѣли на нее съ завистію и недоброжелательствомъ, потому что княжна Мери одѣвается со вкусомъ. Тѣ, которыя почитаютъ себя здѣшними аристократами, утаивъ зависть, примкнули къ ней. Какъ быть? Гдѣ есть общество женщинъ, тамъ сейчасъ явится высшій и низшій кругъ. Подъ окномъ, въ толпѣ народа, стоялъ Грушницкій, прижавъ лицо къ стеклу и не спуская съ глазъ своей богини; она, проходя мимо, едва примѣтно кивнула ему головой. Онъ просіялъ какъ солнце... Танцы начались польскимъ; потомъ заиграли вальсъ. Шпоры зазвенѣли, фалды поднялись и закружились.

Я стоялъ сзади одной толстой дамы, одѣнной розовыми перьями; пышность ея платья напоминала времена фижмы, а пестрота ея негладой кожи—счастливую эпоху мушекъ изъ черной тафты. Самая

большая бородавка на ея шеѣ прикрыта была фермуаромъ. Она говорила своему кавалеру, драгунскому капитану:

— Это княжна Лиговская пренесносная дѣвчонка! Вообразите, толкнула меня и не извинилась, да еще обернулась и посмотрѣла на меня въ лорнетъ... C'est impayable... И чѣмъ она гордится? Ужъ ее надо бы проучить...

— За этимъ дѣло не станетъ! отвѣчалъ услужливый капитанъ и отправился въ другую комнату.

Я тотчасъ подошелъ къ княжнѣ, приглашая ее вальсировать, пользуясь свободой здѣшнихъ обычаевъ, позволяющихъ танцовать съ незнакомыми дамами.

Она едва могла принудить себя не улыбнуться и скрыть свое торжество; ей удалось, однако, довольно скоро принять совершенно равнодушный и даже строгій видъ. Она небрежно опустила руку на мое плечо, наклонила слегка головку на бокъ—и мы пустились. Я не знаю тали болѣе сладострастной и гибкой! Ея свѣжее дыханіе касалось моего лица; иногда локонъ, отдѣлившійся въ вихрѣ вальса отъ своихъ товарищей, скользилъ по горящей щекѣ моей... Я сдѣлалъ три тура [она вальсируетъ удивительно хорошо]. Она запыхалась, глаза ея помутились, полураскрытыя губки едва могли прошептать необходимое: *merci, monsieur*.

Послѣ нѣсколькихъ минутъ молчанія, я сказалъ ей, принявъ самый покорный видъ:

— Я слышалъ, княжна, что, будучи вамъ вовсе незнакомъ, я имѣлъ уже несчастье заслужить вашу немилость... что вы меня нашли дерзкимъ... Неужели это правда?

— И вамъ бы хотѣлось теперь меня утвердить въ этомъ мнѣніи? отвѣчала она съ иронической гримаской, которая, впрочемъ, очень идетъ къ ея подвижной физиономіи.

— Если я имѣлъ дерзость васъ чѣмънибудь оскорбить, то позвольте мнѣ имѣть

еще большую дерзость: просить у васъ прощенія... И, право, я бы очень желалъ доказать вамъ, что вы насчетъ меня ошибались...

— Вамъ это будетъ довольно трудно...

— Отчего же?...

— Оттого, что вы у насъ не бываете, а эти балы вѣроятно не часто будутъ повторяться.

«Это значитъ», подумалъ я: «что ихъ двери для меня навѣки закрыты.»

— Знаете, княжна, сказалъ я съ нѣкоторой досадой, — никогда не должно отвергать кающагося преступника: съ отчаянія онъ можетъ сдѣлаться еще вдвое преступнѣе... и тогда...

Хохотъ и шушуканье насъ окружающихъ заставили меня обернуться и прервать мою фразу. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ меня стояла группа мужчинъ, и въ ихъ числѣ драгунскій капитанъ, изъяснившій враждебныя намѣренія противъ милой княжны; онъ особенно былъ чѣмъ-то очень доволенъ, потиралъ руки, хохоталъ и перемигивался съ товарищами. Вдругъ изъ среды ихъ отдѣлился господинъ во фракѣ съ длинными усами и красной рожей, и направилъ невѣрные шаги свои прямо къ княжнѣ: онъ былъ пьянъ. Остановясь противъ смутившейся княжны и заложивъ руки за спину, онъ уставилъ на нее мутно сѣрые глаза и произнесъ хриплымъ дискантомъ:

— Пермете... ну, да что тутъ!... просто: ангажирую васъ на мазурку...

— Что вамъ угодно! произнесла она дрожащимъ голосомъ, бросая кругомъ умоляющій взглядъ. Увы! ея мать была далеко, и возлѣ никого изъ знакомыхъ ей кавалеровъ не было; одинъ адъютантъ, кажется, все это видѣлъ, да спрятался за толпой, чтобъ не быть замѣшану въ исторію.

— Что же? сказалъ пьяный господинъ, мигнувъ драгунскому капитану, который ободрялъ его знаками: — развѣ вамъ не

удовно?... Я-таки опять имѣю честь васъ ангажировать pour mазурке... Вы, можетъ, думаете, что я пьянъ? Это ничего!... Гораздо свободнѣе, могу васъ увѣрить...

Я видѣлъ, что она готова упасть въ обморокъ отъ страха и негодованія.

Я подошелъ къ пьяному господину, взявъ его довольно крѣпко за руку и, посмотрѣвъ ему пристально въ глаза, попросилъ удалиться — потому, прибавилъ я, что княжна давно ужъ обѣщалась танцевать мазурку со мною.

— Ну, нечего, дѣлать!... въ другой разъ! сказалъ онъ, засмѣявшись, и удалился къ своимъ пристыженнымъ товарищамъ, которые тотчасъ увели его въ другую комнату.

Я былъ вознагражденъ глубокимъ, чудеснымъ взглядомъ.

Княжна подошла къ своей матери и рассказала ей все; та отыскала меня въ толпѣ и благодарила. Она объявила мнѣ, что знала мою мать и была дружна съ полдюжиной моихъ тетюшекъ.

— Я не знаю, какъ случилось, что мы до сихъ поръ съ вами незнакомы, прибавила она: — но признайтесь, вы этому одни виною; вы дичитесь всѣхъ такъ, что ни на что не похоже. Я надѣюсь, что воздухъ моей гостиной разгонитъ вашъ сплинъ... Не правда ли?

Я сказалъ ей одну изъ тѣхъ фразъ, которыя у всякаго должны быть заготовлены на подобный случай.

Кадрили тянулись ужасно долго.

Наконецъ съ хоръ загремѣла музыка; мы съ княжной усѣлись.

Я не намекалъ ни разу ни о пьяномъ господинѣ, ни о прежнемъ моемъ поведеніи, ни о Грушницкомъ. Впечатлѣніе, произведенное на нее непріятною сценою, мало по малу разсѣялось, личико ея расцвѣло; она шутила очень мило; ея разговоръ былъ остеръ, безъ притязанія на остроу, живъ и свободенъ; ея замѣчанія иногда глубоки... Я далъ ей почувство-

вать очень запутанной фразой, что она мнѣ давно нравится. Она наклонила головку и слегка покраснѣла.

— Вы странный человекъ! сказала она потомъ, поднявъ на меня свои бархатные глаза и принужденно засмѣявшись.

— Я не хотѣлъ съ вами знакомиться, продолжалъ я: — потому что васъ окружаетъ слишкомъ густая толпа поклонниковъ, и я боялся въ ней исчезнуть совершенно.

— Вы напрасно боялись! они всѣ прекрасные...

— Всѣ! неужели всѣ?

Она посмотрѣла на меня пристально, стараясь будто припомнить что-то, потомъ опять слегка покраснѣла и наконецъ произнесла рѣшительно: всѣ!

— Даже мой другъ Грушникій?

— А онъ вашъ другъ? сказала она, показывая нѣкоторое сомнѣніе.

— Да.

— Онъ, конечно, не входитъ въ разрядъ скучныхъ...

— Но въ разрядъ несчастныхъ, сказалъ я, смѣясь.

— Конечно! А вамъ смѣшно? Я бъ желала, чтобъ вы были на его мѣстѣ...

— Что жъ? я былъ самъ нѣкогда юнкеромъ и, право, это самое лучшее время моей жизни!

— А развѣ онъ юнкеръ?... сказала она быстро, и потомъ прибавила, а я думала...

— Что вы думали?...

— Ничего!... Кто эта дама?

— Тутъ разговоръ переимѣнилъ направление и къ этому ужъ болѣе не возвращался.

Вотъ мазурка кончилась, и мы расстались—до свиданія. Дамы разѣхались. Я пошелъ ужинать и встрѣтилъ Вернера.

— А-га! сказалъ онъ: такъ-то вы! А еще хотѣли не иначе знакомиться съ княжной, какъ спасши ее отъ вѣрной смерти.

— Я сдѣлалъ лучше, отвѣчалъ я ему: спасъ ее отъ обморока на балѣ...

— Какъ это? Расскажите.

— Нѣтъ отгадайте—о вы, отгадывающій все на свѣтѣ!

30-го мая.

Около семи часовъ вечера я гулялъ на бульварѣ. Грушникій, увидѣвъ меня издали, подошелъ ко мнѣ; какой-то смѣшной восторгъ блисталъ въ его глазахъ. Онъ крѣпко пожалъ мнѣ руку и сказалъ трагическимъ голосомъ:

— Благодарю тебя, Печоринъ... Ты понимаешь меня?...

— Нѣтъ; но во всякомъ случаѣ не стоитъ благодарности, отвѣчалъ я, не имѣя точно на совѣсти никакого благодѣянія.

— Какъ? а вчера? ты развѣ забылъ?... Мери мнѣ все рассказала...

— А что? развѣ у васъ ужъ нынче все общее? и благодарность?...

— Послушай, сказалъ Грушникій очень важно:—пожалуйста, не подшучивай надъ моей любовью, если хочешь остаться моимъ пріятелемъ. Видишь: я ее люблю до безумія... и я думаю, я надѣюсь, она также меня любитъ... У меня есть до тебя просьба: ты будешь нынче у нихъ вечеромъ; обѣщай мнѣ замѣчать все: я знаю, ты опытенъ въ этихъ вещахъ, ты лучше меня знаешь женщинъ... Женщины! женщины! кто ихъ пойметъ? Ихъ улыбки противорѣчатъ ихъ взорамъ, ихъ слова обѣщаютъ и манятъ, а звукъ ихъ голоса отталкиваетъ... То онѣ въ минуту постигаютъ и угадываютъ самую потаенную нашу мысль, то не понимаютъ самыхъ ясныхъ намековъ... Вотъ хоть княжна: вчера ея глаза пылали страстью, останавливаясь на мнѣ, нынче они тусклы и холодны...

— Это, можетъ быть, слѣдствіе дѣйствія водъ, отвѣчалъ я.

— Ты во всемъ видишь худую сторону... матеріалистъ! прибавилъ онъ презрительно.—Впрочемъ, переимѣнимъ мате-

рію—и, довольный плохимъ каламбуромъ, онъ развеселился.

Въ девятомъ часу мы вмѣстѣ пошли къ княгинѣ.

Проходя мимо оконъ Вѣры, я видѣлъ ее у окна. Мы кинули другъ другу бѣглый взглядъ. Она вскорѣ послѣ насъ вошла въ гостиную Лиговскихъ. Княгиня меня ей представила, какъ своей родственницѣ. Пили чай; гостей было много; разговоръ былъ общій. Я старался понравиться княгинѣ, шутилъ, заставлялъ ее нѣсколько разъ смѣяться отъ души; княжнѣ также не разъ хотѣлось поохотать, но она удерживалась, чтобъ не выйти изъ принятой роли: она находить, что томность къ ней идетъ, и, можетъ быть, не ошибается. Грушницкій, кажется, очень радъ, что моя веселость ее не раздражаетъ.

Послѣ чая всѣ пошли въ залу.

— Довольна ль ты моимъ послушаніемъ, Вѣра? сказалъ я, проходя мимо ея.

Она мнѣ кинула взглядъ, исполненный любви и благодарности. Я привыкъ къ этимъ взглядамъ; но нѣкогда они составляли мое блаженство. Княгиня усадила дочь за фортепьяно; всѣ просили ее спѣть что-нибудь—я молчалъ, и пользуясь суматохой, отошелъ къ окну съ Вѣрой, которая мнѣ хотѣла сказать что-то очень важное для насъ обоихъ... Вышло—вздоръ...

Между тѣмъ княжнѣ мое равнодушіе было досадно, какъ я могъ догадаться по одному сердитому, блестящему взгляду... О, я удивительно понимаю этотъ разговоръ нѣмой, но выразительный, краткій, но сильный!...

Она запѣла; ея голосъ не дуренъ, но поетъ она плохо... впрочемъ я не слушалъ. За то Грушницкій, облокотясь на рояль противъ нея, пожиралъ ее глазами и поминутно говорилъ вполголоса: *charmant! délicieux!*

— Послушай, говорила мнѣ Вѣра:—я не хочу, чтобъ ты знакомился съ моимъ

мужемъ, но ты долженъ непременно понравиться княгинѣ; тебѣ это легко: ты можешь все, что хочешь. Мы здѣсь только будемъ видѣться...

— Только?...

Она покраснѣла и продолжала:— Ты знаешь, что я твоя раба; я никогда не умѣла тебѣ противиться... и я буду за это наказана: ты меня разлюбишь! По крайней мѣрѣ, я хочу сберечь свою репутацию... не для себя—ты это знаешь очень хорошо!... О, я прошу тебя: не мучь меня попрежнему пустыми сомнѣніями и притворной холодностью; я, можетъ быть, скоро умру; я чувствую, что слабѣю со дня на день... и, не смотря на это, я не могу думать о будущей жизни, я думаю только о тебѣ... Вы, мужчины, не понимаете наслажденій взора, пожатія руки... а я, клянусь тебѣ, я, прислушиваясь къ твоему голосу, чувствую такое глубокое, странное блаженство, что самые жаркіе поцѣлуи не могутъ замѣнить его.

Между тѣмъ княжна Мери перестала пѣть. Ропотъ похвалъ раздался вокругъ нея; я подошелъ къ ней послѣ всѣхъ и сказалъ ей что-то на счетъ ея голоса довольно небрежно.

Она сдѣлала гримаску, выдвинувъ нижнюю губу, и присѣла очень насмѣшливо.

— Мнѣ это тѣмъ болѣе лестно, сказала она, что вы меня вовсе не слушали; но вы, можетъ быть, не любите музыки?...

— Напротивъ... послѣ обѣда особенно.

— Грушницкій правъ, говоря, что у васъ самые прозаическіе вкусы... и я вижу, что вы любите музыку въ гастрономическомъ отношеніи.

— Вы ошибаетесь опять; я вовсе не гастрономъ: у меня прескверный желудокъ. Но музыка послѣ обѣда усыпляетъ, а спать послѣ обѣда здорово; слѣдовательно, я люблю музыку въ медицинскомъ отношеніи. Вечеромъ же она, напротивъ, слишкомъ раздражаетъ мои нервы: мнѣ дѣлается или слишкомъ грустно или

слишкомъ весело. То и другое утомительно, когда нѣтъ положительной причины грустить или радоваться, и притомъ грусть въ обществѣ смѣшна, а слишкомъ большая веселость неприлична...

Она не дослушала, отошла прочь, сѣла возлѣ Грушницкаго и между ними начался какой-то сентиментальный разговоръ; кажется, княжна отвѣчала на его мудрыя фразы довольно разсѣянно и неудачно, хотя старалась показать, что слушаетъ его со вниманіемъ, потому что онъ иногда смотрѣлъ на нее съ удивленіемъ, стараясь угадать причину внутренняго волненія, изображавшагося иногда въ ея безпокойномъ взглядѣ...

Но я васъ отгадалъ, милая княжна, берегитесь! Вы хотите мнѣ отплатить тою же монетою, кольнуть мое самолюбіе—вамъ не удастся! и если вы мнѣ объявите войну, то я буду безпощаденъ.

Въ продолженіе вечера я нѣсколько разъ нарочно старался вмѣшаться въ ихъ разговоръ, но она довольно сухо встрѣчала мои замѣчанія, и я съ притворною досадой наконецъ удалился. Княжна торжествовала; Грушницкій тоже. Торжествуйте, друзья мои, торопитесь... вамъ недолго торжествовать!... Какъ быть? у меня есть предчувствіе... Знакомаясь съ женщиной, я всегда безошибочно отгадывалъ, будетъ она меня любить или нѣтъ...

Остальную часть вечера я провелъ возлѣ Вѣры и до сыта наговорился о старинѣ... За что она меня такъ любить—право не знаю! тѣмъ болѣе, что это одна женщина, которая меня поняла совершенно, со всѣми моими мелкими слабостями, дурными страстями... Неужели зло такъ привлекательно?...

Мы вышли вмѣстѣ съ Грушницкимъ; на улицѣ онъ взялъ меня подъ руку и послѣ долгаго молчанія сказалъ:

— Ну, что?

«Ты глупъ», хотѣлъ я ему отвѣтить, но удержался и только пожалъ плечами.

6-го іюня.

Всѣ эти дни я ни разу не отступилъ отъ своей системы. Княжнѣ начинаетъ нравиться мой разговоръ; я рассказалъ ей нѣкоторые изъ странныхъ случаевъ моей жизни, и она начинаетъ видѣть во мнѣ человѣка необыкновеннаго. Я смѣюсь надъ всѣмъ на свѣтѣ, особенно надъ чувствами: это начинаетъ ее пугать. Она при мнѣ не смѣетъ пускаться съ Грушницкимъ въ сентиментальныя пренія, и уже нѣсколько разъ отвѣчала на его выходки насмѣшливой улыбкой; но я всякій разъ, какъ Грушницкій подходитъ къ ней, принимаю смиренный видъ и оставляю ихъ вдвоемъ; въ первый разъ была она этому рада, или старалась показать; во второй разсердилась на меня; въ третій—на Грушницкаго.

— У васъ очень мало самолюбія! сказала она мнѣ вчера.—Отчего вы думаете, что мнѣ веселѣе съ Грушницкимъ?

Я отвѣчалъ, что жертвую счастію пріятеля своимъ удовольствіемъ...

— И моимъ, прибавила она.

Я пристально посматрѣлъ на нее и принялъ серьезный видъ. Потомъ цѣлый день не говорилъ съ ней ни слова... Вечеромъ она была задумчива; нынче поутру у колодца еще задумчивѣе. Когда я подошелъ къ ней, она разсѣянно слушала Грушницкаго, который, кажется, восхищался природой, но только что завидѣла меня, она стала хохотать [очень некстати], показывая, будто меня не примѣчаетъ. Я отошелъ подальше и украдкой сталъ наблюдать за ней; она отвернувшись отъ своего собесѣдника и зѣвнула два раза. Рѣшительно, Грушницкій ей надоелъ.—Еще два дня не буду съ ней говорить.

11-го іюня.

Я часто себя спрашиваю, зачѣмъ я такъ упорно добиваюсь любви молоденькой дѣвочки, которую обольстить я не хочу и на которой никогда не женюсь? Къ чему

это женское кокетство? Вѣра меня любить больше, чѣмъ княжна Мери будетъ любить когда нибудь; если бѣ она мнѣ казалась непобѣдимой красавицей, то, можетъ быть, я бы завлекся трудностью предпріятія...

Но ни чуть не бывало! Слѣдовательно, это не та безпокойная потребность любви, которая насъ мучить въ первые годы молодости, бросаетъ насъ отъ одной женщины къ другой, пока мы найдемъ такую, которая насъ терпѣть не можетъ: тутъ начинается наше постоянство — истинная, безконечная страсть, которую математически можно выразить линіей, падающей изъ точки въ пространство; секретъ этой безконечности—только въ невозможности достигнуть цѣли, то есть конца.

Изъ чего же я хлопочу?—Изъ зависти къ Грушницкому? Бѣдняжка! онъ вовсе ея не заслуживаетъ. Или это слѣдствіе того сквернаго, но непобѣдимаго чувства, которое заставляетъ насъ уничтожать сладкія заблужденія ближняго, чтобъ имѣть мелкое удовольствіе сказать ему, когда онъ въ отчаяніи будетъ спрашивать, чему онъ долженъ вѣрить:

— Мой другъ, со мною было то же самое, и ты видишь однако, я обѣдаю, ужинаю и сплю преспокойно, и, надѣюсь, съумѣю умереть безъ крика и слезъ.

А вѣдь есть необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распутившейся души! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ до сыта, бросить на дорогѣ: авось кто нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасытную жадность, поглощающую все, что встрѣчается на пути; я смотрю на страданія и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы. Самъ я больше неспособенъ безумствовать подъ

вліяніямъ страсти; честолюбіе у меня подавлено обстоятельствами, но оно проявилось въ другомъ видѣ; ибо честолюбіе есть не что иное, какъ жажда власти, а первое мое удовольствіе—подчинять моей волѣ все, что меня окружаетъ. Возбуждать къ себѣ чувство любви, преданности и страха—не есть ли первый признакъ и величайшее торжество власти? Быть для кого нибудь причиною страданій и радостей, не имѣя на то никакого положительнаго права—не самая ли это сладкая пища нашей гордости? А что такое счастье? Насыщенная гордость. Если бѣ я почиталъ себя лучше, могущественнѣе всѣхъ на свѣтѣ, я былъ бы счастливъ; если бѣ всѣ меня любили, я въ себѣ нашелъ бы безконечные источники любви. Зло порождаетъ зло; первое страданіе даетъ понятіе объ удовольствіи мучить другаго. Идея зла не можетъ войти въ голову человѣка безъ того, чтобъ онъ не захотѣлъ приложить ее къ дѣйствительности. Идеи—созданія органическія, сказалъ кто-то: ихъ рожденіе даетъ уже имъ форму, и эта форма есть дѣйствіе; тотъ, въ чьей головѣ родилось больше идей, тотъ больше другихъ дѣйствуетъ. Отъ этого гений, прикованный къ чиновническому столу, долженъ умереть или сойти съ ума, точно также, какъ человѣкъ съ могучимъ тѣлосложеніемъ, при сидячей жизни и скромномъ поведеніи, умираетъ отъ апopleксическаго удара.

Страсти не что иное, какъ идеи при первомъ своемъ развитіи; онѣ принадлежность юности сердца, и глупецъ тотъ, кто думаетъ цѣлую жизнь ими волноваться: многія спокойныя рѣки начинаются шумными водопадами, а ни одна не скачетъ и не пѣнится до самаго моря. Но это спокойствіе часто признакъ великой, хотя скрытой силы; полнота и глубина чувствъ и мыслей не допускаетъ бѣшеныхъ порывовъ: душа, страдая и наслаждаясь, даетъ во всемъ себѣ строгій от-

четь и убѣждается въ томъ, что такъ должно; она знаетъ, что безъ грозъ постоянный зной солнца ее изсушитъ; она проникается своей собственной жизнью—лелѣетъ и наказываетъ себя, какъ любимого ребенка. Только въ этомъ высшемъ состояніи самопознанія человѣкъ можетъ оцѣнить правосудіе Божіе.

Перечитывая эту страницу, я замѣчаю, что далеко отвлекся отъ своего предмета... Но что за нужда?... Въѣдъ этотъ журналъ пишу я для себя и, слѣдственно, все, что я въ него ни брошу, будетъ современемъ для меня драгоценнымъ воспоминаніемъ.

Пришелъ Грушницкій и бросился мнѣ на шею: онъ произведенъ въ офицеры. Мы выпили шампанскаго. Докторъ Вернеръ вошелъ вслѣдъ за нимъ.

— Я васъ не поздравляю, сказалъ онъ Грушницкому.

— Отчего?

— Оттого, что солдатская шинель вамъ очень идетъ, и признайтесь, что армейскій пѣхотный мундиръ сшитый здѣсь на водахъ, не придастъ вамъ ничего интереснаго... Видите ли, вы до сихъ поръ были исключеніемъ, а теперь пойдете подъ общее правило.

— Толкуйте, толкуйте, докторъ! вы мнѣ не помѣшаете радоваться.—Онъ не знаетъ, прибавилъ Грушницкій мнѣ на ухо: сколько надеждъ придали мнѣ эти эпoletы... О... эпoletы! эпoletы! ваши звѣздочки—путеводительныя звѣздочки... Нѣтъ, я теперь совершенно счастливъ.

— Ты идешь съ нами гулять къ провалу? спросилъ я его.

— Я? Ни за что не покажусь княжнѣ, пока не готовъ будетъ мундиръ.

— Прикажешь ей объявить о твоей радости?

— Нѣтъ, пожалуйста, не говори... Я хочу ее удивить...

— Скажи мнѣ однако, какъ твои дѣла съ нею?

Онъ смутился и задумался: ему хотѣлось похвастаться, солгать—и было совѣстно, а вмѣстѣ съ этимъ было стыдно признаться въ истинѣ.

— Какъ ты думаешь, любить ли она тебя?...

— Любить ли? Помилуй, Печоринъ, какія у тебя понятія!... какъ можно такъ скоро?... Да если даже она и любитъ, то порядочная женщина этого не скажетъ...

— Хорошо! И, вѣроятно, по твоему, порядочный человѣкъ долженъ тоже молчать о своей страсти?...

— Эхъ, братецъ! на все есть манера; многое не говорится, а отгадывается...

— Это правда... Только любовь, которую мы читаемъ въ глазахъ, ни къ чему женщину не обязываетъ, тогда какъ слова... Берегись, Грушницкій, она тебя надуваетъ...

— Она?... отвѣчалъ онъ, поднявъ глаза къ небу и самодовольно улыбнувшись: мнѣ жаль тебя, Печоринъ!...

Онъ ушелъ.

Вечеромъ многочисленное общество отпраздновало пѣшкомъ къ провалу.

По мнѣнію здѣшнихъ ученыхъ, этотъ провалъ не что иное, какъ угасшій кратеръ; онъ находится на отлогости Машука, въ верстѣ отъ города. Къ нему ведетъ узкая тропинка между кустарниковъ и скалъ; взбираясь на гору, я подаль руку княжнѣ, и она ее не покидала въ продолженіе цѣлой прогулки.

Разговоръ нашъ начался злословіемъ: я сталъ перебирать присутствующихъ и отсутствующихъ нашихъ знакомыхъ; сначала выказывалъ смѣшныя, а послѣ дурныя ихъ стороны. Желчь моя взволновалась. Я началъ шутя и окончилъ искренней злостью. Сперва это ее забавляло, а потомъ испугало.

— Вы опасный человѣкъ! сказала она мнѣ: я бы лучше желала попасться въ лѣсу подъ ножъ убійцы, чѣмъ вамъ на язычекъ... Я васъ прошу не шутя: когда

вамъ вздумается обо мнѣ говорить дурно, возьмите лучше ножъ и зарѣжьте меня—я думаю, это вамъ не будетъ очень трудно.

— Развѣ я похожъ на убійцу?...

— Вы хуже...

Я задумался на минуту и потомъ сказалъ, принявъ глубокотронутый видъ:

— Да, такова была моя участь съ самаго дѣтства! Всѣ читали на моемъ лицѣ признаки дурныхъ свойствъ, которыхъ не было; но ихъ предполагали—и они родились. Я былъ скроменъ—меня обвиняли въ лукавствѣ: я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро и зло—никто меня не ласкалъ, всѣ оскорбляли: я сталъ злопамятенъ; я былъ угрюмъ—другія дѣти веселы и болтливы; я чувствовалъ себя выше ихъ—меня ставили ниже: я сдѣлался завистливъ. Я былъ готовъ любить весь міръ—меня никто не понималъ: и я выучился ненавидѣть. Моя безцвѣтная молодость протекла въ борьбѣ съ собой и свѣтомъ; лучшія мои чувства, боясь насмѣшки, я хоронилъ въ глубинѣ сердца: они тамъ и умерли. Я говорилъ правду—мнѣ не вѣрили: я началъ обманывать. Узнавъ хорошо свѣтъ и пружины общества, я сталъ искусенъ въ наукѣ жизни, и видѣлъ, какъ другіе безъ искусства счастливы, пользуясь даромъ тѣми выгодами, которыхъ я такъ неутомимо добивался. И тогда въ груди моей родилось отчаяніе—не то отчаяніе, которое лечатъ дуломъ пистолета, но холодное, безсильное отчаяніе, прикрытое любезностью и добродушной улыбкой. Я сдѣлался нравственнымъ калѣжкой: одна половина души моей не существовала, она высохла, испарилась, умерла; я ее отрѣзалъ и бросилъ—тогда какъ другая шевелилась и жила къ услугамъ cadaго, и этого никто не замѣтилъ, потому что никто не зналъ о существованіи погибшей ея половины: но вы теперь во мнѣ разбудили воспоминаніе о ней, и я вамъ прочелъ ея эпитафію.

Многимъ всѣ вообще эпитафіи кажутся смѣшными, но мнѣ—нѣтъ; особенно, когда вспомню о томъ, что подъ ними покоится. Впрочемъ, я не прошу васъ раздѣлять мое мнѣніе: если моя выходка вамъ кажется смѣшна—пожалуйста, смѣйтесь; предупреждаю васъ, что это меня не огорчитъ ни мало.

Въ эту минуту я встрѣтилъ ея глаза: въ нихъ бѣгали слезы; рука ея, опираясь на мою, дрожала; щеки пылали; ей было жаль меня! Состраданіе—чувство, которому покоряются такъ легко всѣ женщины, впустило свои когти въ ея неопытное сердце. Во все время прогулки она была разсѣянна, ни съ кѣмъ не кокетничала—а это великій признак!

Мы пришли къ провалу: дамы оставили своихъ кавалеровъ, но она не покидала руки моей. Остроты здѣшнихъ денди ее не смѣшили; крутизна обрыва, у котораго она стояла, ее не пугала, тогда какъ другія барышни пищали и закрывали глаза.

На возвратномъ пути я не возобновлялъ нашего печальнаго разговора, но на пустые мои вопросы и шутки она отвѣчала коротко и разсѣянно.

— Любили ли вы? спросилъ я ее наконецъ.

Она посмотрѣла на меня пристально, покачала головой—и опять впала въ задумчивость: явно было, что ей хотѣлось что-то сказать, но она не знала съ чего начать; ея грудь волновалась... Какъ быть! кисейный рукавъ слабая защита, и электрическая искра пробѣжала изъ моей руки въ ея руку; всѣ почти страсти начинаются такъ, и мы часто себя очень обманываемъ, думая что насъ женщина любить за наши физическія или нравственныя достоинства; конечно, они приготовляютъ, располагаютъ ея сердце къ принятію священнаго огня; а все-таки первое прикосновеніе рѣшаетъ дѣло.

— Не правда ли, я была очень любезна сегодня? сказала мнѣ княжна съ

принужденной улыбкой, когда мы возвратились съ гулянья.

Мы разстались.

Она недовольна собой: она себя обвиняет въ холодности... О, это первое, главное торжество!

Завтра она захочетъ вознаградить меня. Я все это ужъ знаю наизусть—вотъ что скучно.

12-го іюня.

Нынче я видѣлъ Вѣру. Она замучила меня своею ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей повѣрять свои сердечныя тайны: надо признаться, удачный выборъ!

— Я отгадываю, къ чему все это клонится, говорила мнѣ Вѣра; лучше скажи мнѣ просто теперь, что ты ее любишь.

— Но если я ее не люблю?

— То за чѣмъ же ее преслѣдовать, тревожить, волновать ея воображеніе!... О, я тебя хорошо знаю! Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебѣ вѣрила, то приѣзжай черезъ недѣлю въ Кисловодскъ; послѣ завтра мы переѣзжаемъ туда. Княгиня остается здѣсь дольше. Найми квартиру рядомъ: мы будемъ жить въ большомъ домѣ близъ источника, въ мезонинѣ; внизу княгиня Лиговская, а рядомъ есть домъ того же хозяина, который еще не занятъ... Приѣдешь?...

Я обѣщалъ, и въ тотъ же день послалъ занять эту квартиру.

Грушницкій пришелъ ко мнѣ въ шесть часовъ и объявилъ, что завтра будетъ готовъ его мундиръ, какъ разъ къ балу.

— Наконецъ я буду съ нею танцовать цѣлый вечеръ... Вотъ наговорюсь! прибавилъ онъ.

— Когда же балъ?

— Да завтра! Развѣ не знаешь? Большой праздникъ, и здѣшнее начальство взялось его устроить...

— Пойдемъ на бульваръ...

— Ни за что, въ этой гадкой шинели...

— Какъ, ты ее разлюбилъ?...

Я ушелъ одинъ и, встрѣтивъ княжну Мери, позвалъ ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована.

— Я думала, что вы танцуете только по необходимости, какъ прошлый разъ, сказала она, очень мило улыбаясь...

Она, кажется, вовсе не замѣчаетъ отсутствія Грушницкаго.

— Вы будете завтра пріятно удивлены, сказалъ я ей.

— Чѣмъ?...

— Это секретъ... на балѣ вы сами догадаетесь.

Я окончилъ вечеръ у княгини; гостей не было, кромѣ Вѣры и одного презабавнаго старичка. Я былъ въ духѣ, импровизировалъ разныя необыкновенныя исторіи; княжна сидѣла противъ меня и слушала мой вздоръ съ такимъ глубокимъ, напряженнымъ, даже нѣжнымъ вниманіемъ, что мнѣ стало совѣстно. Куда дѣвалась ея живость, ея кокетство, ея капризы, ея дерзкая мина, презрительная улыбка, разсѣянный взглядъ?...

Вѣра все это замѣтила; на ея болѣзненномъ лицѣ изображалась глубокая грусть; она сидѣла въ тѣни у окна, погружаясь въ широкія кресла... Мнѣ стало жаль ее.

Тогда я разсказалъ всю драматическую исторію нашего знакомства съ нею, нашей любви—разумѣется, прикрывъ все это вымышленными именами.

Я такъ живо изобразилъ мою нѣжность, мои безпокойства, восторги; я въ такомъ выгодномъ свѣтѣ выставилъ ея поступки, характеръ, что она поневолѣ должна была простить мнѣ мое кокетство съ княжной.

Она встала, подсѣла къ намъ, оживилась... и мы только въ два часа ночи вспомнили, что доктора велѣтъ ложиться спать въ одиннадцать.

13-го іюня.

За полчаса до бала явился ко мнѣ Грушницкій въ полномъ сіяніи армейскаго

пѣхотнаго мундира. Къ третьей пуговицѣ пристегнута была бронзовая цѣпочка, на которой висѣлъ двойной лорнетъ; эпoletы, неимовѣрной величины, были загнуты кверху, ввидѣ крылышекъ Амура; сапоги его скрипѣли; въ лѣвой рукѣ держалъ онъ коричневая лайковыя перчатки и фуражку, а правою взбивалъ ежеминутно въ мелкія кудри завитой хохоль. Самодовольствіе и вмѣстѣ нѣкоторая неувѣренность изображались на его лицѣ; его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если-бъ это было согласно съ моими намѣреніями.

Онъ бросилъ фуражку съ перчатками на столъ и началъ обтягивать фалды и поправляться передъ зеркаломъ; черный огромный платокъ, наверху на высочайшій подгалстушникъ, котораго щетина поддерживала его подбородокъ, высовывался на полвершка изъ-за воротника; ему показалось мало: онъ вытащилъ его кверху до ушей; отъ этой трудной работы—ибо воротникъ мундира былъ очень узокъ и безпокоенъ—лицо его налилось кровью.

— Ты, говорятъ, эти дни ужасно волочился за моею княжной? сказалъ онъ довольно небрежно и не глядя на меня.

— Гдѣ намъ, дуракамъ, чай пить! отвѣчалъ я ему, повторяя любимую поговорку одного изъ самыхъ ловкихъ повѣсѣ прошлаго времени, воспѣтаго нѣкогда Пушкинымъ.

— Скажи-ка, хорошо на мнѣ сидитъ мундиръ?... Охъ, проклятый жидъ!... какъ подъ мышками рѣжетъ!... Нѣтъ ли у тебя духовъ?

— Помилуй, чего тебѣ еще? отъ тебя и такъ ужъ несетъ розовой помадой.

— Ничего. Дай-ка сюда...

Онъ налилъ себѣ полстаклянки за галстухъ, въ носовой платокъ, на рукава.

— Ты будешь танцевать? спросилъ онъ.

— Не думаю.

— Я боюсь, что мнѣ съ княжной придется начинать мазурку—я не знаю почти ни одной фигуры...

— А ты звалъ ее на мазурку?

— Нѣтъ еще...

— Смотри, чтобъ тебя не предупредили...

— Въ самомъ дѣлѣ! сказалъ онъ, ударивъ себя по лбу. Прощай... Пойду дожидаться ее у подъѣзда. Онъ схватилъ фуражку и побѣжалъ.

Черезъ полчаса и я отправился. На улицѣ было темно и пусто; вокругъ собранія, или трактира, какъ угодно, тѣснился народъ; окна его свѣтились; звуки полковой музыки доносили ко мнѣ вечерній вѣтеръ. Я шелъ медленно; мнѣ было грустно... Неужели, думалъ я, мое единственное назначеніе на землѣ—разрушать чужія надежды? Съ тѣхъ поръ, какъ я живу и дѣйствую, судьба какъ-то всегда приводила меня въ развязкѣ чужихъ драмъ, какъ будто безъ меня никто не могъ бы ни умереть, ни прійти въ отчаяніе! Я былъ необходимое лицо пятаго акта; невольно я разыгрывалъ жалкую роль палача, или предателя. Какую цѣль имѣла на это судьба?... Ужъ не назначенъ ли я ею въ сочинители мѣщанскихъ трагедій и семейныхъ романовъ—или въ сотрудники поставщику повѣстей, напри-мѣръ, для «Библіотеки для Чтенія»?... Почему знать?... Мало ли людей, начиная жизнь, думаютъ кончить ее какъ Александръ Великій, или лордъ Байронъ, а между тѣмъ цѣлый вѣкъ остаются титулярными совѣтниками?...

Войдя въ залу, я спрятался въ толпѣ мужчинъ и началъ дѣлать свои наблюденія. Грушницкій стоялъ возлѣ княжны и что-то говорилъ съ большимъ жаромъ: она его разсѣянно слушала, смотрѣла по сторонамъ, приложивъ вѣеръ къ губкамъ; на лицѣ ея изображалось нетерпѣніе, глаза ея искали кругомъ кого-то; я тихонько подошелъ сзади, чтобъ подслушать ихъ разговоръ.

— Вы меня мучите, княжна! говорил Грушницкій,—вы ужасно перемѣнились съ тѣхъ поръ, какъ я васъ не видалъ...

— Вы также перемѣнились, отвѣчала она, бросивъ на него быстрый взглядъ, въ которомъ онъ не умѣлъ разобрать тайной насмѣшки.

— Я? Я перемѣнился?... О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видѣлъ васъ однажды, тотъ навѣки унесетъ съ собою вашъ божественный образъ.

— Перестаньте...

— Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно, и такъ часто, внимали благосклонно?...

— Потому что я не люблю повтореній, отвѣчала она, смѣясь.

— О, я горько ошибся!... Я думалъ, безумный, что по крайней мѣрѣ эти эполеты дадутъ мнѣ право надѣяться... Нѣтъ, лучше бы мнѣ вѣкъ остаться въ этой презрѣнной солдатской шинели, которой, можетъ быть, я былъ обязанъ вашимъ вниманіемъ...

— Въ самомъ дѣлѣ, вамъ шинель гораздо болѣе къ лицу...

Въ это время я подошелъ и поклонился княжнѣ: она-немножко покраснѣла и быстро проговорила:

— Не правда ли, мсье Печоринъ, что сѣрая шинель гораздо больше идетъ къ мсье Грушницкому?...

— Я съ вами не согласенъ, отвѣчалъ я: въ мундирѣ онъ еще моложавѣе.

Грушницкій не вынесъ этого удара: какъ всѣ мальчики, онъ имѣетъ претензію быть старикомъ; онъ думаетъ, что на его лицѣ глубокіе слѣды страстей замѣняютъ отпечатокъ лѣтъ. Онъ на меня бросилъ бѣшеный взглядъ, топнулъ ногою и отошелъ прочь.

— А признайтесь, сказалъ я княжнѣ: что хотя онъ всегда былъ очень смѣшонъ, но еще недавно онъ вамъ казался интересенъ... въ сѣрой шинели?...

Она потупила глаза и не отвѣчала.

Грушницкій цѣлый вечеръ преслѣдовалъ княжну, танцовать или съ нею, или vis-à-vis; онъ пожиралъ ее глазами, вздыхалъ и надоѣлъ ей мольбами и упреками. Послѣ третьей кадрили она его ужъ ненавидѣла.

— Я этого не ожидалъ отъ тебя, сказалъ онъ, подходя ко мнѣ и взявъ меня за руку.

— Чего?

— Ты съ нею танцуешь мазурку? спросилъ онъ торжественнымъ голосомъ.— Она мнѣ призналась...

— Ну, такъ что жъ? а развѣ это секретъ?

— Разумѣется... Я долженъ былъ этого ожидать отъ дѣвчонки... отъ кокетки... Ужъ я отомщу!

— Пѣняй на свою шинель, или на свои эполеты, а зачѣмъ же обвинять ее? Чѣмъ она виновата: что ты ей больше не нравишься?...

— Зачѣмъ же подавать надежды?

— Зачѣмъ же ты надѣялся? Желать и добиваться чегонибудь — понимаю; а кто жъ надѣется?

— Ты выигралъ пари, только не со всѣмъ, сказалъ онъ, злобно улыбаясь.

Мазурка началась. Грушницкій выбиралъ одну только княжну, другіе кавалеры поминутно ее выбирали: это явно былъ заговоръ противъ меня—тѣмъ лучше: ей хочется говорить со мною, ей мѣшаютъ—ей захочется вдвое болѣе.

Я раза два пожалъ ея руку; во второй разъ она ее выдернула, не говоря ни слова.

— Я дурно буду спать эту ночь, сказала она мнѣ, когда мазурка кончилась.

— Этому виноватъ Грушницкій.

— О, нѣтъ! — И лицо ея стало такъ задумчиво, такъ грустно, что я далъ себѣ слово въ этотъ вечеръ непременно поцѣловать ея руку.

Стали развѣзжаться. Сажая княжну въ карету, я быстро прижалъ ея маленькую

ручку къ губамъ своимъ. Было темно, и никто не могъ этого видѣть.

Я возвратился въ залу очень доволенъ собою.

— За большимъ столомъ ужинала молодежь и между ними Грушницкій. Когда я вошелъ, всѣ замолчали; видно, говорили обо мнѣ. Многіе съ прошедшаго бала на меня дуются, особенно драгунскій капитанъ; а теперь кажется, рѣшительно составляется противъ меня враждебная шайка подъ командой Грушницкаго. У него такой гордый и храбрый видъ...

Очень радъ; я люблю враговъ, хотя не по христіански. Они меня забавляютъ, волнуютъ мнѣ кровь. Быть всегда на стражѣ, ловить каждый взглядъ, значеніе каждаго слова, угадывать намѣреніе, разрушать заговоры, притворяться обманутымъ, и вдругъ однимъ толчкомъ опрокинуть все огромное и многотрудное зданіе изъ хитростей и замысловъ,—вотъ что я называю жизнью.

Въ продолженіе ужина Грушницкій шептался и перемигивался съ драгунскимъ капитаномъ.

14-го іюня.

Нынче поутру Вѣра уѣхала съ мужемъ въ Кисловодскъ. Я встрѣтилъ ихъ карету, когда шелъ къ княгинѣ Лиговской. Она мнѣ кивнула головой: во взглядѣ ея былъ упрекъ.

Кто жъ виноватъ? Зачѣмъ, она не хочетъ дать мнѣ случай видѣться съ нею наединѣ? Любовь, какъ огонь,—безъ пищи гаснетъ. Авось ревность сдѣлаетъ то, чего не могли мои просьбы.

Я сидѣлъ у княгини битый часъ. Мери не вышла: больна. Вечеромъ на бульварѣ ея не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла въ самомъ дѣлѣ грозный видъ. Я радъ, что княжна больна: они сдѣлали бы ей какую нибудь дерзость. У Грушницкаго растрепанная прическа и отчаянный видъ;

онъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ огорченъ, особенно самолюбіе его оскорблено; но вѣдь есть же люди, въ которыхъ даже отчаяніе забавно!...

Возвратясь домой, я замѣтилъ, что мнѣ чего-то недостаетъ. Я не видалъ ея! Она больна! Ужъ не влюбился ли я въ самомъ дѣлѣ?... Какой вздоръ!

15-го іюня.

Въ одиннадцать часовъ утра—часъ, въ который княгиня Лиговская обыкновенно потѣетъ въ Ермоловской ваннѣ—я шѣлъ мимо ея дома. Княжна сидѣла задумчиво у окна; увидѣвъ меня, вскочила.

Я вошелъ въ переднюю, людей никого не было, и я безъ доклада, пользуясь свободой здѣшнихъ нравовъ, пробрался въ гостиную.

Тусклая блѣдность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепьяно, опершись одной рукой на спинку кресель; эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошелъ къ ней и сказалъ:

— Вы на меня сердитесь?...

Она подняла на меня томный, глубокій взоръ и покачала головой; ея губы хотѣли проговорить что-то, и не могли; глаза наполнились слезами; она опустилась въ кресла и закрыла лицо руками.

— Что съ вами? сказалъ я, взявъ ея руку.

— Вы меня не уважаете!... О, оставьте меня!...

Я сдѣлалъ нѣсколько шаговъ... Она выпрямилась въ креслахъ; глаза ея засверкали.

Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказалъ:

— Простите меня, княжна! я поступилъ какъ безумецъ... этого въ другой разъ не случится; я приму свои мѣры... Зачѣмъ вамъ знать то, что происходило до сихъ поръ въ душѣ моей? Вы этого никогда не узнаете и тѣмъ лучше для васъ. Прощайте.

Уходя, мнѣ кажется, я слышалъ, что она плакала.

Я до вечера бродилъ пѣшкомъ по окрестностямъ Машука, утомился ужасно и, пришедши домой, бросился на постель въ совершенномъ изнеможеніи.

Ко мнѣ зашелъ Вернеръ.

— Правда ли, спросилъ онъ, что вы женитесь на княжнѣ Лиговской?

— А что?

— Весь городъ говорить; всѣ мои больные заняты этой важной новостью; а ужъ эти больные такой народъ: все знаютъ!

«Это штуки Грушницкаго», подумалъ я.

— Чтобъ вамъ доказать, докторъ, ложность этихъ слуховъ, объявляю вамъ по секрету, что завтра я переѣзжаю въ Кисловодскъ...

— И княжна также?...

— Нѣтъ; она остается еще на недѣлю здѣсь...

— Такъ вы не женитесь?...

— Докторъ, докторъ! посмотрите на меня: неужели я похожъ на жениха, или на чтонибудь подобное?

— Я этого не говорю... Но вы знаете, есть случаи... прибавилъ онъ, хитро улыбаясь, въ которыхъ благородный человѣкъ обязанъ жениться, и есть маменьки, которыя по крайней мѣрѣ не предупреждаютъ этихъ случаевъ... Итакъ, я вамъ совѣтую, какъ пріятель, быть осторожнѣе. Здѣсь, на водахъ, преопасный воздухъ: сколько я видѣлъ прекрасныхъ молодыхъ людей, достойныхъ лучшей участи, и уѣзжавшихъ отсюда прямо подъ вѣнецъ... Даже, повѣрите ли, меня хотѣли женить! Именно, одна уѣздная маменька, у которой дочь была очень блѣдна. Я имѣлъ несчастіе сказать ей, что цвѣтъ лица возвратится послѣ свадьбы; тогда она со слезами благодарности предложила мнѣ руку своей дочери и все свое состояніе—пятьдесятъ душъ, кажется. Но я отвѣчалъ, что я къ этому неспособенъ.

Вернеръ ушелъ въ полной увѣренности, что онъ меня предостерегъ.

Изъ словъ его я замѣтилъ, что про меня и княжну ужъ распушены въ городѣ разные дурные слухи: это Грушницкому даромъ не пройдетъ!

18-го іюня.

Вотъ ужъ три дня, какъ я въ Кисловодскѣ. Каждый день вижу Вѣру у колодца и на гуляньѣ. Утромъ, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнетъ на ея балконъ; она давно ужъ одѣта и ждетъ условленнаго знака; мы встрѣчаемся, будто нечаянно, въ саду, который отъ нашихъ домовъ спускается къ колодцу. Живительный горный воздухъ возвратилъ ей цвѣтъ лица и силы. Не даромъ Нарзанъ называется богатырскимъ ключемъ. Здѣшніе жители утверждаютъ, что воздухъ Кисловодска располагаетъ къ любви, что здѣсь бывають развязки всѣхъ романовъ, которые когда либо начинались у подошвы Машука. И въ самомъ дѣлѣ, здѣсь все дышетъ уединеніемъ; здѣсь все таинственно—и густыя сѣни липовыхъ аллей, склоняющихся надъ потокомъ, который съ шумомъ и пѣною, падая съ плиты на плиту, прорѣзываетъ себѣ путь между зеленѣющими горами; и ущелья, полныя мглою и молчаніемъ, которыхъ вѣтви разбѣгаются отсюда во всѣ стороны; и свѣжесть ароматическаго воздуха, отягощеннаго испареніями высокихъ южныхъ травъ и бѣлой акаціи; и постоянный сладостно-усыпительный шумъ студеныхъ ручьевъ, которые, встрѣтаясь въ концѣ долины, бѣгутъ дружно въ запуски и наконецъ кидаются въ Подкумокъ. Съ этой стороны ущелье шире и превращается въ зеленую лошину; по ней вьется пыльная дорога. Всякій разъ, какъ я на нее взгляну, мнѣ все кажется, что ѣдетъ карета, а изъ окна кареты выглядываетъ розовое личико. Ужъ много каретъ проѣхало по этой дорогѣ—а той все нѣтъ. Слободка,

которая за крѣпостью, населилась; въ рестораци, построенной на холмѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ моей квартиры, начинаютъ мелькать вечеромъ огни сквозь двойной рядъ тополей; шумъ и звонъ стакановъ раздаются до поздней ночи.

Нигдѣ такъ много не пьютъ кахетинскаго вина и минеральной воды, какъ здѣсь.

Но смѣшивать два эти ремесла

Есть тѣмъ охотниковъ—я не изъ ихъ числа.

Грушницкій съ своей шайкой бушуетъ каждый день въ трактирѣ, и со мной почти не кланяется.

Онъ только вчера пріѣхалъ, а успѣлъ уже поссориться съ тремя стариками, которые хотѣли прежде его сѣсть въ ванну; рѣшительно — несчастія развиваютъ въ немъ воинственный духъ.

22-го іюня.

Наконецъ онѣ пріѣхали. Я сидѣлъ у окна, когда услышалъ стукъ ихъ кареты: у меня сердце вздрогнуло... Что же это такое? Неужто я влюбленъ?... Я такъ глупо созданъ, что этого можно отъ меня ожидать!

Я у нихъ обѣдалъ. Княгиня на меня смотрѣла очень нѣжно, и не отходитъ отъ дочери... плохо! За то Вѣра ревнуетъ меня къ княжнѣ—добился же я этого благополучія. Чего женщина не сдѣлаетъ, чтобъ огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любилъ другую. Нѣтъ ничего парадоксальнѣе женскаго ума: женщинъ трудно убѣдить въ чемъ нибудь; надо ихъ довести до того, чтобъ онѣ убѣдили себя сами. Порядокъ доказательствъ, которыми онѣ уничтожаютъ свои предубѣжденія, очень оригиналенъ; чтобъ выучиться ихъ діалектикѣ, надо опрокинуть въ умъ своемъ всѣ школьныя правила логики. Напримѣръ, способъ обыкновенный:

Этотъ человѣкъ любить меня; но я замуемъ: слѣдовательно, не должна его любить.

Способъ женскій:

— Я не должна его любить, ибо я замуемъ; но онъ меня любитъ—слѣдовательно...

Тутъ нѣсколько точекъ, ибо рассудокъ ужъ ничего не говоритъ, а говорятъ большею частью: языкъ, глаза и вслѣдъ за ними сердце, если оно имѣется.

Что если когда нибудь эти записки попадутся на глаза женщинѣ? — «Клевета!» закричитъ она съ негодованіемъ.

Съ тѣхъ поръ, какъ поэты пишутъ и женщины ихъ читаютъ [за что имъ глубочайшая благодарность], ихъ столько разъ называли ангелами, что онѣ въ самомъ дѣлѣ, въ простотѣ душевной, повѣрили этому комплименту, забывая, что тѣ же поэты за деньги величали Нерона полубогомъ...

Не кстати было бы мнѣ говорить о нихъ съ такою злостью, мнѣ, который, кромѣ ихъ, на свѣтѣ ничего не любитъ, мнѣ, который всегда готовъ былъ имъ жертвовать спокойствіемъ, честолубіемъ, жизнію... Но вѣдь я не въ припадкѣ досады и оскорбленнаго самолюбія стараюсь слернуть съ нихъ то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взоръ проникаетъ. Нѣтъ, все, что я говорю о нихъ, есть только слѣдствіе—

Ума холодныхъ наблюдений

И сердца горестныхъ замѣтъ.

Женщины должны бы желать, чтобъ всѣ мужчины ихъ такъ-же хорошо знали, какъ я, потому что люблю ихъ во сто разъ больше съ тѣхъ поръ, какъ ихъ не боюсь и постигъ ихъ мелкія слабости.

Кстати: Вернеръ намеренъ сравнить женщинъ съ заколдованнымъ лѣсомъ, о которомъ рассказываетъ Тассъ въ своемъ «Освобожденномъ Іерусалимѣ». «Только приступи», говорилъ онъ, «на тебя полетятъ со всѣхъ сторонъ такіе страхи, что Боже упаси: долгъ, гордость, приличіе, общее мнѣніе, насмѣшка, презрѣніе... Надо только не смотрѣть, а идти прямо;



мало по малу чудовища исчезаютъ и открывается предъ тобой тихая и свѣтлая поляна, среди которой цвѣтеть зеленый миртъ. За то бѣда, если на первыхъ шагахъ сердце дрогнетъ и обернешься назадъ!»

24-го іюня.

Сегодняшній вечеръ былъ обилень происшествіями. Верстахъ въ трехъ отъ Кисловодска, въ ущельи, гдѣ протекаетъ Подкумокъ, есть скала называемая Колѣцомъ; это—ворота, образованныя природой; онѣ поднимаются на высокому холмѣ и заходящее солнце сквозь нихъ бросаетъ на міръ свой послѣдній, пламенный взглядъ. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотрѣть на закатъ солнца сквозь каменное окошко. Никто изъ нихъ, по правдѣ сказать, не думалъ о солнцѣ. Я ѣхалъ возлѣ княжны; возвращаясь домой, надо было переѣзжать Подкумокъ въ бродѣ. Горныя рѣчки самыя мелкія опасны особенно тѣмъ, что дно ихъ совершенный калейдоскопъ: каждый день отъ напора волнъ оно измѣняется—гдѣ былъ вчера камень, тамъ нынче яма. Я взялъ подъ уздцы лошадь княжны и свелъ ее въ воду, которая не была выше колѣнъ; мы тихонько стали подвигаться наискось противъ теченія. Извѣстно, что переѣзжая быстрыя рѣчки, не должно смотрѣть на воду, ибо тотчасъ голова закружится. Я забылъ объ этомъ предварить княжну Мери.

Мы были уже на серединѣ, въ самой быстротѣ, когда она вдругъ на сѣдлѣ покачнулась. «Мнѣ дурно!» проговорила она слабымъ голосомъ. Я быстро наклонился къ ней, обвилъ рукою ея гибкую талію.

— Смотрите на верхъ! шепнулъ я ей: это ничего, только не бойтесь, я съ вами.

Ей стало лучше; она хотѣла освободиться отъ моей руки, но я еще крѣпче обвилъ ея нѣжный, мягкій станъ; моя щека почти касалась ея щеки, отъ нея вѣяло пламенемъ.

— Что вы со мною дѣлаете?... Боже мой!...

Я не обращалъ вниманія на ея трепетъ и смущеніе, и губы мои коснулись ея нѣжной щечки; она вздрогнула, но ничего не сказала, мы ѣхали сзади: никто не видалъ. Когда мы выбрались на берегъ, то всѣ пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь; я остался возлѣ нея; видно было, что ее беспокоило мое молчаніе, но я поклялся не говорить ни слова—изъ любопытства. Мнѣ хотѣлось видѣть, какъ она выпутается изъ этого затруднительнаго положенія.

— Или вы меня презираете, или очень любите! сказала она наконецъ голосомъ, въ которомъ были слезы.—Можетъ быть, вы хотите посмѣяться надо мной, возмутить мою душу, и потомъ оставить... Это было бы такъ подло, такъ низко, что одно предположеніе... О, нѣтъ, не правда ли, прибавила она голосомъ нѣжной довѣренности: не правда ли, во мнѣ нѣтъ ничего такого, что бы исключало уваженіе? Вашъ дерзкій поступокъ... я должна, я должна вамъ его простить, потому что позволила... Отвѣчайте, говорите же, я хочу слышать вашъ голосъ!...

Въ послѣднихъ словахъ было такое женское нетерпѣніе, что я невольно улыбнулся; къ счастью, начинало смеркаться... Я ничего не отвѣчалъ.

— Вы молчите? продолжала она: вы, можетъ быть, хотите, чтобъ я первая вамъ сказала, что я васъ люблю...

Я молчалъ.

— Хотите ли этого? продолжала она, быстро обратясь ко мнѣ... Въ рѣшительности ея взора и голоса было что-то страшное...

— Зачѣмъ? отвѣчалъ я, пожавъ плечами.

Она ударила хлыстомъ свою лошадь и пустилась во весь духъ по узкой, опасной дорогѣ; это произошло такъ скоро, что я едва могъ ее догнать и то, когда

ужь она присоединилась къ остальному обществу. До самаго дома она говорила и смѣялась поминутно. Въ ея движеніяхъ было что-то лихорадочное; на меня не взглянула ни разу. Всѣ замѣтили эту необыкновенную веселость. И княгиня внутренно радовалась, глядя на свою дочку; а у дочки просто нервическій припадокъ: она проведетъ ночь безъ сна и будетъ плакать. Эта мысль мнѣ доставляетъ необытное наслажденіе: есть минуты, когда я понимаю Вампира... А еще слышу добрымъ малымъ и добиваюсь этого названія!

Слѣзши съ лошадей, дамы вошли къ княгинѣ; я былъ взволнованъ и поскакалъ въ горы развѣять мысли, толпившіяся въ головѣ моей. Росистый вечеръ дышалъ упительной прохладой. Луна подымалась изъ-за темныхъ вершинъ. Каждый шагъ моей некованной лошади глухо раздавался въ молчаніи ущелій; у водопада я напоилъ коня, жадно вдохнулъ въ себя раза два свѣжій воздухъ южной ночи и пустился въ обратный путь. Я ѣхалъ черезъ слободку. Огни начинали угасать въ окнахъ; часовые на валу крѣпости и казаки на окрестныхъ пикетахъ протяжно перекликались.

Въ одномъ изъ домовъ слободки, построенномъ на краю оврага, замѣтилъ я чрезвычайное освѣщеніе; по временамъ раздавался нестройный говоръ и крики, изобличавшіе военную пирушку. Я слѣзъ и подкрался къ окну; неплотно притворенный ставень позволилъ мнѣ видѣть пирующихъ и разслушать ихъ слова. Говорили обо мнѣ.

Драгунскій капитанъ, разгоряченный виномъ, ударилъ по столу кулакомъ, требуя вниманія.

— Господа, сказалъ онъ, это ни на что не похоже. Печорина надо проучить! Эти петербургскія слѣтки всегда зазнаются, пока ихъ не ударишь по носу! Онъ думаетъ, что онъ только одинъ и

жилъ въ свѣтѣ, оттого что носить всегда чистыя перчатки и вычищенные сапоги.

— И что за надменная улыбка! А я увѣренъ, между тѣмъ, что онъ трусъ,— да, трусъ?

— Я думаю то же, сказалъ Грушницкій.—Онъ любитъ отшучиваться. Я разъ ему такихъ вещей наговорилъ, что другой бы меня изрубилъ на мѣстѣ, а Печоринъ все обратилъ въ смѣшную сторону. Я, разумѣется, его не вызвалъ, потому что это было его дѣло; да не хотѣлъ и связываться...

— Грушницкій на него золь за то, что онъ отбилъ у него княжну, сказалъ кто-то.

— Вотъ еще что вздумали! Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчасъ отсталъ, потому что не хочу жениться, а компрометировать дѣвушку не въ моихъ правилахъ.

— Да, я васъ увѣряю, что онъ первѣйшій трусъ, то-есть Печоринъ, а не Грушницкій,—а Грушницкій молодецъ, и притомъ онъ мой истинный другъ! сказалъ опять драгунскій капитанъ.

— Господа! никто здѣсь его не защищаетъ? Никто? Тѣмъ лучше! хотите испытать его храбрость? Это васъ позабавить...

— Хотимъ; только какъ?

— А вотъ, слушайте: Грушницкій на него особенно сердитъ—ему первая роль! Онъ придерется къ какойнибудь глупости и вызоветъ Печорина на дуэль... Погодите; вотъ въ этомъ-то и штука... Вызоветь на дуэль: хорошо! Все это—вызовъ, приготовленія, условія, будетъ какъ можно торжественнѣе и ужаснѣе—я за это берусь; я буду твоимъ секундантомъ, мой бѣдный другъ! Хорошо! Только вотъ гдѣ закорючка: въ пистолеты мы не положимъ пуль. Ужъ я вамъ отвѣчаю, что Печоринъ струситъ—на шести шагахъ ихъ поставлю, чортъ возьми! Согласны ли, господа?

— Славно придумано!... Согласны!... Почему же нѣтъ?... раздалось со всѣхъ сторонъ.

— А ты, Грушницкій?

Я съ трепетомъ ждалъ отвѣта Грушницкаго; холодная злость овладѣла мною при мысли, что если бъ не случай, то я могъ бы сдѣлаться посмѣшищемъ этихъ дураковъ. Если бъ Грушницкій не согласился, я бросился бъ ему на шею. Но послѣ нѣкотораго молчанія, онъ всталъ съ своего мѣста, протянулъ руку капитану и сказалъ очень важно: «Хорошо, я согласенъ!»

Трудно описать восторгъ всей честной компаніи.

Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они всѣ меня ненавидятъ?» думалъ я.—«За что? Обидѣлъ ли я когонибудь? Нѣтъ. Неужели я принадлежу къ числу тѣхъ людей, которыхъ одинъ видъ уже порождаетъ недоброжелательство?» И я чувствовалъ, что ядовитая злость мало по малу наполняла мою душу. «Берегитесь, господинъ Грушницкій!» говорилъ я, прохаживаясь взадъ и впередъ по комнатѣ: «со мной такъ не шутятъ. Вы дорого можете заплатить за одобреніе вашихъ глупыхъ товарищей. Я вамъ не игрушка!...»

Я не спалъ всю ночь. Къ утру я былъ желтъ, какъ померанецъ.

Путру я встрѣтилъ княжну у колодца.

— Вы больны? сказала она, пристально посмотрѣвъ на меня.

— Я не спалъ ночь.

— И я также... Я васъ обвиняла... можетъ быть напрасно? Но объяснитесь, я могу вамъ простить все...

— Все ли?...

— Все, только говорите правду... только скорѣе... Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение: можетъ быть, вы боитесь препятствій со стороны моихъ родныхъ... это ничего: когда они узнаютъ... [ея голосъ

задрожалъ] я ихъ упрошу. Или ваше собственное положеніе... но знайте, что я всѣмъ могу пожертвовать для того, котораго люблю... О, отвѣчайте скорѣй—сжальтесь... вы меня не презираете—не правда ли?

Она схватила меня за руку.

Княгиня шла впереди насъ съ мужемъ Вѣры и ничего не видала; но насъ могли видѣть гуляющіе больные, самые любопытные сплетники изъ всѣхъ любопытныхъ, и я быстро освободилъ свою руку отъ ея страстнаго пожатія.

— Я вамъ скажу всю истинну, отвѣчалъ я княжнѣ: не буду оправдываться, ни объяснять своихъ поступковъ: я васъ не люблю.

Ея губы слегка поблѣднѣли.

— Оставьте меня, сказала она едва внятно.

— Я пожалъ плечами, повернулся и ушелъ.

25-го іюня.

Я иногда себя призираю... Не оттого ли я презираю и другихъ?... Я сталъ неспособенъ къ благороднымъ порывамъ; я боюсь показаться смѣшнымъ самому себѣ. Другой бы, на моемъ мѣстѣ, предложилъ княжнѣ son coeur et sa fortune; но надо мною слово же н и т ь с я—имѣетъ какую-то волшебную власть: какъ бы страстно я ни любилъ женщину, если она мнѣ дастъ только почувствовать, что я долженъ на ней жениться—прости любовь! мое сердце превращается въ камень, и ничто его не разогрѣетъ снова. Я готовъ на всѣ жертвы, кромѣ этой; двадцать разъ жизнь свою, даже честь поставлю на карту... но свободы моей не продамъ. Отчего я такъ дорожу ею? что мнѣ въ ней? куда я себя готовлю? чего я жду отъ будущаго?... Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страхъ, неизъяснимое предчувствіе... Вѣдь есть люди, которые безотчетно боятся пауковъ, таракановъ, мышей... Признаться ли? Когда я

былъ еще ребенкомъ, одна старуха гадала про меня моей матери; она предсказала мнѣ смерть отъ злой жены; это меня тогда глубоко поразило: въ душѣ моей родилось непреодолимое отвращеніе къ женитьбѣ... Между тѣмъ что-то мнѣ говоритъ, что ея предсказаніе сбудется; по крайней мѣрѣ буду стараться, чтобъ онъ сбылось какъ можно позже.

26-го іюня.

Вчера пріѣхалъ сюда фокусникъ Апфельбаумъ. На дверяхъ рестораціи явилась длинная афишка, извѣщающая почтеннѣйшую публику о томъ, что вышепоименованный удивительный фокусникъ, акробатъ, химикъ и оптикъ, будетъ имѣть честь дать великолѣпное представленіе сегодняшняго числа въ восемь часовъ вечера, въ залѣ благороднаго собранія [иначе—въ рестораціи]; билеты по два рубля съ полтиной.

Всѣ собираются идти смотрѣть удивительнаго фокусника; даже княгиня Лиговская, не смотря на то, что дочь ея больна, взяла для себя билетъ.

Нынче послѣ обѣда я шелъ мимо оконъ Вѣры; она сидѣла на балконѣ одна; къ ногамъ моимъ упала записка:

«Сегодня въ десятомъ часу вечера приходи ко мнѣ по большой лѣстницѣ; мужъ мой уѣхалъ въ Пятигорскъ, и завтра утромъ только вернется. Моихъ людей и горничныхъ не будетъ въ домѣ; я имъ всѣмъ раздала билеты, также и людямъ княгини.—Я жду тебя; приходи непременно.»

«А-га!» подумалъ я, «наконецъ таки вышло по моему.»

Въ восемь часовъ пошелъ я смотрѣть фокусника. Публика собралась въ исходѣ девятаго; представленіе началось. Въ заднихъ рядахъ стульевъ узналъ я лакеевъ и горничныхъ Вѣры и княгини. Всѣ были тутъ на перечесть. Грушницкій сидѣлъ въ первомъ ряду съ лорнетомъ. Фокусникъ

обращался къ нему всякій разъ, какъ ему нуженъ былъ носовой платокъ, часы, кольцо и проч.

Грушницкій мнѣ не кланяется ужъ нѣсколько времени, а нынче раза два посмотрѣлъ на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда намъ придется расплачиваться.

Въ исходѣ десятаго я всталъ и вышелъ.

На дворѣ было темно, хоть глазъ выколи. Тяжелыя холодныя тучи лежали на вершинѣ окрестныхъ горъ; лишь изрѣдка умирающій вѣтеръ шумѣлъ вершинами тополей, окружающихъ ресторацію; у оконъ ея толпился народъ. Я спустился съ горы и, повернувъ въ ворота, прибавилъ шагу. Вдругъ мнѣ показалось, что кто-то идетъ за мною. Я остановился и осмотрѣлся. Въ темнотѣ ничего нельзя было разобрать; однако я, изъ осторожности, обошелъ будто гуляя, вокругъ дома. Проходя мимо оконъ княжны, я услышалъ снова шаги за собою; человекъ, завернутый въ шинель, пробѣжалъ мимо меня. Это меня встревожило; однако я прокрался къ крыльцу и поспѣшно взбѣжалъ на темную лѣстницу. Дверь отворилась маленькая ручка схватила мою руку...

— Никто тебя не видалъ? сказала шопотомъ Вѣра, прижавшись ко мнѣ.

— Никто.

— Теперь ты вѣришь ли, что я тебя люблю? О! я долго колебалась, долго мучилась... но ты изъ меня дѣлаешь все, что хочешь.

Ея сердце сильно билось, руки были холодны, какъ ледъ. Начались упреки ревности, жалобы; она требовала отъ меня, чтобъ я ей во всемъ признался, говоря, что она съ покорностью перенесетъ мою измѣну, потому что хочетъ единственно моего счастья. Я этому не совсѣмъ вѣрилъ, но успокоилъ ее клятвами, обѣщаніями и проч.

Такъ ты не женишься на Мери? не любишь ее?... А она думаетъ... знаешь ли,

она влюблена въ тебя до безумія, бѣд-
няжка!...

.

Около двухъ часовъ пополуночи я отворилъ окно и, связавъ двѣ шали, спустился съ верхняго балкона на нижній, придерживаясь за колонну. У княжны еще горѣлъ огонь. Что-то меня толкнуло къ этому окну. Занавѣсъ былъ не совсѣмъ задернутъ, и я могъ бросить любопытный взглядъ во внутренность комнаты. Мери сидѣла на своей постели, скрестивъ на колѣняхъ руки; ея густые волосы были собраны подъ ночнымъ чепчикомъ обшитымъ кружевами; большой пунцовый платокъ покрывалъ ея бѣлыя плечики и маленькая ножка пряталась въ пестрыхъ персидскихъ туфляхъ. Она сидѣла неподвижно, опустивъ голову на грудь; предъ нею на столикѣ была раскрыта книга, но глаза ея, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, въ сотый разъ пробѣгали одну и ту же страницу, тогда какъ мысли ея были далеко.

Въ эту минуту кто-то шевельнулся за кустомъ. Я спрыгнулъ съ балкона на дернъ. Невидимая рука схватила меня за плечо:

— А-га! сказалъ грубый голосъ:— попался!... будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью!

— Держи его крѣпче! закричалъ другой, выскочившій изъ-за угла.

Это были Грушницкій и драгунскій капитанъ.

Я ударилъ послѣдняго по головѣ кулакомъ, сшибъ его съ ногъ и бросился въ кусты. Всѣ тропинки сада, покрывавшаго отлогость противъ нашихъ домовъ, были мнѣ извѣстны.

— Воры! караулъ!... кричали они; раздался ружейный выстрѣлъ; дымящійся штыкъ упалъ почти къ моимъ ногамъ.

Черезъ минуту я былъ уже въ своей комнатѣ, раздѣлся и легъ. Едва мой ла-

кей заперъ дверь на замокъ, какъ ко мнѣ начали стучаться Грушницкій и капитанъ.

— Печоринъ! вы спите? здѣсь вы?... закричалъ капитанъ.

— Сплю, отвѣчалъ я сердито.

— Вставайте!—воры... черкесы...

— У меня насморкъ, отвѣчалъ я; боюсь простудиться.

Они ушли. Напрасно я имъ откликнулся: они бѣ еще съ часъ проискали меня въ саду. Тревога между тѣмъ, сдѣлалась ужасная. Изъ крѣпости прискакалъ казакъ. Все зашевелилось; стали искать черкесовъ во всѣхъ кустахъ — и, разумѣется, ничего не нашли. Но многіе, вѣроятно, остались въ твердомъ убѣжденіи, что если бѣ гарнизонъ показалъ болѣе храбрости и поспѣшности, то по крайней мѣрѣ десятка два хищниковъ остались бы на мѣстѣ.

27-го іюня.

Нынче поутру у колодца только и было толковъ, что о ночномъ нападеніи черкесовъ. Выпивши положенное число стакановъ Нарзана, пройдясь разъ десять по длинной липовой аллеѣ, я встрѣтилъ мужа Вѣры, который только что пріѣхалъ изъ Пятигорска. Онъ взялъ меня подъ руку, и мы пошли въ ресторацію завтракать; онъ ужасно беспокоился о женѣ. «Какъ она перепугалась нынче ночью!» говорилъ онъ: «вѣдь надобно жѣ, чтобъ это случилось именно тогда, какъ я въ отсутствіи.» Мы усѣлись завтракать возлѣ двери, ведущей въ угловую комнату, гдѣ находилось человѣкъ десять молодежи, въ числѣ которой былъ и Грушницкій. Судьба вторично доставила мнѣ случай подслушать разговоръ, который долженъ былъ рѣшить его участь. Онъ меня не видалъ, и слѣдственно, я не могъ подозревать умысла; но это только увеличивало его вину въ моихъ глазахъ.

— Да неужели въ самомъ дѣлѣ это были черкесы? сказалъ кто-то. — Видѣлъ ли ихъ кто нибудь?

— Я вамъ расскажу всю истину, отвѣчалъ Грушницкій, только пожалуйста не выдавайте меня. Вотъ какъ это было: вчера одинъ человѣкъ, котораго я вамъ не назову, приходитъ ко мнѣ и рассказываетъ, что видѣлъ въ десятомъ часу вечера, какъ кто-то прокрался въ домъ къ Лиговскимъ. Надо вамъ замѣтить, что княгиня была здѣсь, а княжна дома. Вотъ мы съ нимъ и отправились подъ окна, чтобъ подстеречь счастливца.

Признаюсь, я испугался, хотя мой собесѣдникъ очень былъ занятъ своимъ завтракомъ: онъ могъ услышать вещи для себя довольно неприятныя, если бъ неравно Грушницкій отгадалъ истину; но ослѣпленный ревностью, онъ и не подозревалъ ея.

— Вотъ видите ли, продолжалъ Грушницкій: мы и отправились, взявши съ собой ружье, заряженное холостымъ патрономъ, только такъ, чтобъ попугать. До двухъ часовъ ждали въ саду. Наконецъ—ужъ Богъ знаетъ откуда онъ явился, только не изъ окна, потому что оно не отворялось, а должно быть онъ вышелъ въ стеклянную дверь, что за колонной,—наконецъ, говорю я, видимъ мы, сходитъ кто-то съ балкона... Какова княжна?—а? Ну, ужъ признаюсь, московскія барышни! Послѣ этого чему же можно вѣрить? Мы хотѣли его схватить, только онъ вырвался и, какъ заяцъ, бросился въ кусты; тутъ я по немъ выстрѣлилъ.

Вокругъ Грушницкаго раздался ропотъ недовѣрчивости.

— Вы не вѣрите? продолжалъ онъ: даю вамъ честное, благородное слово, что все это сушая правда, и въ доказательство я вамъ, пожалуй, назову этого господина.

— Скажи, скажи, кто жъ онъ! раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Печоринъ, отвѣчалъ Грушницкій.

Въ эту минуту онъ поднялъ глаза—я стоялъ въ дверяхъ противъ него; онъ

ужасно покраснѣлъ. Я подошелъ къ нему и сказалъ медленно и внятно:

— Мнѣ очень жаль, что я вошелъ послѣ того, какъ вы ужъ дали честное слово въ подтвержденіе самой отвратительной клеветы. Мое присутствіе избавило бы васъ отъ лишней подлости.

Грушницкій вскочилъ съ своего мѣста и хотѣлъ разгорячиться.

— Прошу васъ, продолжалъ я тѣмъ же тономъ: прошу васъ сейчасъ же отказаться отъ вашихъ словъ; вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобъ равнодушіе женщины къ вашимъ блестящимъ достоинствамъ заслуживало такое ужасное мщеніе. Подумайте хорошенько: поддерживая ваше мнѣніе, вы теряете право на имя благороднаго человѣка, и рискуете жизнію.

Грушницкій стоялъ передо мною, опустивъ глаза, въ сильномъ волненіи. Но борьба совѣсти съ самолюбіемъ была непродолжительна. Драгунскій капитанъ, сидѣвшій возлѣ него, толкнулъ его локтемъ; онъ вздрогнулъ и быстро отвѣчалъ мнѣ, не подымая глазъ:

— Милостивый государь, когда я что говорю, такъ я это думаю, и готовъ повторить... Я не боюсь вашихъ угрозъ и готовъ на все.

— Послѣднее вы ужъ доказали, отвѣчалъ я ему холодно, и взявъ подъ руку драгунскаго капитана, вышелъ изъ комнаты.

— Что вамъ угодно? спросилъ капитанъ.

— Вы пріятель Грушницкаго и, вѣроятно, будете его секундантомъ?

Капитанъ поклонился очень важно.

— Вы отгадали, отвѣчалъ онъ: я даже обязанъ быть его секундантомъ, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мнѣ: я былъ съ нимъ вчера ночью, прибавилъ онъ, выпрямляя свой сутуловатый станъ.

— А! такъ это васъ ударилъ я такъ неловко по головѣ?...

Онъ пожелтѣлъ, посинѣлъ; скрытая злоба изобразилась на лицѣ его.

— Я буду имѣть честь прислать къ вамъ нынче моего секунданта, прибавилъ я, раскланявшись очень вѣжливо и показывая видъ, будто не обращаю вниманія на его бѣшенство.

На крыльцѣ рестораціи я встрѣтилъ мужа Вѣры. Кажется, онъ меня дожидался.

Онъ схватилъ мою руку съ чувствомъ, похожимъ на восторгъ.

— Благородный молодой человѣкъ, сказалъ онъ, съ слезами на глазахъ. Я все слышалъ. Какой мерзавецъ! неблагодарный!... Принимай ихъ послѣ этого въ порядочный домъ! Слава Богу, у меня нѣтъ дочерей! Но васъ наградить та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте увѣрены въ моей скромности до поры до времени, продолжалъ онъ.—Я самъ былъ молодъ и служилъ въ военной службѣ: знаю, что въ эти дѣла не должно вмѣшиваться. Прощайте.

Бѣдняжка! радуется, что у него нѣтъ дочерей...

Я пошелъ прямо къ Вернеру, засталъ его дома и рассказалъ ему все—отношенія мои къ Вѣрѣ и княжнѣ, и разговоръ, подслушанный мною, изъ котораго я узналъ намѣреніе этихъ господъ—подурочить меня, заставивъ стрѣляться холостыми зарядами. Но теперь дѣло выходило изъ границъ шутки: они, вѣроятно, не ожидали такой развязки.

Докторъ согласился быть моимъ секундantomъ; я далъ ему нѣсколько наставленій насчетъ условій поединка; онъ долженъ былъ настоять на томъ, чтобы дѣло обошлось какъ можно секретнѣе, потому что хотя я когда угодно готовъ подвергать себя сметри, но ни мало не расположенъ испортить навсегда свою будущность въ здѣшнемъ мірѣ.

Послѣ этого я пошелъ домой. Черезъ часъ докторъ вернулся изъ своей экспедиціи.

— Противъ васъ, точно, есть заговоръ, сказалъ онъ.—Я нашелъ у Грушницкаго драгунскаго капитана и еще одного господина, котораго фамиліи не помню. Я на минуту остановился въ передней, чтобы снять калоши. У нихъ былъ ужасный шумъ и споръ... «Ни за что не соглашусь!» говорилъ Грушницкій: «онъ меня оскорбилъ публично; тогда было совсѣмъ другое...» — «Какое тебѣ дѣло?» отвѣчалъ капитанъ: «я все беру на себя. Я былъ секундantomъ на пяти дуэляхъ, и ужъ знаю какъ это устроить. Я все придумалъ. Пожалуйста, только мнѣ не мѣшай. Пугать не худо. А зачѣмъ подвергать себя опасности, если можно избавиться?...» Въ эту минуту я вошелъ. Они вдругъ замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго; наконецъ мы рѣшили дѣло вотъ какъ: верстахъ въ пяти отсюда есть глухое ущелье; они туда поѣдутъ завтра въ четыре часа утра, а мы выѣдемъ полчаса послѣ нихъ; стрѣляться будете на шести шагахъ—этого требовалъ самъ Грушницкій. Убитаго — на счетъ черкесовъ. Теперь вотъ какія у меня подозрѣнія: они, то есть секунданти, должно быть, нѣсколько перемѣнили свой прежній планъ и хотятъ зарядить пулюю одинъ пистолетъ Грушницкаго. Это немножко похоже на убійство, но въ военное время, и особенно въ азіятской войнѣ, хитрости позволяютъ; только Грушницкій, кажется, поблагороднѣе своихъ товарищей. Какъ вы думаете: должны ли мы показать имъ, что догадались?

— Ни за что на свѣтѣ, докторъ! Будьте спокойны; я имъ не поддамся.

— Что же вы хотите дѣлать?

— Это моя тайна.

— Смотрите, не попадитесь... вѣдь на шести шагахъ!

— Докторъ, я васъ жду завтра въ четыре часа; лошади будутъ готовы... Прощайте.

Я до вечера просидѣлъ дома, запершись въ своей комнатѣ. Приходилъ лакей, звать

меня къ княгинѣ—я велѣлъ сказать, что боленъ.

Два часа ночи... не спится... А надо бы заснуть, чтобъ завтра рука не дрожала. Впрочемъ, на шести шагахъ промахнуться трудно. А! господинъ Грушницкій! ваша мистификація вамъ не удалась... мы помѣняемся ролями: теперь мнѣ придется отыскивать на вашемъ блѣдномъ лицѣ признаки тайнаго страха. Зачѣмъ вы сами назначили эти роковые шесть шаговъ? Вы думаете, что я вамъ безъ спора подставлю свой лобъ... но мы бросимъ жребій... и тогда... тогда... что если, его счастье перетянетъ? если моя звѣзда наконецъ мнѣ измѣнитъ?... И немудрено: она такъ долго служила вѣрно моимъ прихотямъ.

Что жъ? умереть, такъ умереть! потеря для міра небольшая; да и мнѣ самому порядочно ужъ скучно. Я—какъ человѣкъ, зѣвующій на балѣ, который не ѣдетъ спать только потому, что еще нѣтъ его кареты. Но карета готова... прощайте!...

Пробѣгаю въ памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно: зачѣмъ я жилъ? для какой цѣли я родился?... А вѣрно, она существовала и, вѣрно, было мнѣ назначеніе высокое, потому что я чувствую въ душѣ моей силы необъятныя... Но я не угадалъ этого назначенія, я увлекся приманками страстей пустыхъ и неблагодарныхъ; изъ горнила ихъ я вышелъ твердъ и холоденъ какъ желѣзо, но утратилъ навѣки пылъ благородныхъ стремленій—лучшій цвѣтъ жизни. И съ той поры сколько разъ уже я игралъ роль топора въ рукахъ судьбы! Какъ орудіе казни, я упалъ на голову обреченныхъ жертвъ, часто безъ злобы, всегда безъ сожалѣнія... Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничѣмъ не жертвовалъ для тѣхъ, кого любилъ: я любилъ для себя, для собственнаго удовольствія; я только удовлетво-

рялъ странную потребность сердца, съ жадностью поглощая ихъ чувства, ихъ нѣжность, ихъ радости и страданія—и никогда не могъ насытиться. Такъ, томимый голодомъ, въ изнеможеніи засыпаетъ и видитъ предъ собою роскошныя кушанья и шипучія вина; онъ пожираетъ съ восторгомъ воздушные дары воображенія, и ему кажется легче; но только проснулся—мечта исчезаетъ... остается удвоенный голодъ и отчаяніе.

И, можетъ быть, я завтра умру!... и не останется на землѣ ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитаютъ меня хуже, другіе лучше, чѣмъ я въ самомъ дѣлѣ... Одни скажутъ: онъ былъ добрый малый, другіе—мерзавецъ. И то и другое будетъ ложно. Послѣ этого стоитъ ли труда жить? а все живешь—изъ любопытства: ожидаешь чего-то новаго... Смѣшно и досадно!

Вотъ уже полтора мѣсяца, какъ я въ крѣпости Н. Максимъ Максимычъ ушелъ на охоту... я одинъ; сижу у окна; сѣрыя тучи закрыли горы до подошвы; солнце сквозь туманъ кажется желтымъ пятномъ. Холодно; вѣтеръ свищетъ и колеблетъ ставни... Скучно!... Стану продолжать свой журналъ, прерванный столькими странными событіями.

Перечитываю послѣднюю страницу: смѣшно!—Я думалъ умереть; это было невозможно: я еще не осушилъ чаши страданій, и теперь чувствую, что мнѣ еще долго жить.

Какъ все прошедшее ясно и рѣзко отлилось въ моей памяти! Ни одной черты, ни одного оттѣнка не стерло время!

Я помню, что въ продолженіе ночи, предшествовавшей поединку, я не спалъ ни минуты. Писать я не могъ долго: тайное безпокойство мною овладѣло. Съ часъ я ходилъ по комнатѣ, потомъ сѣлъ и открылъ романъ Вальтеръ Скотта, лежавшій у меня на столѣ: то были «Шот-

ланскіе Пуритане»; я читалъ сначала съ усиленіемъ, потомъ забылся, увлеченный волшебнымъ вымысломъ...

Наконецъ разсвѣло. Нервы мои успокоились. Я посмотрѣлся въ зеркало; тусклая блѣдность покрывала лицо мое, хранившее слѣды мучительной бессонницы; но глаза, хотя окруженные коричневою тѣнью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволенъ собою.

Велѣвъ сдѣлать лошадей, я одѣлся и сбѣжалъ къ купальнѣ. Погружаясь въ холодный кипятокъ Нарзана, я чувствовалъ, какъ тѣлесныя и душевныя силы мои возвращались. Я вышелъ изъ ванны свѣжъ и бодръ, какъ будто собирался на балъ. Послѣ этого говорите, что душа не зависитъ отъ тѣла!...

Возвратясь, я нашелъ у себя доктора. На немъ были сѣрые рейтузы, архалукъ и черкесская шапка. Я расхохотался, увидѣвъ эту маленькую фигурку подъ огромной косматой шапкой: у него лицо вовсе не воинственное, а въ этотъ разъ оно было еще длиннѣе обыкновеннаго.

— Отчего вы такъ печальны, докторъ? сказалъ я ему. — Развѣ вы сто разъ не провожали людей на тотъ свѣтъ съ величайшимъ равнодушіемъ? Вообразите, что у меня желчная горячка; я могу выздороветь, могу и умереть; то и другое въ порядкѣ вещей; старайтесь смотрѣть на меня какъ на пациента, одержимаго болѣзью, вамъ еще неизвѣстной—и тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени; вы можете надо мною сдѣлать теперь нѣсколько важныхъ физиологическихъ наблюдений... Ожиданіе насильственной смерти не есть ли уже настоящая болѣзнь?

Эта мысль поразила доктора, и онъ развеселился.

Мы сѣли верхомъ; Вернеръ уцѣпился за поводья обѣими руками, и мы пустились—мигомъ проскакали мимо крѣпости черезъ слободку и въѣхали въ ущельѣ,

по которому вилась дорога, полузаросшая высокой травой, и ежеминутно пересѣкаемая шумнымъ ручьемъ, черезъ который нужно было переправляться въ бродъ, къ великому отчаянію доктора, потому что лошадь его каждый разъ въ водѣ останавливалась.

Я не помню утра болѣе голубаго и свѣжаго! Солнце едва выказалось изъ-за зеленыхъ вершинъ, и сліяніе первой теплоты его лучей съ умирающей прохладой ночи наводило на всѣ чувства какое-то сладкое томленіе; въ ущелье не проникалъ еще радостный лучъ молодого дня; онъ золотилъ только верхи утесовъ, висящихъ съ обѣихъ сторонъ надъ нами; густолиственные кусты, растущіе въ ихъ глубокихъ трещинахъ, при малѣйшемъ дыханіи вѣтра осыпали насъ серебрянымъ дождемъ. Я помню—въ этотъ разъ больше, чѣмъ когда нибудь прежде, я любилъ природу. Какъ любопытно всматривался я въ каждую росинку, трепещущую на широкомъ листкѣ виноградномъ и отражавшую миллионы радужныхъ лучей! какъ жадно взоръ мой старался проникнуть въ дымную даль! Тамъ путь все становился уже, утесы синѣе и страшнѣе, и наконецъ они, казалось, сходились непроницаемой стѣной. Мы ѣхали молча.

— Написали ли вы свое завѣщаніе? вдругъ спросилъ Вернеръ.

— Нѣтъ.

— А если будете убиты?

— Наслѣдники отыщутся сами.

— Неужели у васъ нѣтъ друзей, которымъ бы вы хотѣли послать свое послѣднее прощаніе?...

Я покачалъ головой.

— Неужели нѣтъ на свѣтѣ женщины, которой вы хотѣли бы оставить что нибудь на память?...

— Хотите ли, докторъ, отвѣчалъ я ему, чтобъ я раскрылъ вамъ мою душу?... Видите ли, я выжилъ изъ тѣхъ лѣтъ, когда умирають, произнося имя своей

любезной и завѣщая другу клочекъ на-
помаженныхъ или ненапомаженныхъ во-
лосъ. Думая о близкой и возможной
смерти, я думаю объ одномъ себѣ; иные
не дѣлаютъ и этого.—Друзья, которые
завтра меня забудутъ, или, хуже, взве-
дутъ на мой счетъ Богъ знаетъ какія не-
былицы; женщины, которыя, обнимая
другаго, будутъ смѣяться надо мною,
чтобъ не возбудить въ немъ ревности къ
усопшему—Богъ съ ними! Изъ жизнен-
ной бури я вынесъ только нѣсколько
идей—и ни одного чувства. Я давно ужъ
живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣ-
шиваю, разбираю свои собственныя страсти
и поступки съ строгимъ любопытствомъ,
но безъ участія. Во мнѣ два человѣка:
одинъ живетъ въ полномъ смыслѣ этого
слова, другой мыслить и судить его;
первый, быть можетъ, черезъ часъ про-
стится съ вами и міромъ навѣки, а вто-
рой... второй?... Посмотрите, докторъ:
видите ли вы на скалѣ, направо, чернѣ-
ются три фигуры? Это, кажется, наши
противники?...

Мы пустились.

У подошвы скалы, въ кустахъ, были
привязаны три лошади; мы своихъ при-
вязали тутъ же, а сами по узкой тро-
пинкѣ взобрались на площадку, гдѣ ожи-
далъ насъ Грушницкій съ драгунскимъ
капитаномъ и другимъ своимъ секундан-
томъ, котораго звали Иваномъ Игнатье-
вичемъ; фамиліи его я никогда не слы-
халъ.

— Мы давно ужъ васъ ожидаемъ,
сказалъ драгунскій капитанъ съ ирони-
ческой улыбкой.

Я вынулъ часы и показалъ ему.

Онъ извинился, говоря, что его часы
уходятъ.

Нѣсколько минутъ продолжалось за-
труднительное молчаніе; наконецъ докторъ
прервалъ его, обратясь къ Грушницкому.

— Мнѣ кажется, сказалъ онъ, что по-
казавъ оба готовность драться и запла-

тивъ этимъ долгъ условіямъ чести, вы
бы могли, господа, объясниться и кон-
чить это дѣло полюбовно.

— Я готовъ, сказалъ я.

Капитанъ мигнулъ Грушницкому, и
этотъ, думая, что я трушу, принялъ гор-
дый видъ, хотя до сей минуты тусклая
блѣдность покрывала его щеки. Съ тѣхъ
поръ, какъ мы пріѣхали, онъ въ первый
разъ поднялъ на меня глаза; но во взглядѣ
его было какое-то безпокойство, изоб-
личавшее внутреннюю борьбу.

— Объясните ваши условія, сказалъ
онъ; и все, что я могу для васъ сдѣлать,
то будьте увѣрены...

— Вотъ мои условія: вы нынче же
публично откажетесь отъ своей клеветы
и будете просить у меня извиненія...

— Милостивый государь, я удивляюсь,
какъ вы смѣете мнѣ предлагать такіа
вещи?...

— Что жъ я вамъ могъ предложить,
кромѣ этого?...

— Мы будемъ стрѣляться.

Я пожалъ плечами.

— Пожалуй; только подумайте, что
одинъ изъ насъ непременно будетъ
убитъ.

— Я желаю, чтобы это были вы...

— А я такъ увѣренъ въ противномъ...

Онъ смутился, покраснѣлъ, потомъ
принужденно захохоталъ.

Капитанъ взялъ его подъ руку и отвелъ
въ сторону; они долго шептались. Я
пріѣхалъ въ довольно миролюбивомъ рас-
положеніи духа, но все это начинало меня
бѣсить.

Ко мнѣ подошелъ докторъ.

— Послушайте, сказалъ онъ съ явнымъ
безпокойствомъ: вы вѣрно забыли про
ихъ заговоръ?... Я не умѣю зарядить пи-
стоleta, но въ этомъ случаѣ... Вы стран-
ный человѣкъ! Скажите имъ, что вы
знаете ихъ намѣреніе—и они не посмѣ-
ютъ... Что за охота? подстрѣлять васъ,
какъ птицу...

— Пожалуйста, не беспокойтесь, докторъ, и погодите... Я все такъ устрою, что на ихъ сторонѣ не будетъ никакой выгоды. Дайте имъ пошепаться...

— Господа! это становится скучно, сказалъ я имъ громко: драться, такъ драться; вы имѣли время вчера наговориться...

— Мы готовы, отвѣчалъ капитанъ. Становитесь, господа! Докторъ, извольте отсѣлать шесть шаговъ...

— Становитесь! повторилъ Иванъ Игнатьевичъ пискливымъ голосомъ.

— Позвольте! сказалъ я: еще одно условіе; такъ какъ мы будемъ драться на смерть, то мы обязаны сдѣлать все возможное, чтобъ это осталось тайною и чтобъ секунданты наши не были въ отвѣтственности. Согласны ли вы?...

— Совершенно согласны.

— Итакъ, вотъ что я придумалъ. Видите ли на вершинѣ этой отвѣсной скалы, направо, узенькую площадку? Оттуда до низу будетъ сажень тридцать, если не больше; внизу острые камни. Каждый изъ насъ станетъ на самомъ краю площадки; такимъ образомъ даже легкая рана будетъ смертельна: это должно быть согласно съ вашимъ желаніемъ, потому что вы сами назначили шесть шаговъ. Тотъ, кто будетъ раненъ, полетитъ непременно внизъ и разобьется въдребезги; пулю докторъ вынетъ, и тогда можно будетъ очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачнымъ прыжкомъ. Мы бросимъ жребій, кому первому стрѣлять. Объявляю вамъ въ заключеніе, что иначе я не буду драться.

— Пожалуй! сказалъ капитанъ, посмотрѣвъ выразительно на Грушницкаго, который кивнулъ головой, въ знакъ согласія. Лицо его ежеминутно мѣнялось. Я его поставилъ въ затруднительное положеніе. Стрѣляясь при обыкновенныхъ условіяхъ, онъ могъ цѣлить мнѣ въ ногу, легко меня ранить и удовлетворить та-

кимъ образомъ свою месть, не отягощая слишкомъ своей совѣсти; но теперь онъ долженъ былъ выстрѣлить на воздухъ, или сдѣлаться убійцей, или наконецъ оставить свой подлый замыселъ и подвергнуться одинаковой со мною опасности. Въ эту минуту я не желалъ бы быть на его мѣстѣ. Онъ отвелъ капитана въ сторону и сталъ говорить ему что-то съ большимъ жаромъ; я видѣлъ, какъ посинѣвшія губы его дрожали, но капитанъ отъ него отвернулся съ презрительной улыбкой.—Ты дуракъ! сказалъ онъ Грушницкому довольно громко: ничего не понимаешь!... Отправимтесь же, господа!

Узкая тропинка вела между кустами на крутизну; обломки скалъ составляли шаткія ступени этой природной лѣстницы; цѣпляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкій шелъ впереди, за нимъ его секунданты, а потомъ мы съ докторомъ.

— Я вамъ удивляюсь, сказалъ докторъ, пожавъ мнѣ крѣпко руку.—Дайте пощупать пульсъ!... Ого! лихорадочный!... но на лицѣ ничего не замѣтно... только глаза у васъ блестятъ ярче обыкновеннаго.

Вдругъ мелкіе камни съ шумомъ покатились намъ подъ ноги. Что это? Грушницкій споткнулся; вѣтка, за которую онъ уцѣпился, изломалась, и онъ скатился бы внизъ на спинѣ, если бъ его секунданты не поддержали.

— Берегитесь! закричалъ я ему: не падайте заранѣе; это дурная примѣта. Вспомните Юлія Цезаря!

Вотъ мы взобрались на вершину выдавшейся скалы; площадка была покрыта мелкимъ пескомъ, будто нарочно для поединка. Кругомъ, теряясь въ золотомъ туманѣ утра, тѣснились вершины горъ, какъ безчисленное стадо, и Эльбурусъ на югѣ вставалъ бѣлою громадой, замыкая цѣпь льдистыхъ вершинъ, между которыхъ ужъ бродили волокнистыя облака, набѣжавшія съ востока. Я подошелъ

къ краю площадки и посмотрѣлъ внизъ; голова чуть-чуть у меня не закружилась: тамъ, внизу, казалось темно и холодно, какъ въ гробѣ; мшистые зубцы скалъ, сброшенныхъ грозою и временемъ, ожидали своей добычи.

Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольникъ. Отъ выдавагося угла отмѣряли шесть шаговъ, и рѣшили, что тотъ, кому придется первому встрѣтить непріятельскій огонь, станетъ на самомъ углу спиною къ пропасти; если онъ не будетъ убитъ, то противники помѣняются мѣстами.

Я рѣшился предоставить всѣ выгоды Грушницкому; я хотѣлъ испытать его; въ душѣ его могла проснуться искра великодушія—и тогда все устроилось бы къ лучшему; но самолюбіе и слабость характера должны были торжествовать... Я хотѣлъ дать себѣ полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключалъ такихъ условій съ своею совѣстью?

— Бросьте жребій, докторъ! сказалъ капитанъ.

Докторъ вынулъ изъ кармана серебряную монету и поднялъ ее кверху.

— Рѣшетка! закричалъ Грушницкій поспѣшно, какъ человѣкъ, котораго вдругъ разбудилъ дружескій толчокъ.

— Орелъ! сказалъ я.

Монета взвилась и упала, звеня; всѣ бросились къ ней.

— Вы счастливы, сказалъ я Грушницкому: вамъ стрѣлять первому! Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь—даю вамъ честное слово.

Онъ покраснѣлъ; ему было стыдно убить человѣка безоружнаго; я глядѣлъ на него пристально; съ минуту мнѣ казалось, что онъ бросится къ ногамъ моимъ, умоляя о прощеніи; но какъ признаться въ такомъ подломъ умыслѣ?... Ему оставалось одно средство—выстрѣ-

лить на воздухъ. Я былъ увѣренъ, что онъ выстрѣлитъ на воздухъ. Одно могло этому помѣшать: мысль, что я потребую вторичнаго поединка.

Пора! шепнулъ мнѣ докторъ, дергая за рукавъ: если вы теперь не скажете, что мы знаемъ ихъ намѣренія, то все пропало. Посмотрите, онъ ужъ заряжается... если вы ничего не скажете, то я самъ.

— Ни за что на свѣтѣ, докторъ, отвѣчалъ я, удерживая его за руку: вы все испортите; вы мнѣ дали слово не мѣшать... Какое вамъ дѣло? Можетъ быть, я хочу быть убитъ...

Онъ посмотрѣлъ на меня съ удивленіемъ.

— О, это другое!... только на меня на томъ свѣтѣ не жалуйтесь...

Капитанъ между тѣмъ зарядилъ свои пистолеты, подаль одинъ Грушницкому, съ улыбкою шепнувъ ему что-то; другой мнѣ.

Я сталъ на углу площадки, крѣпко упершись лѣвой ногою въ камень и наклонясь немного напередъ, чтобы въ случаѣ легкой раны не опрокинуться назадъ.

Грушницкій сталъ противъ меня и, по данному знаку, началъ поднимать пистолетъ. Колѣни его дрожали. Онъ цѣлилъ мнѣ прямо въ лобъ.

Неизъяснимое бѣшенство закипѣло въ груди моей.

Вдругъ онъ опустилъ дуло пистолета и, поблѣднѣвъ какъ полотно, повернулся къ своему секунданту:

— Не могу, сказалъ онъ глухимъ голосомъ.

— Трусъ! отвѣчалъ капитанъ.

Выстрѣлъ раздался. Пуля оцарапала мнѣ колѣно. Я невольно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ, чтобы поскорѣй удалиться отъ края.

— Ну, братъ Грушницкій, жаль, что промахнулся! сказалъ капитанъ. Теперь твоя очередь, становись! Обними меня

прежде: мы ужъ не увидимся! Они обнялись; капитанъ едва могъ удержаться отъ смѣха.—Не бойся, прибавилъ онъ, хитро взглянувъ на Грушницкаго: все вздоръ на свѣтѣ... Натура—дура, судьба—линдѣйка, а жизнь—копѣйка!

Послѣ этой трагической фразы, сказанной съ приличною важностью, онъ отошелъ на свое мѣсто. Иванъ Игнатьевичъ со слезами обнялъ также Грушницкаго, и вотъ онъ остался одинъ противъ меня. Я до-сихъ поръ стараюсь объяснить себѣ, какого рода чувство кипѣло тогда въ груди моей: то было и досада оскорбленнаго самолюбія, и презрѣніе, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этотъ человѣкъ, теперь съ такою увѣренностью, съ такой спокойной дерзостью на меня глядящій, двѣ минуты тому назадъ, не подвергая себя никакой опасности, хотѣлъ меня убить какъ собаку, ибо раненный въ ногу немного сильнѣе, я бы непременно свалился съ утеса.

Я нѣсколько минутъ смотрѣлъ ему пристально въ лицо, стараясь замѣтить хоть легкій слѣдъ раскаянія. Но мнѣ показалось, что онъ удерживалъ улыбку.

— Я вамъ совѣтую передъ смертью помолиться Богу, сказалъ я ему тогда.

— Не заботьтесь о моей душѣ больше, чѣмъ о своей собственной. Объ одномъ васъ прошу: стрѣляйте скорѣе.

— И вы не отказываетесь отъ своей клеветы? не просите у меня прощенія?... Подумайте хорошенько: не говорить ли вамъ чегонибудь совѣсть!

— Господинъ Печоринъ! закричалъ драгунскій капитанъ: вы здѣсь не для того, чтобъ исповѣдывать, позвольте вамъ замѣтить... Кончимте скорѣе; неравно ктонибудь проѣдетъ по ущелью — и насъ увидятъ.

— Хорошо. Докторъ, подойдите ко мнѣ.

Докторъ подошелъ. Бѣдный докторъ! онъ былъ блѣднѣе, чѣмъ Грушницкій, десять минутъ тому назадъ.

Слѣдующія слова я произнесъ нарочно съ разстановкой, громко и внятно, какъ произносятъ смертный приговоръ:

— Докторъ, эти господа, вѣроятно въ торопяхъ, забыли положить пулю въ мой пистолетъ: прошу васъ зарядить его снова — и хорошенько!

— Не можетъ быть! кричалъ капитанъ: не можетъ быть! я зарядилъ оба пистолета: развѣ что изъ вашего пуля выкатилась... Это не моя вина! — А вы не имѣете права переряжать... никакого права... это совершенно противъ правилъ; я не позволяю...

— Хорошо! сказалъ я капитану: если такъ, то мы будемъ съ вами стрѣляться на тѣхъ же условіяхъ...

Онъ замаялся.

Грушницкій стоялъ, опустивъ голову на грудь, смущенный и мрачный.

— Оставь ихъ! сказалъ онъ наконецъ капитану, который хотѣлъ вырвать пистолетъ мой изъ рукъ доктора.—Вѣдь ты самъ знаешь, что они правы.

Напрасно капитанъ дѣлалъ ему разные знаки — Грушницкій не хотѣлъ и смотрѣть.

Между тѣмъ докторъ зарядилъ пистолетъ и подалъ мнѣ.

Увидѣвъ это, капитанъ плюнулъ и топнулъ ногой.

— Дуракъ же ты, братецъ! сказалъ онъ: пошлый дуракъ!... Ужъ положился на меня, такъ слушайся во всемъ... По дѣломъ же тебѣ! околѣвай себѣ какъ муха... Онъ отвернулся и, отходя, пробормоталъ: «А все таки это совершенно противъ правилъ».

— Грушницкій! сказалъ я, еще есть время: откажись отъ своей клеветы и я прошу все. Тебѣ не удалось меня подурачить, и мое самолюбіе удовлетворено. Вспомни, мы были когда-то друзьями...

Лицо у него вспыхнуло, глаза за сверкали...

— Стрѣляйте! отвѣчалъ онъ: я себя презираю, а васъ ненавижу. Если вы меня

не убьете, я васъ зарѣжу ночью изъ-за угла. Намъ на землѣ вдвоемъ нѣтъ мѣста...

Я выстрѣлилъ...

Когда дымъ разсѣлся, Грушницкаго на площадкѣ не было. Только прахъ легкимъ столбомъ еще вился на краю обрыва.

Всѣ въ одинъ голосъ вскрикнули.

— *Finita la comedia!* сказалъ доктору.

Онъ не отвѣчалъ и съ ужасомъ отвернулся.

Я пожалъ плечами и раскланялся съ секундантами Грушницкаго.

Спускаясь по тропинкѣ внизъ, я замѣтилъ между разсѣлинами скалъ окровавленный трупъ Грушницкаго. Я невольно закрылъ глаза...

Отвязавъ лошадь, я шагомъ пустился домой, у меня на сердцѣ былъ камень. Солнце казалось мнѣ тускло; лучи его меня не грѣли.

Не доѣзжая слободки, я повернулъ направо по ущелью. Видъ человѣка былъ бы мнѣ тягостенъ: я хотѣлъ быть одинъ.

Бросивъ поводья, опустивъ голову на грудь, я ѣхалъ долго, наконецъ очутился въ мѣстѣ, мнѣ вовсе незнакомомъ; я повернулъ коня назадъ и сталъ отыскивать дорогу; ужъ солнце садилось, когда я подѣхалъ къ Кисловодску, измученный на измученной лошади.

Лакей мой сказалъ мнѣ, что заходилъ Вернеръ; и подалъ мнѣ двѣ записки: одну отъ него, другую... отъ Вѣры.

Я распечаталъ первую! она была слѣдующаго содержанія:

«Все устроено какъ можно лучше: тѣло привезено обезображенное; пуля изъ груди вынута. Всѣ увѣрены, что причиною его смерти несчастный случай; только комендантъ, которому, вѣроятно, извѣстна ваша ссора, покачалъ головой, но ничего не сказалъ. Доказательствъ противъ васъ нѣтъ никакихъ, и вы можете спать спокойно... если можете... Прошайте...»

Я долго не рѣшался открыть вторую записку... Что могла она мнѣ писать?... Тяжелое предчувствіе волновало мою душу.

Вотъ оно, это письмо, котораго каждое слово неизгладимо врѣзалось въ моей памяти:

«Я пишу къ тебѣ въ полной увѣренности, что мы никогда болѣе не увидимся. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, разставаясь съ тобою, я думала то же самое; но небу было угодно испытать меня вторично: я не вынесла этого испытанія, мое слабое сердце покорилось снова знакомому голосу... ты не будешь презирать меня за это—неправда ли? Это письмо будетъ вмѣстѣ прощаньемъ и исповѣдью: я обязана сказать тебѣ все, что накопилось въ моемъ сердцѣ съ тѣхъ поръ, какъ оно тебя любитъ. Я не стану обвинять тебя—ты поступилъ со мною, какъ поступилъ бы всякій другой мужчина: ты любилъ меня какъ собственность, какъ источникъ радостей, тревогъ и печалей, смѣнявшихся взаимно, безъ которыхъ жизнь скучна и однообразна. Я это поняла сначала... Но ты былъ несчастливъ, и я пожертвовала собою, надѣясь, что когда нибудь ты оцѣнишь мою жертву, что когда нибудь ты поймешь мою глубокую нѣжность, независящую ни отъ какихъ условий. Прошло съ тѣхъ поръ много времени: я проникла во всѣ тайны души твоей... и убѣдилась, что то была надежда напрасная. Горько мнѣ было! Но моя любовь срослась съ душой моей: она потемнѣла, но не угасла.

«Мы расстаемся навѣки; однако ты можешь быть увѣренъ, что я никогда не буду любить другаго: моя душа истощила на тебя всѣ свои сокровища, свои слезы и надежды. Любившая разъ тебя не можетъ смотрѣть безъ нѣкотораго презрѣнія на прочихъ мужчинъ, не потому, чтобъ ты былъ лучше ихъ. О, нѣтъ! но въ твоей природѣ есть что-то особенное тебѣ одному свойственное, что-то гордое



и таинственное; въ твоёмъ голосѣ, что бы ты ни говорилъ, есть власть непобѣдимая; никто не умѣетъ такъ постоянно хотѣть быть любимымъ, ни въ комъ зло не бываетъ такъ привлекательно, ни чей взоръ не общается столько блаженства, никто не умѣетъ лучше пользоваться своими преимуществами и никто не можетъ быть такъ истинно несчастливъ, какъ ты, потому что никто столько не старается увѣрить себя въ противномъ.

«Теперь я должна тебѣ объяснить причину моего послѣдшаго отъѣзда; она тебѣ покажется маловажна, потому что касается до одной меня.

«Нынче поутру мой мужъ вошелъ ко мнѣ и разсказалъ про твою ссору съ Грушницкимъ. Видно, я очень перемѣнилась въ лицѣ, потому что онъ долго и пристально смотрѣлъ мнѣ въ глаза; я едва не упала безъ памяти при мысли, что ты нынче долженъ драться и что я этому причиной; мнѣ казалось, что я сойду съ ума... Но теперь, когда я могу разсуждать, я увѣрена, что ты останешься живъ: невозможно, чтобъ ты умеръ безъ меня, невозможно! Мой мужъ долго ходилъ по комнатѣ: я не знаю, что онъ мнѣ говорилъ, не помню, что я ему отвѣчала... вѣрно я ему сказала, что я тебя люблю... Помню только, что подъ конецъ нашего разговора онъ оскорбилъ меня ужаснымъ словомъ и вышелъ. Я слышала какъ онъ велѣлъ закладывать карету... Вотъ ужъ три часа, какъ я сижу у окна и жду твоего возврата... Но ты живъ, ты не можешь умереть!... Карета почти готова.. Прощай, прощай... Я погибла—но что за нужда? Если бъ я могла быть увѣрена, что ты всегда меня будешь помнить—не говорю ужъ любить—нѣтъ, только помнить... Прощай; идуть... я должна спрятать письмо...

«Не правда ли, ты не любишь Мери? ты не женишься на ней?—Послушай, ты долженъ мнѣ принести эту жертву: я для тебя потеряла все на свѣтѣ...»

Я, какъ безумный, выскочилъ на крыльцо, прыгнулъ на своего Черкеса, котораго водили по двору, и пустился во весь духъ по дорогѣ въ Пятигорскъ. Я безпощадно погонялъ измученнаго коня, который, храпя и весь въ пѣнѣ, мчалъ меня по каменистой дорогѣ.

Солнце уже спряталось въ черной тучѣ, отдыхавшей на хребтѣ западныхъ горъ; въ ущельѣ стало темно и сыро. Подкумокъ, пробираясь по камнямъ, ревѣлъ глухо и однообразно. Я скакалъ, задыхаясь отъ нетерпѣнія. Мысль не застать ее въ Пятигорскѣ молоткомъ ударила мнѣ въ сердцѣ. Одну минуту, еще одну минуту видѣть ее, проститься, пожать ея руку... Я молился, проклиналъ, плакалъ, смѣялся... нѣтъ, ничто не выразить моего безпокойства, отчаянія!... При возможности потерять ее навѣки, Вѣра стала для меня дороже всего на свѣтѣ—дороже жизни, чести, счастья! Богъ знаетъ какіе странные, какіе бѣшеные замыслы роились въ головѣ моей... И между тѣмъ я все скакалъ, погоняя безпощадно.—И вотъ я сталъ замѣчать, что конь мой тяжелѣе дышитъ; онъ раза два уже споткнулся на ровномъ мѣстѣ... Оставалось пять верстъ до Есентуковъ—казачьей станицы, гдѣ я могъ пересѣсть на другую лошадь.

Все было бы спасено, еслибъ у моего коня достало силъ еще на десять минутъ. Но вдругъ: поднимаясь изъ небольшого оврага, при выѣздѣ изъ горъ, на крутомъ поворотѣ, онъ грянулся о землю. Я проворно соскочилъ, хочу поднять его, держу за поводъ—напрасно: едва слышный стонъ вырвался сквозь стиснутые его зубы; черезъ нѣсколько минутъ онъ издохъ; я остался въ степи одинъ, потерявъ послѣднюю надежду; попробовалъ идитипѣшкомъ—ноги мои подкосились: изнуренный тревогами дня и безсонницей, я упалъ на мокрую траву и какъ ребенокъ заплакалъ.

И долго я лежалъ неподвижно и плакалъ горько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе—исчезли какъ дымъ; душа обезсилѣла, разумъ замолкъ, и если бъ въ эту минуту кто нибудь меня увидѣлъ, онъ бы съ презрѣніемъ отвернулся.

Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили мою горящую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ, то я понималъ, что гнаться за погибшимъ счастьемъ бесполезно и безразсудно. Чего мнѣ еще надобно?—ее видѣть?—зачѣмъ? не все ли кончено между нами? Одинъ горькій прощальный поцѣлуй не обогатитъ моихъ воспоминаній, а послѣ него намъ только труднѣе будетъ разставаться.

Мнѣ однако пріятно, что я могу плакать. Впрочемъ, можетъ быть, этому причиной разстроенные нервы, ночь, проведенная безъ сна, двѣ минуты противъ дула пистолета и пустой желудокъ.

Все къ лучшему! это новое страданіе, говоря военнымъ слогомъ, сдѣлало во мнѣ счастливую диверсію. Плакать здорово, и потомъ, вѣроятно, если бъ я не проѣхался верхомъ и не былъ принужденъ на обратномъ пути пройти пятнадцать верстъ, то и эту ночь сонъ не сомкнулъ бы глазъ моихъ.

Я возвратился въ Кисловодскъ въ пять часовъ утра, бросился на постель и заснулъ сномъ Наполеона послѣ Ватерлоо.

Когда я проснулся, на дворѣ ужъ было темно. Я сѣлъ у отвореннаго окна, разстегнулъ архалукъ — и горный вѣтеръ освѣжилъ грудь мою, еще неуспокоенную тяжелымъ сномъ усталости. Вдали за рѣкою, сквозь верхи густыхъ липъ, ее осѣняющихъ, мелькали огни въ строеньяхъ крѣпости и слободки. На дворѣ у насъ все было тихо, въ домѣ княгини было темно.

Вошелъ докторъ: лобъ у него былъ нахмуренъ; онъ, противъ обыкновенія, не протянулъ мнѣ руки.

— Откуда вы, докторъ?

— Отъ княгини Лиговской; дочь ея больна—разслабленіе нервовъ... Да не въ этомъ дѣло, а вотъ что: начальство догадывается и, хотя ничего нельзя доказать положительно, однако я вамъ совѣтую быть осторожнѣе. Княгиня мнѣ говорила нынче, что она знаетъ, что вы стрѣлялись за ея дочь. Ей все этотъ старичекъ разсказалъ... какъ бишь его? Онъ былъ свидѣтелемъ вашей стычки съ Грушницкимъ въ рестораціи. Я пришелъ васъ предупредить.—Прощайте. Можетъ быть, мы больше не увидимся: васъ ушлютъ куда нибудь.

Онъ на порогѣ остановился: ему хотѣлось пожать мнѣ руку... и если бъ я показалъ ему малѣйшее на это желаніе, то онъ бросился бы мнѣ на шею, но я остался холоденъ какъ камень — и онъ вышелъ.

Вотъ люди! всѣ они таковы: знаютъ заранѣе всѣ дурныя стороны поступка, помогаютъ, совѣтуютъ, даже одобряютъ его, видя невозможность другого средства—а потомъ умываютъ руки и отворачиваются съ негодованіемъ отъ того, кто имѣлъ смѣлость взять на себя всю тягость отвѣтственности. Всѣ они таковы, даже самые добрые, самые умные.

На другой день утромъ, получивъ приказаніе отъ высшаго начальства отправиться въ крѣпость N., я зашелъ къ княгинѣ проститься.

Она была удивлена, когда на вопросъ ея: имѣю ли я сказать что нибудь особенно важное, я отвѣчалъ, что желаю ей быть счастливой и проч.

— А мнѣ нужно съ вами поговорить очень серьезно.

Я сѣлъ молча.

Явно было, что она не знала съ чего начать; лицо ея побагровѣло, пухлые ея пальцы стучали по столу; наконецъ она начала такъ, прерывистымъ голосомъ:

— Послушайте, мсьё Печоринъ, я думаю, что вы благородный человѣкъ.



Я пок
— Я
или она
ментел
тны, кс
южны
или до
и все—
Не отв
не при
убить
прости
до мен
мать в
винно,
все ск
лись с
въ св
ла]. Е
не п
убива
рева,
шай
ищу
вЪри
Ваш
но
сос
пит
бо
ва
бь
пс
в

Е
Е

Я поклонился.

— Я даже въ этомъ увѣрена, продолжала она: хотя ваше поведеніе нѣсколько сомнительно, но у васъ могутъ быть причины, которыхъ я не знаю, и ихъ то вы должны теперь мнѣ повѣрить. Вы защитили дочь мою отъ клеветы, стрѣлялись за нее—слѣдственно рисковали жизнью... Не отвѣчайте, я знаю, что вы въ этомъ не признаетесь, потому что Грушницкій убить [она перекрестилась]. Богъ ему простить—и, надѣюсь, вамъ также!... Это до меня не касается... я не смѣю осуждать васъ, потому что дочь моя, хотя невинно, но была этому причиной. Она мнѣ все сказала... я думаю все: вы изъяснились ей въ любви... она вамъ призналась въ своей? [тутъ княгиня тяжело вздохнула]. Но она больна, и я увѣрена, что это не простая болѣзнь! Печаль тайная ее убиваетъ; она не признается, но я увѣрена, что вы этому причиной... Послушайте: вы, можетъ быть, думаете, что я ищу чиновъ, огромнаго богатства—разувѣрьтесь, я хочу только счастья дочери. Ваше теперешнее положеніе незавидно, но оно можетъ поправиться: вы имѣете состояніе; васъ любить дочь моя; она воспитана такъ, что составитъ счастье мужа. Я богата, она у меня одна... Говорите, что васъ удерживаетъ?... Видите, я не должна была бы вамъ всего этого говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу честь—вспомните, у меня одна дочь... одна...

Она заплакала.

— Княгиня, сказалъ я: мнѣ невозможно отвѣчать вамъ; позвольте мнѣ поговорить съ вашей дочерью наединѣ...

— Никогда! воскликнула она, вставъ со стула въ сильномъ волненіи.

— Какъ хотите, отвѣчалъ я, приговорясь уйти.

Она задумалась, сдѣлала мнѣ знакъ рукою, чтобъ я подождалъ, и вышла.

Прошло минутъ пять; сердце мое сильно билось, но мысли были спокойны, го-

лова холодна; какъ я ни искалъ въ груди моей хоть искры любви къ милой Мери, но старанія мои были напрасны.

Вотъ дверь отворилась и вошла она. Боже! какъ перемѣнилась съ тѣхъ поръ, какъ я не видалъ ее—а давно ли?

Дойдя до середины комнаты, она пошатнулась; я вскочилъ, подаль ей руку и довелъ ее до кресель.

Я стоялъ противъ нея. Мы долго молчали; ея большіе глаза, исполненные неизъяснимой грусти, казалось, искали въ моихъ что нибудь похожее на надежду; ея блѣдныя губы напрасно старались улыбнуться, ея нѣжныя руки, сложенные на колѣняхъ, были такъ худы и прозрачны, что мнѣ стало жаль ее.

— Княжна, сказалъ я: вы знаете, что я надъ вами смѣялся?... Вы должны презирать меня.

На ея щекахъ показался болѣзненный румянецъ.

Я продолжалъ: слѣдственно, вы меня любить не можете...

Она отвернулась, облокотилась на столъ, закрыла глаза рукою, и мнѣ показалось, что въ нихъ блеснули слезы.

— Боже мой! произнесла она едва внятно.

Это становилось невыносимо: еще минута—и я бы упалъ къ ногамъ ея.

— Итакъ, вы сами видите, сказалъ я, сколько могъ, твердымъ голосомъ и съ принужденной усмѣшкою: вы сами видите, что я не могу на васъ жениться. Если бъ вы даже этого теперь хотѣли, то скоро бы раскаялись. Мой разговоръ съ вашей матушкой принудилъ меня объясниться съ вами такъ откровенно и такъ грубо; я надѣюсь, что она въ заблужденіи: вамъ легко ее разувѣрить. Вы видите, я играю въ вашихъ глазахъ самую жалкую и гадкую роль, и даже въ этомъ признаюсь—вотъ все, что я могу для васъ сдѣлать. Какое бы вы дурное мнѣніе обо мнѣ ни имѣли, я ему покоряюсь... Видите

ли, я передъ вами низокъ?... Не правда ли, если даже вы меня и любили, то съ этой минуты презираете?

Она обернулась ко мнѣ, блѣдная какъ мраморъ, только глаза ея чудесно сверкали.

— Я васъ ненавижу... сказала она.

Я поблагодарилъ, поклонился почтительно и вышелъ.

Черезъ часъ курьерская тройка мчала меня изъ Кисловодска. За нѣсколько верстъ отъ Есентуковъ, я узналъ близъ дороги трупъ моего лихаго коня; сѣдло было снято, вѣроятно, проѣзжимъ казакомъ и, вмѣсто сѣдла, на спинѣ его сидѣли два ворона. Я вздохнулъ и отвернулся...

И теперь, здѣсь, въ этой скучной крѣпости, я часто, пробѣгая мыслію прошедшее, спрашиваю себя: отчего я не хотѣлъ ступить на этотъ путь, открытый

мнѣ судьбою, гдѣ меня ожидали тихія радости и спокойствіе душевное?... Нѣтъ, я бы не ужился съ этой долею! Я, какъ матросъ, рожденный и выросшій на палубѣ разбойничьяго брига: его душа сжилась съ бурями и битвами и, выброшенный на берегъ, онъ скучаетъ и томится, какъ ни мани его тѣнистая роща, какъ ни свѣти ему мирное солнце; онъ ходитъ себѣ цѣлый день по прибрежному песку, прислушивается къ однообразному ропоту набѣгающихъ волнъ и всматривается въ туманную даль: не мелькнетъ ли тамъ, на блѣдной чертѣ, отдѣляющей синюю пучину отъ сѣрыхъ тучекъ, желанный парусъ, сначала подобный крылу морской чайки, но мало по малу отдѣляющійся отъ пѣны валуновъ и ровнымъ бѣгомъ приближающійся къ пустынной пристани...



нѣ какъ-то разъ случилось прожить двѣ недѣли въ казачьей станицѣ на лѣвомъ флангѣ; тутъ же стоялъ батальонъ пѣхоты; офицеры собирались другъ у дру-

га поочередно, по вечерамъ играли въ карты.

Однажды, наскучивъ бостономъ и бросивъ карты подъ столъ, мы засидѣлись у майора С*** очень долго; разговоръ, противъ обыкновенія, былъ занимателенъ. Разсуждали о томъ, что мусульманское

повѣрье, будто судьба человѣка написана на небесахъ, находить и между нами многихъ поклонниковъ; каждый рассказывалъ разные необыкновенные случаи про или contra.

— Все это, господа, ничего не доказываетъ, сказалъ старый майоръ, — вѣдь никто изъ васъ не былъ свидѣтелемъ тѣхъ странныхъ случаевъ, которыми вы подтверждаете свои мнѣнія?

— Конечно, никто, сказали многіе: — но мы слышали отъ вѣрныхъ людей...

— Все это вздоръ! сказалъ кто-то: — гдѣ эти вѣрные люди, видѣвшіе списокъ, на которомъ назначенъ часъ нашей смерти?... И если точно есть предопредѣленіе, то зачѣмъ же намъ дана воля, разсудокъ? Почему мы должны давать отчетъ въ нашихъ поступкахъ?

Въ это время одинъ офицеръ, сидѣвшій въ углу комнаты, всталъ и, медленно подойдя къ столу, окинулъ всѣхъ спокойнымъ и торжественнымъ взглядомъ. Онъ былъ родомъ сербъ, какъ видно было изъ его имени.

Наружность поручика Вулича отвѣчала исполнѣ его характеру. Высокій ростъ и смуглый цвѣтъ лица, черные волосы, черные пронизательные глаза, большой, но правильный носъ — принадлежность его націи, печальная и холодная улыбка, вѣчно блуждавшая на губахъ его — все это будто согласовалось для того, чтобы придать ему видъ существа особеннаго, неспособнаго дѣлиться мыслями и страстями съ тѣми, которыхъ судьба дала ему въ товарищи.

Онъ былъ храбръ, говорилъ мало, но рѣзко; никому не повѣрялъ своихъ душевныхъ и семейныхъ тайнъ; вина почти вовсе не пилъ; за молодыми казачками — которыхъ прелесть трудно постигнуть, не выдавъ ихъ — онъ никогда не волочился. Говорили, однако, что жена полковника была равнодушна къ его выразительнымъ глазамъ; но онъ не шутилъ сердился, когда объ этомъ намекали.

Была только одна страсть, которой онъ не таилъ — страсть къ игрѣ. За зеленымъ столомъ онъ забывалъ все, и обыкновенно проигрывалъ; но постоянныя неудачи только раздражали его упрямство. Рассказывали, что разъ, во время экспедиціи, ночью, онъ на подушкѣ металъ банкъ; ему ужасно везло. Вдругъ раздалась выстрѣлы, ударили тревогу, всѣ вскочили и бросились къ оружію. «Поставь ва-банкъ!» кричалъ Вуличъ, не подымаясь, одному изъ самыхъ горячихъ понтѣровъ. — Идетъ семерка, отвѣчалъ тотъ, убѣгая. Не смотря на всеобщую суматоху, Вуличъ докинулъ талію; карта была дана.

Когда онъ явился въ цѣпь, тамъ была ужъ сильная перестрѣлка. Вуличъ не заботился ни о пуляхъ, ни о шашкахъ чеченскихъ: онъ отыскивалъ своего счастливаго понтѣра.

— Семерка дана, закричалъ онъ, увидѣвъ его наконецъ въ цѣпи застрѣльщиковъ, которые начинали вытѣснять изъ лѣса непріятеля, и, подойдя ближе, онъ вынулъ свой кошелекъ и бумажникъ, и отдалъ ихъ счастливцу, не смотря на возраженія о неумѣстности платежа. Исполнивъ этотъ непріятный долгъ, онъ бросился впередъ, увлекъ за собою солдатъ и до самаго конца дѣла прехладнокровно перестрѣливался съ чеченцами.

Когда поручикъ Вуличъ подошелъ къ столу, то всѣ замолчали, ожидая отъ него какой нибудь оригинальной выходки.

— Господа! сказалъ онъ [голосъ его былъ спокоенъ, хотя тономъ ниже обыкновеннаго]: — господа, къ чему пустые споры? Вы хотите доказательствъ? Я вамъ предлагаю испробовать на себѣ: можетъ ли человѣкъ своевольно располагать своею жизнью, или каждому изъ насъ заранѣе назначена роковая минута... Кому угодно?

— Не мнѣ, не мнѣ! раздалось со всѣхъ сторонъ. — Вотъ чудакъ! придетъ же въ голову!...

— Предлагаю пари, сказалъ я шутя.

— Какое?

— Утверждаю, что нѣтъ предопредѣленія, сказалъ я, высыпая на столъ десятка два червонцевъ—все, что было у меня въ карманѣ.

— Держу, отвѣчалъ Вуличъ глухимъ голосомъ. — Майоръ, вы будете судьей: вотъ пятнадцать червонцевъ; остальные пять вы мнѣ должны и сдѣлаете мнѣ дружбу, прибавите ихъ къ этимъ.

— Хорошо, сказалъ майоръ; только не понимаю, право, въ чемъ дѣло, и какъ вы рѣшите споръ?...

Вуличъ молча вышелъ въ спальню майора; мы за нимъ послѣдовали. Онъ подошелъ къ стѣнѣ, на которой висѣло оружіе, и на удачу снялъ съ гвоздя одинъ изъ разнокалиберныхъ пистолетовъ. Мы еще его не понимали; но когда онъ взвелъ курокъ и насыпалъ на полку пороху, то многіе, невольно вскрикнувъ, схватили его за руки.

— Что ты хочешь дѣлать? Послушай, это сумасшествіе! закричали ему.

— Господа! сказалъ онъ медленно, освобождая свою руку:—кому угодно заплатить за меня двадцать червонцевъ?

Всѣ замолчали и отошли.

Вуличъ вышелъ въ другую комнату и сѣлъ у стола; всѣ послѣдовали за нимъ. Онъ знакомъ пригласилъ насъ сѣсть кругомъ. Молча повиновались ему: въ эту минуту онъ пріобрѣлъ надъ нами какую-то таинственную власть. Я пристально посмотрѣлъ ему въ глаза, но онъ спокойнымъ и неподвижнымъ взоромъ встрѣтилъ мой испытующій взглядъ, и блѣдныя губы его улыбнулись; но, не смотря на его хладнокровіе, мнѣ казалось, я читалъ печать смерти на блѣдномъ лицѣ его. Я замѣчалъ—и многіе старые воины подтверждали мое замѣчаніе—что часто на лицѣ человека, который долженъ умереть черезъ нѣсколько часовъ, есть какой-то странный отпечатокъ неизбежной судьбы,

такъ что привычнымъ глазамъ трудно ошибиться.

— Вы нынче умрете! сказалъ я ему. Онъ быстро ко мнѣ обернулся, но отвѣчалъ медленно и спокойно:

— Можетъ быть да, можетъ быть нѣтъ.... Потомъ обратясь къ майору, спросилъ: заряженъ ли пистолетъ? Майоръ въ замѣшательствѣ не помнилъ хорошенько.

— Да полно, Вуличъ! закричалъ кто-то:—ужъ вѣрно заряженъ, коли въ головахъ висѣлъ; что за охота шутить!...

— Глупая шутка! подхватилъ другой.

— Держу пятьдесятъ рублей противъ пяти, что пистолетъ не заряженъ! закричалъ третій.

Составилось новое пари.

Мнѣ надоѣла эта длинная церемонія. — Послушайте, сказалъ я: или застрѣлитесь, или повѣсьте пистолетъ на прежнее мѣсто, и пойдемте спать.

— Разумѣется, воскликнули многіе, пойдемте спать.

— Господа, я васъ прошу не трогаться съ мѣста! сказалъ Вуличъ, приставивъ дуло пистолета ко лбу.

Всѣ будто окаменѣли.—Господинъ Печоринъ, прибавилъ онъ, возьмите карту и бросьте вверхъ.

Я взялъ со стола, какъ теперь помню, червоннаго туза и бросилъ вверхъ: дыханіе у всѣхъ остановилось; всѣ глаза, выражая страхъ и какое-то неопредѣленное любопытство, бѣгали отъ пистолета къ роковому тузу, который, трепеща на воздухѣ, опускался медленно: въ ту минуту, какъ онъ коснулся стола, Вуличъ спустил курокъ... рсѣчка!

— Слава Богу! вскрикнули многіе: не заряженъ...

— Посмотримъ, однако жъ, сказалъ Вуличъ. Онъ взвелъ опять курокъ, прицѣлился въ фуражку, висѣвшую надъ окномъ; выстрѣлъ раздался—дымъ наполнилъ комнату! когда онъ разсѣялся, сняли



фуражку: она была пробита въ самой серединѣ и пуля глубоко зашла въ стѣнѣ.

Минуты три никто не могъ слова вымолвить. Вуличъ преспокойно пересыпалъ въ свой кошелечекъ мои червонцы.

Пошли толки о томъ, отчего пистолетъ въ первый разъ не выстрѣлилъ; иные утверждали, что вѣроятно полка была засорена; другіе говорили шопотомъ, что прежде порохъ былъ сырой и что послѣ Вуличъ присыпалъ свѣжаго; но я утверждалъ, что послѣднее предположеніе несправедливо, потому что я во все время не спускалъ глазъ съ пистолета.

— Вы счастливы въ игрѣ! сказалъ я Вуличу...

— Въ первый разъ отъ роду, отвѣчалъ онъ, самодовольно улыбаясь:—это лучше банка и штосса.

— За то немножко опаснѣе.

— А что? Вы начали вѣрить предопредѣленію?

— Вѣрю; только не понимаю теперь, отчего мнѣ казалось, будто вы непременно должны нынче умереть...

Этотъ же человѣкъ, который такъ не давно мѣтилъ себѣ преспокойно въ лобъ, теперь вдругъ вспыхнулъ и смутился.

— Однако жъ довольно! сказалъ онъ, вставая:—пари наше кончилось и теперь ваши замѣчанія, мнѣ кажется, неумѣстны...

Онъ взялъ шапку и ушелъ. Это мнѣ показалось страннымъ—и не даромъ.

Скоро всѣ разошлись по домамъ, различно толкуя о причудахъ Вулича и, вѣроятно, въ одинъ голосъ называя меня эгоистомъ, потому что я держалъ пари противъ человѣка, который хотѣлъ застрѣлиться; какъ будто онъ безъ меня не могъ найти удобнаго случая...

Я возвращался домой пустыми переулками станицы; мѣсяцъ полный и красный, какъ зарево пожара, началъ показываться изъ-за зубчатаго горизонта домовъ; звѣзды спокійно сіяли на темно-голубомъ сводѣ, и мнѣ стало смѣшно, когда я

вспомнилъ, что были нѣкогда люди премудрые, думавшіе, что свѣтила небесныхъ принимаютъ участіе въ нашихъ ничтожныхъ спорахъ за клочекъ земли или за какія нибудь вымышленныя права. И что жъ? Эти лампы, зажженыя, по ихъ мнѣнію, только для того, чтобъ освѣщать ихъ битвы и торжества, горятъ съ прежнимъ блескомъ, а ихъ страсти и надежды давно угасли вмѣстѣ съ ними, какъ огонекъ, зажженный на краю лѣса безпечнымъ странникомъ! Но за то какую силу воли придавала имъ увѣренность, что цѣлое небо, съ своими безчисленными жителями, на нихъ смотритъ съ участіемъ, хотя нѣмымъ, но неизмѣннымъ!... А мы, ихъ жалкіе потомки, скитающіеся по землѣ безъ убѣжденій и гордости, безъ наслажденія и страха, кромѣ той невольной боязни, сжимающей сердце при мысли о неизбѣжномъ концѣ, мы неспособны болѣе къ великимъ жертвамъ ни для блага человѣчества, ни даже для собственнаго нашего счастья, потому что знаемъ его невозможность и равнодушно переходимъ отъ сомнѣнія къ сомнѣнію, какъ наши предки бросались отъ одного заблужденія къ другому, не имѣя, какъ они, ни надежды, ни даже того неопредѣленнаго, хотя и сильнаго наслажденія, которое встрѣчаетъ душа во всякой борьбѣ съ людьми или судьбою...

И много другихъ подобныхъ думъ проходило въ умѣ моемъ: я ихъ не удерживалъ, потому что не люблю останавливаться на какой нибудь отвлеченной мысли; и къ чему это ведетъ?... Въ первой молодости моей я былъ мечтателемъ; я любилъ ласкать попеременно то мрачные, то радужные образы, которые рисовало мнѣ безпокойное и жадное воображеніе. Но что отъ этого мнѣ осталось?—одна усталость, какъ послѣ ночной битвы, съ привидѣніемъ, и смутное воспоминаніе, исполненное сожалѣній. Въ этой напрасной борьбѣ я истощилъ и жаръ души и постоянство

вѣли, необходимыя для дѣйствительной жизни; я вступилъ въ эту жизнь, переживъ ее уже мысленно, и мнѣ стало скучно и гадко, какъ тому, кто читаетъ дурное подражаніе давно ему извѣстной книгѣ.

Происшествіе этого вечера произвело на меня довольно глубокое впечатлѣніе и раздражило мои нервы. Не знаю навѣрное, вѣрю ли я теперь предопредѣленію или нѣтъ, но въ этотъ вечеръ я ему твердо вѣрилъ; доказательство было разительно и я, не смотря на то, что насмѣялся надъ нашими предками и ихъ услужливой астрологіей, попалъ невольно въ ихъ колею; но я остановилъ себя вовремя на этомъ опасномъ пути и, имѣя правило ничего не отвергать рѣшительно и ничему не вѣряться слѣпо, отбросилъ метафизику въ сторону и сталъ смотрѣть подъ ноги. Такая предосторожность была очень кстати: я чуть-чуть не упалъ, наткнувшись на что-то толстое и мягкое, но повидимому не живое. Наклоняюсь—мѣсяцъ уже свѣтилъ прямо на дорогу—и что же? передо мною лежала свинья, разрубленная пополамъ шашкой... Едва я успѣлъ ее рассмотреть, какъ услышалъ шумъ шаговъ: два казака бѣжали изъ переулка. Одинъ подошелъ ко мнѣ и спросилъ: не видалъ ли я пьянаго казака, который гнался за свиньей. Я объявилъ имъ, что не встрѣчалъ казака, и указалъ на несчастную жертву его неистовой храбрости.

— Экой разбойникъ! сказалъ второй казакъ:—какъ напьется чихиря, такъ и пошелъ крошить все, что ни попало. Пойдемъ за нимъ Еремейчъ; надо его связать, а то...

Они удалились, а я продолжалъ свой путь съ большей осторожностью и наконецъ счастливо добрался до своей квартиры.

Я жилъ у одного стараго урядника, котораго любилъ за добрый его нравъ,

а особенно за хорошенькую дочку, Настю.

Она, по обыкновенію, дожидалась меня у калитки, завернувшись въ шубку; луна освѣщала ея милыя губки, посинѣвшія отъ ночнаго холода. Узнавъ меня, она улыбнулась, но мнѣ было не до нея. «Прощай, Настя!» сказалъ я, проходя мимо. Она хотѣла что-то отвѣчать, но только вздохнула.

Я затворилъ за собою дверь моей комнаты, засвѣтилъ свѣчу и бросился на постель; только сонъ на этотъ разъ заставилъ себя ждать болѣе обыкновеннаго. Ужъ востокъ начиналъ блѣднѣть, когда я заснулъ, но, видно было написано на небесахъ, что въ эту ночь я не выплусь. Въ четыре часа утра два кулака застучали ко мнѣ въ окно. Я вскочилъ: что такое?... «Вставай, одѣвайся!» кричало мнѣ нѣсколько голосовъ. Я наскоро одѣлся и вышелъ. «Знаешь, что случилось?» сказали мнѣ въ одинъ голосъ три офицера, пришедшіе за мною; они были блѣдны какъ смерть.

— Что?

— Вуличъ убитъ.

Я остолбенѣлъ.

— Да, убитъ! продолжали они.—Пойдемъ скорѣе.

— Да куда же?

— Дорогой узнаешь.

Пошли. Они рассказали мнѣ все, что случилось, съ примѣсю разныхъ замѣчаний насчетъ страннаго предопредѣленія, которое спасло его отъ неминуемой смерти за полчаса до смерти. Вуличъ шелъ одинъ по темной улицѣ; на него наскочилъ пьяный казакъ, изрубившій свинью, и, можетъ быть, прошелъ бы мимо, не замѣтивъ его, если бъ Вуличъ вдругъ остановился, не сказалъ: Кого ты, братецъ, ищешь?—Тебя! отвѣчалъ казакъ, ударивъ его шашкой, и разрубилъ его отъ плеча почти до сердца... Два казака, встрѣтившіе меня и слѣдившіе за убійцей, подо-

спѣли, подняли раненаго, но онъ былъ уже при послѣднемъ издыханіи, и сказалъ только два слова: «Онъ правъ!» — Я одинъ понималъ темное значеніе этихъ словъ: они относились ко мнѣ; я предсказалъ невольно бѣдному его судьбу; мой инстинктъ не обманулъ меня: я точно прочелъ на его измѣнившемся лицѣ печать близкой кончины.

Убийца заперся въ пустой хатѣ, на концѣ станицы: мы шли туда. Множество женщинъ бѣжало съ плачемъ въ ту же сторону; по-временамъ, опоздавшій казакъ выскакивалъ на улицу, второпяхъ пристегивая кинжалъ, и бѣгомъ опережалъ насъ. Суматоха была страшная.



Вотъ, наконецъ, мы пришли; смотримъ: вокругъ хаты, которой двери и ставни заперты изнутри, стоитъ толпа. Офицеры и казаки толкуютъ горячо между собою; женщины воютъ, приговаривая и причитывая. Среди ихъ бросилось мнѣ въ глаза значительное лицо старухи, выражавшее безумное отчаяніе. Она сидѣла на толстомъ бревнѣ, облокотясь на свои колѣни и поддерживая голову руками: то была мать убійцы. Ея губы по-временамъ шевелились... молитву онъ шептали или проклятіе?

Между тѣмъ, надо было на что нибудь рѣшиться и схватить преступника. Никто, однако, не отваживался броситься первый.

Я подошелъ къ окну и посмотрѣлъ въ щель ставня: блѣдный, онъ лежалъ на полу, держа въ правой рукѣ пистолетъ; окровавленная шашка лежала возлѣ него. Выразительные глаза его страшно вращались кругомъ; порою онъ вздрагивалъ и хваталъ себя за голову, какъ будто неясно припоминая вчерашнее. Я не прочелъ большой рѣшимости въ этомъ спокойномъ взглядѣ и сказалъ майору, что напрасно онъ не велитъ выломать дверь, броситься туда казакамъ, потому что лучше это сдѣлать теперь, нежели послѣ, когда онъ совсѣмъ опомнится.

Въ это время старый есаулъ подошелъ къ двери и назвалъ его по имени; тотъ откликнулся.

— Согрѣшилъ, братъ Ефимычъ, сказалъ есаулъ, — такъ ужъ нечего дѣлать, покорись!

— Не покорюсь! отвѣчалъ казакъ.

— Побойся Бога! вѣдь ты не чеченецъ окаянный, а честный христіанинъ. Ну, ужъ коли грѣхъ твой тебя попуталъ нечего дѣлать: своей судьбы не минуешь!

— Не покорюсь, закричалъ казакъ грозно, и слышно было какъ шелкнулъ взведенный курокъ.

— Эй, тетка! сказалъ есаулъ старухѣ: — поговори сыну, авось тебя послушаетъ... Вѣдь это только Бога гнѣвить. Да посмотри, вотъ и господа ужъ два часа дожидаются.

Старуха посмотрѣла на него пристально и покачала головой.

— Василій Петровичъ, сказалъ есаулъ, подойдя къ майору: онъ не сдастся — я его знаю; а если дверь разломать, то много нашихъ перебьетъ. Не прикажете ли лучше его пристрѣлить? въ ставнѣ щель широкая.

Въ эту минуту у меня въ головѣ промелькнула странная мысль: подобно Вуличу, я вздумалъ испытать судьбу.

— Погодите, сказалъ я майору: — я его возьму живаго.

Велѣвъ есаулу завести съ нимъ разговоръ и поставивъ у дверей трехъ казаковъ, готовыхъ ее выбить и броситься мнѣ на помощь при данномъ знакѣ, я обошелъ хату и приблизился къ роковому окну; сердце мое сильно билось.

— Ахъ, ты окаянный! кричалъ есаулъ:— что ты надъ нами смѣешься, что ли? али думаешь, что мы съ тобой не совладаемъ?—Онъ сталъ стучать въ дверь изо всей силы; я, приложивъ глазъ къ щели, слѣдилъ за движеніями казака, не ожидавшаго съ этой стороны нападенія—и вдругъ оторвалъ ставень и бросился въ окно головой внизъ. Выстрѣлъ раздался у меня надъ самымъ ухомъ, пуля сорвала эполетъ; но дымъ, наполнившій комнату, помѣшалъ моему противнику найти шашку, лежавшую возлѣ него. Я схватилъ его за руки; казаки ворвались и, не прошло трехъ минутъ, какъ преступникъ былъ уже связанъ и отведенъ подъ конвоемъ. Народъ разошелся; офицеры меня поздравляли—и точно, было съ чѣмъ.

Послѣ всего этого, какъ бы, кажется, не сдѣлаться фаталистомъ? Но кто знаетъ навѣрное, убѣжденъ ли онъ въ чемъ, или нѣтъ?... И какъ часто мы принимаемъ за убѣжденіе обманъ чувствъ, или промахъ разсудка!... — Я люблю сомнѣваться во всемъ; это расположеніе не мѣшаетъ рѣшительности характера; напротивъ, что

до меня касается, то я всегда смѣлѣе иду впередъ, когда не знаю, что меня ожидаетъ.

Вѣдь хуже смерти ничего не случится—а смерти не минуешь.

Возвратясь въ крѣпость, я рассказалъ Максиму Максимычу все, что случилось со мною и чему былъ я свидѣтель, и пожелалъ узнать его мнѣніе насчетъ предопредѣленія. Онъ сначала не понималъ этого слова, но я объяснилъ его, какъ могъ, и тогда онъ сказалъ, значительно покачавъ головою:

— Да-съ, конечно-съ! Это штука довольно мудреная!... Впрочемъ, эти азіятскіе курки часто осѣкаются, если дурно смазаны, или недовольно крѣпко прижмешь пальцемъ. Признаюсь, не люблю я также винтовокъ черкесскихъ: онѣ какъ-то нашему брату неприличны: прикладъ маленький—того и гляди, носъ обожжетъ... За то ужъ шашки у нихъ—просто, мое почтеніе!

Потомъ онъ примолвилъ, нѣсколько подумавъ:

— Да, жаль бѣднягу... Чортъ же его дернулъ ночью съ пьянымъ разговаривать!... Впрочемъ, видно ужъ такъ у него на роду было написано!...

Больше я отъ него ничего не могъ добиться: онъ вообще не любитъ метафизическихъ преній.



АШИКЪ КЕРИБЪ.

ТУРЕЦКАЯ СКАЗКА.



Давно тому назадъ, въ городѣ Тифлисѣ жилъ одинъ богатый турокъ. Много Аллахъ далъ ему золота; но дороже золота была ему единственная дочь, Магуль-Мегери. Хороши звѣзды на небеси, но за звѣздами живутъ ангелы, и они еще лучше; такъ и Магуль-Мегери была лучше всѣхъ дѣвушекъ Тифлиса. Былъ также въ Тифлисѣ бѣдный Ашикъ-Керибъ. Пророкъ не далъ ему ничего, кромѣ высокаго сердца и дара пѣсенъ. Играя на саазѣ [балалайка] и прославляя древнихъ витязей Туркестана, ходилъ онъ по свадьбамъ увеселять богатыхъ и счастливыхъ. На одной свадьбѣ онъ увидалъ Магуль-Мегери, и они полюбили другъ друга. Мало было надежды у бѣднаго Ашикъ-Кериба получить ея руку, и онъ сталъ грустенъ, какъ зимнее небо.

Вотъ, разъ онъ лежалъ въ саду подъ виноградникомъ и наконецъ заснулъ. Въ это время шла мимо Магуль-Мегери съ своими подругами, и одна изъ нихъ, увидавъ спящаго Ашика [балалаечника], отстала и подошла къ нему. «Что ты спишь подъ виноградникомъ», запѣла она, «вставай, безумный, твоя газель идетъ мимо». Онъ проснулся: дѣвушка порхнула прочь, какъ птичка. Магуль-Мегери слышала ея пѣсню и стала ее бранить. «Если бъ ты знала», отвѣчала та, «кому

я пѣла эту пѣсню, ты бы меня поблагодарила: это твой Ашикъ-Керибъ». — «Веди меня къ нему!» сказала Магуль-Мегери и онѣ пошли. Увидавъ его печальное лицо, Магуль-Мегери стала его спрашивать и утѣшать. — «Какъ мнѣ не грустить», отвѣчалъ Ашикъ-Керибъ, «я тебя люблю и ты никогда не будешь моею!» — «Проси мою руку у отца моего», говорила она: «и отецъ мой сыграетъ нашу свадьбу на свои деньги и наградитъ меня столько, что намъ вдвоемъ достанетъ». — «Хорошо», отвѣчалъ онъ, «положимъ, Аякъ-Ага ничего не пожалѣетъ для своей дочери; но кто знаетъ, что послѣ ты не будешь меня упрекать въ томъ, что я ничего не имѣлъ и тебѣ всѣмъ обязанъ? Нѣтъ, милая Магуль-Мегери, я положилъ зарокъ на свою душу: обещаюсь семь лѣтъ странствовать по свѣту и нажить себѣ богатство, либо погибнуть въ дальнихъ пустыняхъ. Если ты согласна на это, то по истеченіи срока будешь моею». Она согласилась, но прибавила, что если въ назначенный день онъ не вернется, то она сдѣлается женою Куршудъ-бека, который давно ужъ за нее сватается.

Пришелъ Ашикъ-Керибъ къ своей матери, взялъ на дорогу ея благословеніе, поцѣловалъ маленькую сестру, повѣсилъ черезъ плечо сумку, оперся на посохъ странничій и вышелъ изъ города Тиф-

лиса. И вотъ догоняетъ его всадникъ; онъ смотритъ: это Куршудъ-бекъ. «Добрый путь!» кричалъ ему бекъ, «куда бы ты ни шелъ, странникъ, я твой товарищъ». Не радъ былъ Ашикъ своему товарищу, но нечего дѣлать. Долго они шли вмѣстѣ, наконецъ завидѣли передъ собою рѣку. Ни моста, ни брода. «Плыви впередъ», сказалъ Куршудъ-бекъ, «я за тобою послѣдую». Ашикъ сбросилъ верхнее платье и поплылъ. Переправившись, глядь назадъ—о горе! всемогущій Аллахъ!—Куршудъ-бекъ, взявъ его одежду, уѣхалъ обратно въ Тифлисъ, только пыль вилась за нимъ змѣю по гладкому полю. Прискакавъ въ Тифлисъ, несетъ бекъ платье Ашикъ-Кериба къ его старой матери. «Твой сынъ утонулъ въ глубокой рѣкѣ», говоритъ онъ, «вотъ его одежда». Въ невыразимой тоскѣ упала мать на одежды любимого сына и стала обливать ихъ жаркими слезами; потомъ взяла ихъ и понесла къ нареченной невѣсткѣ своей, Магуль-Мегери. «Мой сынъ утонулъ», сказала она ей, «Куршудъ-бекъ привезъ его одежды; ты свободна». Магуль-Мегери улыбнулась и отвѣчала: «Не вѣрь; это все выдумки Куршудъ-бека. Прежде истеченія семи лѣтъ никто не будетъ моимъ мужемъ». Она взяла со стѣны свою саазъ и спокойно начала пѣть любимую пѣсню бѣднаго Ашикъ-Кериба.

Между тѣмъ странникъ пришелъ босъ и нагъ въ одну деревню. Добрые люди одѣли его и накормили; онъ за это пѣлъ имъ чудныя пѣсни. Такимъ образомъ переходилъ онъ изъ деревни въ деревню, изъ города въ городъ, и слава его разнеслась повсюду. Прибылъ онъ наконецъ въ Халафъ. По обыкновенію, вошелъ въ кофейный домъ, спросилъ саазъ и сталъ пѣть. Въ это время жилъ въ Халафѣ паша, большой охотникъ до пѣсенниковъ. Многихъ къ нему приводили—ни одинъ ему не понравился. Его чауши измучились, бѣгая по городу. Вдругъ, про-

ходя мимо кофейнаго дома, слышатъ удивительный голосъ. Они туда. «Иди съ нами къ великому пашѣ», закричали они, «или ты отвѣчаешь намъ головою».—«Я человѣкъ вольный, странникъ изъ города Тифлиса», говоритъ Ашикъ-Керибъ: «хочу—пойду, хочу—нѣтъ; пою, когда придется, и вашъ паша мнѣ не начальникъ». Однако, не смотря на то, его схватили и привели къ пашѣ. «Пой!» сказалъ паша, и онъ запѣлъ. И въ этой пѣснѣ онъ славилъ свою дорогую Магуль-Мегери, и эта пѣсня такъ нравилась гордому пашѣ, что онъ оставилъ у себя бѣднаго Ашикъ-Кериба. Посыпалось къ нему серебро и золото, заблистали на немъ богатая одежда. Счастливо и весело сталъ жить Ашикъ-Керибъ и сдѣлался очень богатъ. Забылъ онъ свою Магуль-Мегери или нѣтъ—не знаю, только срокъ истекалъ. Послѣдній годъ скоро долженъ былъ кончиться, а онъ и не готовился къ отъѣзду. Прекрасная Магуль-Мегери стала отчаяваться. Въ то время отправлялся одинъ купецъ съ караваномъ изъ Тифлиса съ сорока верблюдами и 80 невольниками. Призываетъ она купца къ себѣ и даетъ ему золотое блюдо. «Возьми ты это блюдо», говоритъ она, «и въ какой бы ты городъ ни пріѣхалъ, выставь это блюдо въ своей лавкѣ и объяви вездѣ, что тотъ, кто признается моему блюду хозяиномъ и докажетъ это, получить его и, въ добавокъ, вѣсь его золотомъ. Отправился купецъ; вездѣ исполнялъ порученіе Магуль-Мегери, но никто не признался хозяиномъ золотому блюду. Ужъ онъ продалъ почти всѣ свои товары и пріѣхалъ съ остальными въ Халафъ. Объявилъ онъ вездѣ порученіе Магуль-Мегери. Услыхавъ это, Ашикъ-Керибъ прибѣгаетъ въ караванъ-сарай и видитъ золотое блюдо въ лавкѣ тифлискаго купца. «Это мое!» сказалъ онъ, схвативъ его рукою. —«Точно твое», сказалъ купецъ: «я узналъ тебя, Ашикъ-Керибъ. Ступай

же скорѣ въ Тифлисъ: твоя Магуль-Мегери велѣла тебѣ сказать, что срокъ истекаетъ, и если ты не будешь въ назначенный день, то она выйдетъ за другаго». Въ отчаяніи, Ашикъ-Керибъ схватилъ себя за голову: оставалось только три дня до роковаго часа. Однако онъ сѣлъ на коня, взявъ съ собою суму съ золотыми монетами и поскакалъ, не жалѣя коня. Наконецъ измученный бѣгунъ упалъ бездыханный на Арзиньянъ-горѣ, что между Арзиньяномъ и Арзерумомъ. Что ему было дѣлать? Отъ Арзиньяна до Тифлиса два мѣсяца ѣзды, а оставалось только два дня. «Аллахъ всемогущій!» воскликнулъ онъ, «если ты ужъ мнѣ не поможешь, то мнѣ нечего на землѣ дѣлать!» И хотеть онъ броситься съ высокаго утеса. Вдругъ видитъ внизу человѣка на бѣломъ конѣ, и слышитъ громкій голосъ: «Огланъ [юноша], что ты хочешь дѣлать?» — «Хочу умереть», отвѣчалъ Ашикъ. — «Слѣзай же сюда, если такъ, я тебя убью». Ашикъ спустился кое-какъ съ утеса. «Ступай за мною», сказалъ грозно всадникъ. — «Какъ я могу за тобою слѣдовать», отвѣчалъ Ашикъ: «твой конь летитъ, какъ вѣтеръ, а я отягощенъ сумою». — «Правда. Повѣсь же суму свою на сѣдло мое и слѣдуй». Отсталъ Ашикъ-Керибъ, какъ ни старался бѣжать. «Что жъ ты отстаешь?» спросилъ всадникъ. — «Какъ же я могу слѣдовать за тобою: твой конь быстрѣ мысли, а я ужъ измученъ». — «Правда. Садись сзади на коня моего и говори всю правду: куда тебѣ нужно ѣхать?» — «Хотя бы въ Арзерумъ поспѣть нынче», отвѣчалъ Ашикъ. — «Закрой же глаза». Онъ закрылъ. «Теперь открой». Смотритъ Ашикъ: передъ нимъ бѣлѣютъ стѣны и блещутъ минареты Арзерума. «Виноватъ, Ага», сказалъ Ашикъ: «я ошибся; я хотѣлъ сказать, что мнѣ надо въ Карсъ». — «Тото же!» отвѣчалъ всадникъ, «я предупредилъ тебя, чтобъ ты говорилъ мнѣ сушную правду.

Закрой же опять глаза. Теперь открой». Ашикъ себѣ не вѣритъ, что это Карсъ. Онъ упалъ на колѣни и сказалъ: «Виновать, Ага, трижды виноватъ твой слуга Ашикъ-Керибъ; но ты самъ знаешь, что если человѣкъ рѣшился лгать съ утра, то долженъ лгать до конца дня. Мнѣ по настоящему надо въ Тифлисъ». — «Экой ты невѣрный!» сказалъ сердито всадникъ: «но, нечего дѣлать, прощаю тебѣ. Закрой же глаза. Теперь открой», прибавилъ онъ по прошествіи минуты. Ашикъ вскрикнулъ отъ радости: они были у воротъ Тифлиса. Принеся искреннюю свою благодарность и взявъ свою суму съ сѣдла, Ашикъ-Керибъ сказалъ всаднику: «Ага, конечно, благодареніе твое велико; но сдѣлай еще больше. Если я теперь буду разсказывать, что въ одинъ день поспѣлъ изъ Арзиньяна въ Тифлисъ, мнѣ никто не повѣритъ: дай мнѣ какое нибудь доказательство». — «Наклонись», сказалъ тотъ, улыбнувшись: «возьми изъ-подъ копыта коня комокъ земли и положи себѣ за пазуху, и тогда, если не станутъ вѣрить истинѣ словъ твоихъ, то вели къ себѣ привести слѣпую, которая семь лѣтъ ужъ въ этомъ положеніи, помажь ей глаза — и она увидитъ». Ашикъ взялъ кусокъ земли изъ-подъ копыта бѣлаго коня; но только онъ поднялъ голову — всадникъ и конь исчезли. Тогда онъ убѣдился въ душѣ, что его покровитель былъ не кто иной, какъ Хадерилазъ [св. Георгій].

Только поздно вечеромъ Ашикъ-Керибъ отыскалъ домъ свой. Стучитъ онъ въ двери дрожащею рукою, говоря «Ана, ана [мать], отвори! я Божій гость, и холоденъ, и голоденъ: прошу, ради странствующаго твоего сына,пусти меня». Слабый голосъ старухи отвѣчалъ ему: «Для ночлега путниковъ есть дома богатыхъ и сильныхъ; есть теперь въ городѣ свадьбы — ступай туда: тамъ можешь провести ночь въ удовольствіи». — «Ана», отвѣчалъ онъ: «я

здѣсь никого знакомыхъ не имѣю, и потому повторяю мою просьбу: ради странствующаго твоего сына,пусти меня!» Тогда сестра его говоритъ матери: «Мать я встану и отворю ему двери»—«Негодная!» отвѣчала старуха: ты рада принимать молодыхъ людей и угощать ихъ, потому что вотъ уже семь лѣтъ, какъ я отъ слезъ потеряла зрѣніе». Но дочь, не внимая ея упрекамъ, встала, отворила двери и впустила Ашикъ-Кериба. Сказавъ обычное привѣтствіе, онъ сѣлъ и съ тайнымъ волненіемъ сталъ осматриваться. И видитъ онъ: на стѣнѣ виситъ, въ пыльномъ чехлѣ, его сладкозвучная саазъ, и сталъ спрашивать у матери: «Что виситъ у тебя на стѣнѣ?»—«Любопытный ты гость», отвѣчала она: «будетъ и того, что тебѣ дадутъ кусокъ хлѣба и завтра отпустятъ тебя съ Богомъ».—«Я ужъ сказалъ тебѣ!» возразилъ онъ, «что ты моя родная мать, а это сестра моя, и потому прошу объяснить мнѣ, что это виситъ на стѣнѣ?»—«Это саазъ, саазъ», отвѣчала старуха сердито, не вѣря ему. «А что значитъ саазъ?»—«Саазъ то значитъ, что на ней играютъ и поютъ пѣсни». И проситъ Ашикъ-Керибъ, чтобъ она позволила сестрѣ снять саазъ и показать ему. «Нельзя», отвѣчала старуха: «это саазъ моего несчастнаго сына. Вотъ уже семь лѣтъ она виситъ на стѣнѣ и ничья живая рука до нея не дотрогивалась». Но сестра его встала, сняла со стѣны саазъ и отдала ему. Тогда онъ поднялъ глаза къ небу и сотворилъ такую молитву: «О, всемогущій Аллахъ! если я долженъ достигнуть до желаемой цѣли, то моя семиструнная саазъ будетъ также стройна, какъ въ тотъ день, когда я въ послѣдній разъ игралъ на ней!» И онъ ударилъ по мѣднымъ струнамъ—и струны согласно заговорили; и онъ началъ пѣть: «Я бѣдный керибъ [странникъ] и слова мои бѣдны; но великій Хадерилазъ помогъ мнѣ спуститься съ крутаго

утеса. Хотя я бѣденъ и бѣдны слова мои, узнай меня, мать, своего странника». Послѣ этого мать его зарыдала и спрашиваетъ его: «Какъ тебя зовутъ?»—«Рашидъ [простодушный]», отвѣчалъ онъ.—«Разъ говори, другой разъ слушай, Рашидъ», сказала она: «своими рѣчами ты изрѣзалъ сердце мое въ куски. Нынѣшнюю ночь я во снѣ видѣла, что на головѣ моей волосы побѣлѣли. Я вотъ уже семь лѣтъ какъ ослѣпла отъ слезъ. Скажи мнѣ ты, который имѣешь его голосъ, когда мой сынъ придетъ?» И дважды со слезами она повторила ему просьбу. Напрасно онъ называлъ себя ея сыномъ, но она не вѣрила. И спустя нѣсколько времени, проситъ онъ: «Позвольте, матушка, взять саазъ и идти; я слышалъ, здѣсь близко есть свадьба; сестра меня проводить. Я буду пѣть и играть, и все, что получу, принесу сюда и раздѣлю съ вами».—«Не позволю», отвѣчала старуха: «съ тѣхъ поръ, какъ нѣтъ моего сына, его саазъ не выходила изъ дому». Но онъ сталъ клясться, что не повредитъ ни одной струны. «А если хоть одна струна порвется», продолжалъ Ашикъ, «то отвѣчаю моимъ имуществомъ». Старуха ощупала его суму и, узнавъ, что она наполнена монетами, отпустила его. Проводивъ его до богатаго дома, гдѣ шумѣлъ свадебный пиръ, сестра осталась у дверей слушать, что будетъ.

Въ этомъ домѣ жила Магуль-Мегери, и въ эту ночь она должна была сдѣлаться женою Куршудъ-бека. Куршудъ-бекъ пировалъ съ родными и друзьями, а Магуль-Мегери, сидя за богатою чадрой [занавѣсомъ] съ своими подругами, держала въ одной рукѣ чашу съ ядомъ, а въ другой острый кинжалъ: она поклялась умереть прежде, чѣмъ опуститъ голову на ложе Куршудъ-бека. И слышитъ она изъ-за чадры, что пришелъ незнакомецъ, который говорилъ: «Селямъ алейкумъ! вы здѣсь веселитесь и пируете, такъ поз-

вольте мнѣ, бѣдному страннику, сѣсть съ вами, и за то я спою вамъ пѣсню». — «Почему же нѣтъ?» сказалъ Куршудъ-бекъ. «Сюда должны быть впускаемы пѣсѣнники и плясуны, потому что здѣсь свадьба. Спой же что нибудь, ашикъ [пѣвецъ], и я отпущу тебя съ полной горстью золота.»

Тогда Куршудъ-бекъ спросилъ его: «А какъ тебя зовутъ, путникъ?» — «Шиндигѣурсезъ [скоро узнаете]». — «Что это за имя?» воскликнулъ тотъ со смѣхомъ: «я въ первый разъ такое слышу». — «Когда мать моя была мною беременна и мучилась родами, то многіе сосѣди приходили къ дверямъ спрашивать: сына или дочь Богъ ей далъ? Имъ отвѣчали: шиндигѣурсезъ [скоро узнаете]. И вотъ поэтому, когда я родился, мнѣ дали это имя». Послѣ этого онъ взялъ саазъ и началъ пѣть:

«Въ городѣ Халафѣ я пилъ мисирское вино, но Богъ мнѣ далъ крылья и я прилетѣлъ сюда въ три дня».

Братъ Куршудъ-бека, человѣкъ малолетний, выхватилъ кинжалъ, воскликнувъ: «Ты лжешь! какъ можно изъ Халафа прѣхать сюда въ три дня?»

«За что жъ ты меня хочешь убить?» сказалъ Ашикъ. «Пѣвцы обыкновенно со всѣхъ четырехъ сторонъ собираются въ одно мѣсто; и я съ васъ ничего не беру, вѣрьте мнѣ или не вѣрьте».

«Пускай продолжаетъ», сказалъ женихъ, и Ашикъ-Керибъ запѣлъ снова:

«Утренній намазъ творилъ я въ Арзиньянской долинѣ, полуденный намазъ—въ городѣ Арзерумѣ; предъ захожденіемъ солнца творилъ намазъ въ городѣ Карсѣ, и вечерній намазъ—въ Тифлисѣ. Аллахъ далъ мнѣ крылья и я прилетѣлъ сюда: дай Богъ, чтобъ я сталъ жертвою бѣлаго коня; онъ скакалъ быстро, какъ плясунъ по канату, съ горы въ ущелье, изъ ущелья на гору:

Мевлянъ [Господь нашъ] далъ Ашику крылья и онъ прилетѣлъ на свадьбу Магуль-Мегери».

Тогда Магуль-Мегери, узнавъ его голосъ, бросила ядъ въ одну сторону, а кинжалъ въ другую. «Такъ-то ты сдержала свою клятву», сказала ей подруга: «стало быть, сегодня ночью ты будешь женою Куршудъ-бека?» — «Вы не узнали, а я узнала милый мнѣ голосъ», отвѣчала Магуль-Мегери и, взявъ ножницы, она прорѣзала чадру. Когда же посмотрѣла и точно узнала своего Ашикъ-Кериба, то вскрикнула и бросилась къ нему на шею и оба упали безъ чувствъ. Братъ Куршудъ-бека бросился на нихъ съ кинжаломъ, намѣреваясь заколоть обоихъ, но Куршудъ-бекъ остановилъ его, примолвивъ: «Успокойся и знай, что написано у человѣка на лбу при его рожденіи, того онъ не минуетъ».

Придя въ чувство, Магуль-Мегери покраснѣла отъ стыда, закрыла лицо рукою и спряталась за чадру.

«Теперь точно видно, что ты Ашикъ-Керибъ», сказалъ женихъ: «но повѣдай, какъ же ты могъ въ такое короткое время проѣхать такое великое пространство?» — «Въ доказательство истины», отвѣчалъ Ашикъ: «сабля моя перерубить камень; если же я лгу, то да будетъ шея моя тоньше волоса. Но лучше всего, приведи ко мнѣ слѣпую, которая бы семь лѣтъ уже не видала свѣта Божьяго, и я возвращу ей зрѣніе». Сестра Ашикъ-Кериба, стоя въ сѣняхъ у двери и услышавъ такую рѣчь, побѣжала къ матери. «Матушка!» закричала она: «это точно братъ и точно твой сынъ, Ашикъ-Керибъ!» и, взявъ старуху подъ руку, привела ее на пиръ свадебный. Тогда Ашикъ взялъ комокъ земли изъ-за пазухи, развелъ его водою и намазалъ матери глаза, примолвя: «Знайте всѣ люди, какъ могущъ и великъ Хадерилиазъ!» — и мать

его прозрѣла. Послѣ того никто не смѣлъ сомнѣваться въ истинѣ словъ его, и Куршудъ-бекъ уступилъ ему безмолвно прекрасную Магуль-Мегери.

Тогда, въ радости, Ашикъ-Керибъ сказалъ ему: «Послушай, Куршудъ-бекъ, я

тебя утѣшу. Сестра моя не хуже твоей прежней невѣсты; я богатъ, у ней будетъ не меньше серебра и золота; итакъ, возьми ее за себя, и будьте также счастливы, какъ я съ моей дорогою Магуль-Мегери».



Отрывокъ изъ начатой повѣсти.

I.



графини В*** былъ музыкальный вечеръ. Первые артисты столицы платили своимъ искусствомъ за честь аристократическаго приѣма; въ числѣ гостей мелькало нѣсколько литераторовъ и ученыхъ, двѣ или три модныя красавицы, нѣсколько барышень и старушекъ, и одинъ гвардейскій офицеръ; около десятка доморощенныхъ львовъ красовалось въ дверяхъ второй гостиной и у камина. Все шло своимъ чередомъ; было ни скучно, ни весело.

Въ ту самую минуту, какъ новопріѣзжая пѣвица подходила къ роялю и развертывала ноты, одна молодая женщина зѣвнула, встала и вышла въ сосѣднюю комнату, на это время опустѣвшую. На ней было черное платье, кажется, по случаю придворнаго траура. На плечѣ припиленный къ голубому банту сверкалъ брилліантовый вензель. Она была средняго роста, стройна, медленна и лѣнива въ своихъ движеніяхъ; черные, длинные, чудесные волосы отгѣняли ея еще молодое и правильное, но блѣдное лицо, и на этомъ лицѣ сіяла печать мысли.

— Здравствуйте, мсьё Лугинъ, сказала Минская кому-то. Я устала... Скажите что нибудь.

И она опустила въ широкое пате-возлѣ камина. Тотъ, къ кому она обращалась, сѣлъ противъ нея и ничего не отвѣчалъ. Въ комнатѣ ихъ было только двое, и холодное молчаніе Лугина показывало ясно, что онъ не принадлежалъ къ числу ея обожателей.

— Скучно! сказала Минская и снова зѣвнула. Вы видите, я съ вами не церемонюсь, прибавила она.

— И у меня сплинъ!... отвѣчалъ Лугинъ.

— Вамъ опять хочется въ Италію, сказала она послѣ нѣкотораго молчанія: не правда ли?

Лугинъ, въ свою очередь, не слыхалъ вопроса; онъ продолжалъ, положивъ ногу на ногу и уставя глаза безотчетливо на бѣломраморныя плечи своей собесѣдницы:

— Вообразите, какое со мной несчастье! Что можетъ быть хуже для человека, который, какъ я, посвятилъ себя живописи? Вотъ уже двѣ недѣли, какъ всѣ люди мнѣ кажутся желтыми—и одни только люди! Добро бы всѣ предметы, тогда была бы гармонія въ общемъ колоритѣ: я бы думалъ, что гуляю въ галерей испанской школы... такъ нѣтъ! все остальное какъ и прежде: одни лица измѣнились; мнѣ иногда кажется, что у людей, вмѣсто головъ, лимоны.

Минская улынулась.

— Призовите доктора, сказала она.

— Доктора не помогут: это сплин!

— Влюбитесь!

Во взглядѣ, который сопровождалъ это слово, выразалось что-то похожее на слѣдующее: мнѣ бы хотѣлось его немножко помучить.

— Въ кого?

— Хотѣ въ меня.

— Нѣтъ! вамъ даже кокетничать со мною было бы скучно. И потомъ скажу вамъ откровенно: ни одна женщина не можетъ меня любить.

— А эта... какъ бишь ее? итальянская графиня, которая послѣдовала за вами изъ Неаполя въ Миланъ?...

— Вотъ видите, отвѣчалъ задумчиво Лугинъ: я сужу другихъ по себѣ и въ этомъ отношеніи, увѣренъ, не ошибаюсь. Мнѣ точно случалось возбуждать въ иныхъ женщинахъ всѣ признаки страсти. Но такъ какъ я очень знаю, что въ этомъ обязанъ только искусству и привычкѣ кстати трогать нѣкоторыя струны человеческого сердца, то и не радуюсь своему счастью. Я себя спрашивалъ: «могу ли я влюбиться въ дурную?» Вышло: нѣтъ; я дуренъ и, слѣдственно, женщина меня любить не можетъ—это ясно. Артистическое чувство развито въ женщинахъ сильнѣе, чѣмъ въ насъ; онѣ чаще и далѣе насъ покорны первому впечатлѣнію. Если я умѣлъ подогрѣть въ нѣкоторыхъ то, что называютъ капризомъ, то это стоило мнѣ неимоверныхъ трудовъ и жертвъ; но такъ какъ я зналъ поддѣльность чувства, внушеннаго мною, и благодарилъ за него только себя, то и самъ не могъ забыть до полной, безотчетной любви; къ моей страсти примѣшивалось всегда немного злости. Все это грустно, а правда!...

— Какой вздоръ! сказала Минская, но, окинувъ его быстрымъ взглядомъ, она невольно съ нимъ согласилась.

Наружность Лугина была въ самомъ дѣлѣ ни чуть не привлекательна, не смотря на то, что въ странномъ выраженіи глазъ его было много огня и остроумія. Вы бы не встрѣтили во всемъ его существѣ ни одного изъ тѣхъ условій, которыя дѣлаютъ человека пріятнымъ въ обществѣ: онъ былъ неловко и грубо сложенъ, говорилъ рѣзко и отрывисто; большіе и рѣдкіе волосы на вискахъ, неровный цвѣтъ лица—признаки постоянного и тайнаго недуга—дѣлали его на видъ старѣе, чѣмъ онъ былъ въ самомъ дѣлѣ. Онъ три года лечился въ Италіи отъ ипохондріи, и хотя не вылечился, но по крайней мѣрѣ нашелъ средство развлекаться съ пользою: онъ пристрастился къ живописи. Природный талантъ, сжатый обязанностями службы, развился въ немъ широко и свободно подѣ животворнымъ небомъ юга, при чудныхъ памятникахъ древнихъ учителей. Онъ вернулся истиннымъ художникомъ, хотя одни только друзья имѣли право наслаждаться его прекраснымъ талантомъ. Въ его картинахъ дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство; на нихъ была печать той горькой поэзіи, которую нашъ бѣдный вѣкъ выжималъ иногда изъ сердца ея первыхъ проповѣдниковъ.

Лугинъ уже два мѣсяца какъ вернулся въ Петербургъ. Онъ имѣлъ независимое состояніе, мало родныхъ и нѣсколько старинныхъ знакомствъ въ высшемъ кругу столицы, гдѣ и хотѣлъ провести зиму. Онъ бывалъ часто у Минской. Ея красота, рѣдкій умъ, оригинальный взглядъ на вещи должны были произвести впечатлѣніе на человека съ умомъ и воображеніемъ, но о любви между ними не было и въ поминѣ.

Разговоръ ихъ на время прекратился и они оба, казалось, заслушались музыки. Забѣгая пѣвица пѣла балладу Шуберта на слова Гете: «Лѣсной царь». Когда она кончила, Лугинъ всталъ.

— Куда вы? спросила Минская.

— Прощайте.

— Еще рано.

Онъ опять сѣлъ.

— Знаете ли, сказалъ онъ съ какою-то важностью: что я начинаю сходить съ ума.

— Право?

— Кромѣ шутокъ. Вамъ это можно сказать: вы надо мною не будете смѣяться. Вотъ уже нѣсколько дней, какъ я слышу голосъ: кто-то мнѣ твердитъ на ухо съ утра, до вечера и—какъ вы думаете, что—адресъ. Вотъ и теперь слышу: «въ Столярномъ переулкѣ, у Какушкина моста, домъ титулярнаго совѣтника Штосса, квартира нумеръ 27», и такъ шибко, шибко, точно торопится... Несносно!...

Онъ поблѣднѣлъ, но Минская этого не замѣтила.

— Вы, однако, не видите того, кто говорить? спросила она разсѣянно.

— Нѣтъ; но голосъ звонкій, рѣзкій дискантъ.

— Когда же это началось?

— Признаться ли? Я не могу сказать навѣрное... не знаю... вотъ что, право, презабавно! сказалъ онъ, принужденно улыбаясь.

— У васъ кровь приливаетъ къ головѣ и въ ушахъ звенить.

— Нѣтъ, нѣтъ! Научите, какъ мнѣ избавиться?

— Самое лучшее средство, сказала Минская, подумавъ съ минуту: идти къ Какушкину мосту, отыскать этотъ нумеръ, и такъ какъ, вѣрно, въ немъ живетъ какой нибудь сапожникъ или часовой мастеръ, то для приличія закажите ему работу и, возвратясь домой, ложитесь спать, потому что... вы въ самомъ дѣлѣ нездоровы... прибавила она, взглянувъ на его встревоженное лицо съ участіемъ.

— Вы правы, отвѣчалъ угрюмо Лугинъ: я непременно пойду. Онъ всталъ, взялъ шляпу и вышелъ.

— Она посмотрѣла ему во слѣдъ съ удивленіемъ.

II.

Сырое ноябрьское утро лежало надъ Петербургомъ. Мокрый снѣгъ падалъ хлопьями; дома казались грязны и темны; лица прохожихъ были зелены; извозники на биржахъ дремали подъ рыжими полостями своихъ саней; мокрая, длинная шерсть ихъ бѣдныхъ клячь завивалась барашкомъ; туманъ придавалъ отдаленнымъ предметамъ какой-то сѣро-лиловый цвѣтъ. По тротуарамъ лишь изрѣдка хлопали калоши чиновника, да иногда раздавался шумъ и хождѣ въ подземной полливной лавочкѣ, когда оттуда вытаскивали пьянаго молодца въ зеленой фризовой шинели и клеенчатой фуражкѣ. Разумѣется, эти картины встрѣтили бы вы только въ глухихъ частяхъ города, какъ на примѣръ, у Какушкина моста. Черезъ этотъ мостъ шелъ человѣкъ средняго роста, ни худой, ни толстый, ни стройный, но съ широкими плечами, въ пальто, и вообще одѣтый со вкусомъ. Жалко было видѣть его лакированные сапоги, вымоченные снѣгомъ и грязью; но онъ, казалось, объ этомъ ни мало не заботился. Засунувъ руки въ карманы, повѣся голову, онъ шелъ неровными шагами, какъ будто боялся достигнуть цѣли своего путешествія или не имѣлъ ея вовсе. На мосту онъ остановился, поднялъ голову и осмотрѣлся. То былъ Лугинъ. Слѣды душевной усталости виднѣлись на его измятомъ лицѣ; въ глазахъ горѣло тайное беспокойство.

— Гдѣ Столярный переулокъ? спросилъ онъ нерѣшительнымъ голосомъ у порожняго извозника, который въ эту минуту проѣзжалъ мимо его шагомъ, закрывшись по шею мохнатою полостью и насвистывая камаринскую. Извозникъ посмотрѣлъ на него, хлыстнулъ лошадь кончикомъ кнута и проѣхалъ мимо.

Ему это показалось странно. «Ужъ полно, есть ли Столярный переулокъ?» Онъ сошелъ съ моста и обратился съ тѣмъ же вопросомъ къ мальчику, который бѣжалъ съ полуштофомъ черезъ улицу.

— Столярный? сказалъ мальчикъ: а вотъ идите прямо по Малой Мѣщанской и тотчасъ направо первый переулокъ и будетъ Столярный.

Лугинъ успокоился. Дойдя до угла, онъ повернулъ направо и увидѣлъ небольшой грязный переулокъ, въ которомъ съ каждой стороны было не больше десяти высокихъ домовъ. Онъ постучалъ въ дверь первой мелочной лавочки и, вызвавъ лавочника, спросилъ: гдѣ домъ Штосса?

— Штосса? Не знаю, баринъ; здѣсь эдакихъ нѣтъ; а вотъ здѣсь рядомъ есть домъ купца Блинникова, а подальше...

— Да мнѣ надо Штосса...

— Ну, не знаю!... Штосса? — сказалъ лавочникъ, почесавъ затылокъ, и потомъ прибавилъ: нѣтъ, не слышать-съ!

Лугинъ пошелъ самъ смотрѣть надписи: что-то ему говорило, что онъ съ перваго взгляда узнаетъ домъ, хотя никогда его не видалъ. Такъ онъ добрался почти до конца переулка и ни одна надпись ни чѣмъ не поразила его воображенія, какъ вдругъ онъ кинулъ случайно глаза на противоположную сторону улицы и увидалъ надъ одними воротами жестяную доску вовсе безъ надписи; онъ подбѣжалъ къ этимъ воротамъ и сколько ни разсматривалъ, не замѣтилъ ничего похожего даже на слѣды стертой временемъ надписи; доска была совершенно новая. Подъ воротами дворникъ, въ долгополомъ полинявшемъ кафтанѣ, съ сѣдой, давно небритой бородою, безъ шапки и подпоясанный грязнымъ фартукомъ, разметалъ снѣгъ.

— Эй, дворникъ! закричалъ Лугинъ.

Дворникъ что-то проворчалъ сквозь зубы.

— Чей это домъ?

— Проданъ! отвѣчалъ грубо дворникъ.

— Да чей онъ былъ?

— Чей?—Кифейкина, купца.

— Не можетъ быть! вѣрно Штосса! вскрикнулъ невольно Лугинъ.

— Нѣтъ, былъ Кифейкина, а теперь такъ Штосса, отвѣчалъ дворникъ, не подымая головы.

У Лугина руки опустились.

Сердце его забилося, какъ будто предчувствуя несчастье. Долженъ ли онъ былъ продолжать свои изслѣдованія? Не лучше ли во время остановиться? Кому не случилось находиться въ такомъ положеніи, тотъ съ трудомъ пойметъ его. Любопытство, говорятъ, сгубило родъ человѣчскій; оно и понинѣ наша главная, первая страсть, такъ что даже всѣ остальные страсти могутъ имъ объясниться. Но бывають случаи, когда таинственность предмета даетъ любопытству необычайную власть: покорные ему, подобно камню, сброшенному съ горы сильною рукою, мы не можемъ остановиться, хотя видимъ насъ ожидающую бездну.

Лугинъ долго стоялъ передъ воротами, наконецъ обратился къ дворнику съ вопросомъ:

— Новый хозяинъ здѣсь живетъ?

— Нѣтъ.

— А гдѣ же?

— А чортъ его знаетъ!

— Ты ужъ давно здѣсь дворникомъ?

— Давно.

— А есть въ этомъ домѣ жильцы?

— Есть.

— Скажи, пожалуйста, сказалъ Лугинъ послѣ нѣкотораго молчанія, сунувъ дворнику цѣлковый; кто живетъ въ 27 номерѣ?

Дворникъ поставилъ метлу къ воротамъ, взявъ цѣлковый и пристально посмотрѣлъ на Лугина.

— Въ 27 номерѣ?... Да кому тамъ жить? Онъ ужъ Богъ знаетъ сколько лѣтъ пустой.

— Развѣ его не нанимали?
 — Какъ не нанимать, сударь, нанимали?
 — Какъ же ты говоришь, что въ немъ не живутъ...

— А Богъ ихъ знаетъ! такъ таки не живутъ. Наймутъ на годъ, да и не переѣзжаютъ.

— Ну, а кто его послѣдній нанималъ?
 — Полковникъ, изъ анженеровъ, что ли?

— Отчего же онъ не жилъ?
 — Да переѣхалъ было... а тутъ, говорятъ, его послали въ Вятку—такъ нумеръ пустой за нимъ и остался.

— А прежде полковника?
 — Прежде него было нанялъ какой-то баронъ, изъ нѣмцевъ, да этотъ и не переѣзжалъ: слышно, умеръ.

— А прежде барона?
 — Нанималъ купецъ для какой-то своей... гм! да обанкрутился, такъ у насъ и задатокъ остался...

«Странно!» подумалъ Лугинъ.
 — А можно посмотрѣть нумеръ?
 Дворникъ опять пристально взглянул на него.

— Какъ нельзя? Можно! отвѣчалъ онъ и пошелъ, переваливаясь за ключами.

Онъ скоро возвратился и повелъ Лугина во второй этажъ по широкой, но довольно грязной лѣстницѣ. Ключъ заскрипѣлъ въ заржавленномъ замкѣ и дверь отворилась; имъ въ лицо пахнуло сыростью. Они вошли. Квартира состояла изъ четырехъ комнатъ и кухни. Старая, пыльная мебель, нѣкогда позолоченная, была правильно разставлена кругомъ стѣнъ, обтянутыхъ обоями, на которыхъ изображены были, на зеленомъ грунтѣ, красные попугаи и золотыя лиры; изразцовыя печи кое-гдѣ порастрескались; сосновый полъ, выкрашенный подъ паркетъ, въ иныхъ мѣстахъ скрипѣлъ довольно подозрительно; въ простѣнкахъ висѣли овальныя зеркала съ рамками рококо; вообще комнаты имѣли какую-то странную, несо-

временную наружность. Она, не знаю почему, понравилась Лугину.

— Я беру эту квартиру, сказалъ онъ. Вели вымыть окна и вытереть мебель... посмотри сколько паутины!... да надо хорошенько вытопить. — Въ эту минуту онъ замѣтилъ на стѣнѣ послѣдней комнаты поясной портретъ, изображавшій чело-вѣка лѣтъ сорока въ бухарскомъ халатѣ, съ правильными чертами и большими, сѣрыми глазами; въ правой рукѣ онъ держалъ золотую табакерку необыкновенной величины; на пальцахъ красовалось множество разныхъ перстней. Казалось, этотъ портретъ писанъ не смѣлой, ученической кистью; платье, волосы, рука, перстни—все было очень плохо сдѣлано; за то въ выраженіи лица, особенно губъ, дышала такая страшная жизнь, что нельзя было глазъ оторвать; въ линіи рта былъ какой-то неуловимый изгибъ, недоступный искусству и, конечно, начертанный безсознательно, придававшій лицу выраженіе насмѣшливое, грустное, злое и ласковое попеременно. Не случилось ли вамъ на замороженномъ стеклѣ, или въ зубчатой тѣни, случайно наброшенной на стѣну какимъ нибудь предметомъ, различать профиль человѣческаго лица, профиль, иногда невообразимой красоты, иногда непостижимо отвратительный? Попробуйте переложить ихъ на бумагу—вамъ не удастся; попробуйте на стѣнѣ обрисовать карандашемъ силуэтъ, васъ такъ сильно поразившій—и очарованіе исчезаетъ. Рука чело-вѣка никогда съ намѣреніемъ не произведетъ этихъ линій; математически малое отступленіе—и прежнее выраженіе погибло невосвратно. Въ лицѣ портрета дышало именно то не изъяснимое, возможное только генію или случаю.

«Странно, что я замѣтилъ этотъ портретъ только въ ту минуту, какъ сказалъ, что беру квартиру!» подумалъ Лугинъ.

Онъ сѣлъ въ кресла, опустил голову на руку и забылся.

Долго дворникъ стоялъ противъ него, помахивая ключами.

— Что жъ, баринъ? проговорилъ онъ наконецъ.

— А?

— Какъ же? Коли берете, такъ пожалуйста задатокъ.

Они условились въ цѣнѣ. Лугинъ далъ задатокъ, послалъ къ себѣ съ приказаніемъ сейчасъ же перевозиться, а самъ просидѣлъ противъ портрета до вечера. Въ 9 часовъ самыя нужныя вещи были перевезены изъ гостиницы, гдѣ жилъ до сей поры Лугинъ.

«Вздоръ, чтобъ на этой квартирѣ нельзя было жить!» думалъ Лугинъ: «моимъ предшественникамъ, видно, не суждено было въ нее перебраться—это, конечно, странно! Но я взялъ свои мѣры: переѣхалъ тотчасъ!... Что жъ?—ничего».

До двѣнадцати часовъ онъ съ своимъ старымъ камердинеромъ Никитой разставлялъ вещи... и, надо прибавить, что онъ выбралъ для своей спальни комнату, гдѣ висѣлъ портретъ.

Передъ тѣмъ, чтобъ лечь въ постель, онъ подошелъ со свѣчей къ портрету, желая еще разъ на него взглянуть хорошенько, и прочиталъ внизу, вмѣсто имени живописца, красными буквами: се-реда.

— Какой нынче день? спросилъ онъ Никиту.

— Понедѣльникъ, сударь...

— Послѣ завтра среда, сказалъ разсѣянно Лугинъ...

— Точно такъ-съ?

Богъ знаетъ, почему Лугинъ на него разсердился.

— Пошелъ вонъ! закричалъ онъ, топнувъ ногою.

Старый Никита покачалъ головою и вышелъ. Послѣ этого Лугинъ легъ въ постель и заснулъ. На другой день утромъ привезли остальные вещи и нѣсколько начатыхъ картинъ.

III.

Въ числѣ недоконченныхъ картинъ, большею частью маленькихъ, была одна, размѣра довольно значительнаго. Посреди холста, исчерченнаго углемъ, мѣломъ, и загрунтованнаго зелено-коричневою краской, эскизъ женской головки остановилъ бы вниманіе знатока; но, не смотря на прелесть рисунка и на живость колорита, она поражала непріятно тѣмъ-то неопредѣленнымъ въ выраженіи глазъ и улыбки. Видно было, что Лугинъ перерисовывалъ ее въ другихъ видахъ и не могъ остаться довольнымъ, потому что въ разныхъ углахъ холста являлась та же головка, замаранная коричневою краской; то не былъ портретъ. Можетъ быть, подобно молодымъ поэтамъ, вздыхающимъ по небывалой красавицѣ, онъ старался осуществить на холстѣ свой идеалъ—женщину ангела—причуда, понятная въ первой юности, но рѣдкая въ человѣкѣ, который сколько нибудь испыталъ жизнь. Однако есть люди, у которыхъ опытность ума не дѣйствуетъ на сердце, и Лугинъ былъ изъ числа этихъ несчастныхъ и поэтическихъ созданий. Самый тонкій плутъ, самая опытная кокетка съ трудомъ могли бы его провестъ, а самъ себя онъ ежедневно обманывалъ съ прѣстодушіемъ ребенка. Съ нѣкотораго времени его преслѣдовала постоянная идея, мучительная и несносная, тѣмъ болѣе, что отъ нея страдало его самолюбіе. Онъ былъ далеко не красавецъ—это правда, однако въ немъ ничего не было отвратительнаго, и люди, знавшіе его умъ, талантъ и добродушіе, находили даже выраженіе лица его довольно пріятнымъ. Но онъ твердо убѣдился, что степень его безобразія исключаетъ возможность любви, и сталъ смотрѣть на женщинъ, какъ на природныхъ своихъ враговъ, подозрѣвая въ ихъ случайныхъ ласкахъ побужденія построннія и объясняя грубымъ и положи-

тельнымъ образомъ самую явную ихъ благосклонность.

Не стану разсматривать, до какой степени онъ былъ правъ: но дѣло въ томъ, что подобное расположеніе души извиняетъ достаточно фантастическую любовь къ воздушному идеалу, любовь самую невинную и вмѣстѣ самую вредную для человѣка съ воображеніемъ.

Въ этотъ день, который былъ вторникъ, ничего особеннаго съ Лугиннымъ не случилось: онъ до вечера просидѣлъ дома, хотя ему нужно было куда-то ѣхать. Непостижимая лѣнь овладѣла всѣми чувствами его; хотѣлъ рисовать—кисти выпадали изъ рукъ; пробовалъ читать—взоры его скользили надъ строками и читали совсѣмъ не то, что было написано: его бросало въ жаръ и въ холодъ; голова болѣла; звенѣло въ ушахъ. Когда смерклось, онъ не велѣлъ подавать свѣчъ и сѣлъ у окна, которое выходило на дворъ. На дворѣ было темно; у бѣдныхъ сосѣдей тускло свѣтились окна. Онъ долго сидѣлъ; вдругъ на дворѣ заиграла шарманка; она играла какой-то старинный нѣмецкій вальсъ. Лугинъ слушалъ, слушалъ; ему стало ужасно грустно. Онъ началъ ходить по комнатѣ, небывалое безпокойство имъ овладѣло; ему хотѣлось плакать, хотѣлось смѣяться... онъ бросился на постель и заплакалъ: ему представилось все его прошедшее. Онъ вспомнилъ, какъ часто бывалъ обманутъ, какъ часто дѣлалъ зло именно тѣмъ, которыхъ любилъ; какая дикая радость иногда разливалась по его сердцу, когда видѣлъ слезы, вызванныя имъ изъ глазъ, нынѣ закрытыхъ на вѣки, и онъ съ ужасомъ замѣтилъ и признался, что онъ не достоинъ былъ любви безотчетной и истинной—и ему стало такъ больно, такъ тяжело!

Около полуночи онъ успокоился, сѣлъ къ столу, зажегъ свѣчу, взялъ листъ бумаги и сталъ что-то чертить. Все было

тихо вокругъ. Свѣча горѣла ярко и спокойно. Онъ рисовалъ голову старика, и когда кончилъ, то его поразило сходство этой головы съ кѣмъ-то знакомымъ. Онъ поднялъ глаза на портретъ, висѣвшій противъ него—сходство было разительное; онъ невольно вздрогнулъ и обернулся: ему показалось, что дверь, ведущая въ пустую гостиную, закрипѣла; глаза его не могли оторваться отъ двери. «Кто тамъ?» вскрикнулъ онъ.

За дверьми послышался шорохъ, какъ будто хлопали туфли; известка посыпалась съ печи на полъ. «Кто это?» повторилъ онъ слабымъ голосомъ.

Въ эту минуту обѣ половинки двери тихо, беззвучно стали отворяться; холодное дыханіе повѣяло въ комнату; дверь отворилась сама; въ той комнатѣ было темно, какъ въ погребѣ.

Когда дверь отворилась настежъ, въ ней показалась фигура, въ полосатомъ халатѣ и туфляхъ: то былъ сѣдой, сторбленный старичекъ; онъ медленно подвигался, присѣдая; лицо его, блѣдное и длинное, было неподвижно, губы сжаты; сѣрые, мутные глаза, обведенные красной каймою, смотрѣли прямо, безъ цѣли. И вотъ онъ сѣлъ у стола противъ Лугина, вынулъ изъ-за пазухи двѣ колоды картъ, положилъ одну противъ Лугина, другую передъ собой, и улыбнулся.

— Что вамъ надобно? сказалъ Лугинъ съ храбростью отчаянія. Его кулаки судорожно сжимались и онъ былъ готовъ пустить шандаломъ въ незваннаго гостя.

Подъ халатомъ вздохнуло.

— Это несносно! сказалъ Лугинъ задыхающимся голосомъ. Его мысли мѣшались.

Старичекъ зашевелился на стулѣ; вся его фигура измѣнялась ежеминутно: онъ дѣлался то выше, то толще, то почти совсѣмъ съѣживался; наконецъ принялъ прежній видъ.

«Хорошо», подумалъ Лугинъ: если это привидѣніе, то я ему не поддамся.

— Не угодно ли, я вамъ промечу штоссъ? сказалъ старичокъ.

Лугинъ взялъ передъ нимъ лежавшую колоду картъ и отвѣчалъ насмѣшливымъ тономъ:

— А на что же мы будемъ играть? Я васъ предвараю, что душу свою на карту не поставлю! [Онъ думалъ этимъ озадачить привидѣніе]. А если хотите, продолжалъ онъ: я поставлю клонгеръ: не думаю, чтобъ водились въ вашемъ воздушномъ банкѣ.

Старика эта шутка ни мало не сконфузила.

— У меня въ банкѣ вотъ это! отвѣчалъ онъ, протянувъ руку.

— Это? сказалъ Лугинъ, испугавшись и кинувъ глаза налѣво.—Что это?

Возлѣ него колыхалось что-то бѣлое, неясное и прозрачное. Онъ съ отвращеніемъ отвернулся.

— Мечите! потомъ сказалъ онъ, оправившись, и вынувъ изъ кармана клонгеръ, положилъ его на карту.—Идетъ, темная.

Старичекъ поклонился, стасовалъ карты, срѣзалъ и сталъ метать. Лугинъ поставилъ семерку бубенъ, и она соника была убита; старичекъ протянулъ руку и взялъ золотой.

— Еще талью! сказалъ съ досадою Лугинъ.

Онъ покачалъ головою.

— Что же это значить?

— Въ середу, сказалъ старичекъ.

— А, въ середу! вскрикнулъ въ бѣшенствѣ Лугинъ. Такъ нѣтъ же! не хочу въ середу! завтра или никогда! Слышишь ли?

Глаза страннаго гостя пронзительно засверкали, и онъ опять безпокойно зашевелился.

— Хорошо! наконецъ сказалъ онъ, всталъ, поклонился и вышелъ, присѣдая. Дверь опять тихо за нимъ затворилась, въ сосѣдней комнатѣ опять захлопали туфли и мало по малу все утихло. У Лугина кровь стучала въ голову молот-

комъ; странное чувство волновало и грызло его душу. Ему было досадно, обидно, что онъ проигралъ. «Однако жъ я не поддался ему!» говорилъ онъ, стараясь себя утѣшить: «Переупрямилъ! Въ середу! Какъ бы не такъ! что я за сумасшедшій! Это хорошо!... очень хорошо! онъ у меня не отдѣлается... А какъ похожъ на этотъ портретъ!... ужасно, ужасно похожъ!... А! теперь я понимаю!...»

На этомъ словѣ онъ заснулъ въ креслахъ. На другой день поутру онъ никому о случившемся не говорилъ, просидѣлъ цѣлый день дома и съ лихорадочнымъ нетерпѣніемъ дожидался вечера.

«Однако я не посмотрѣлъ хорошенько на то, что у него въ банкѣ! думалъ: вѣрно что нибудь необыкновенное!»

Когда наступила ночь, онъ всталъ съ своихъ креселъ, вышелъ въ сосѣдную комнату, заперъ на ключъ дверь, ведущую въ переднюю, и возвратился на свое мѣсто. Онъ недолго дожидался: опять раздался шорохъ, хлопанье туфлей, кашель старика, и въ дверяхъ показалась его мертвая фигура. За нимъ подвигалась другая, но до того туманная, что Лугинъ не могъ разсмотрѣть ея формы.

Старичекъ сѣлъ, какъ наканунѣ, положилъ на столъ двѣ колоды картъ, срѣзалъ одну и приготовился метать, повидимому не ожидая отъ Лугина никакого сопротивленія. Въ его глазахъ блистала необыкновенная увѣренность, какъ будто они читали въ будущемъ.

Лугинъ, остолбенѣвшій совершенно подъ магнетическимъ вліяніемъ его сѣрыхъ глазъ, уже бросилъ было на столъ два полуимперіала, какъ вдругъ онъ опомнился.

— Позвольте!... сказалъ онъ, покрывъ рукою свою колоду.

Старичекъ сидѣлъ неподвиженъ.

— Что, бишь, я хотѣлъ сказать?... Позвольте... да!...

Лугинъ запутался.

Наконецъ, сдѣлавъ усиліе, онъ медленно проговорилъ:

— Хорошо... я съ вами буду играть... я принимаю вызовъ... я не боюсь... только съ условіемъ: я долженъ знать, съ кѣмъ играю. Какъ ваша фамилія?

Старичекъ улыбнулся.

— Я иначе не играю, проговорилъ Лугинъ; а межъ тѣмъ дрожащая рука его вытаскивала изъ колоды очередную карту.

— Что-съ? проговорилъ неизвѣстный, насмѣшливо улыбаясь.

— Штоссъ?— это? У Лугина руки опустились, онъ испугался.

Въ эту минуту онъ почувствовалъ возлѣ себя чье-то свѣжее ароматическое дыханіе, и слабый шорохъ, и вздохъ невольный, и легкое, огненное прикосновенье. Станный, сладкій и вмѣстѣ болѣзненный трепетъ пробѣжалъ по его жиламъ; онъ на мгновеніе обернулъ голову и тотчасъ опять устремилъ взоръ на карты; но этого минутнаго взгляда было бы довольно, чтобы заставить его проиграть душу. То было чудное и божественное видѣнье: склонясь надъ его плечомъ, сіяла женская головка; ея уста умоляли; въ ея глазахъ была тоска невыразимая; она отдѣлялась на темныхъ стѣнахъ комнаты, какъ утренняя звѣзда на туманномъ востокѣ. Никогда жизнь не производила ничего столь воздушно-неземнаго; никогда смерть не уносила изъ міра ничего столь полного пламенной жизни; то не было существо земное, то были краски и свѣтъ вмѣсто формъ и тѣла, теплое дыханіе вмѣсто крови, мысль вмѣсто чувства; то не былъ также пустой и ложный призракъ, потому что въ неясныхъ чертахъ дышала страсть бурная и жадная, желаніе, грусть, любовь, страхъ, надежда... то была одна изъ тѣхъ чудныхъ красавицъ, которыхъ рисуетъ намъ молодое воображеніе, передъ которыми, въ волненіи пламенныхъ грѣзъ, стоимъ на колѣняхъ и плачемъ, и молимъ, и радуемся,

Богъ знаетъ чему; одно изъ тѣхъ божественныхъ созданій молодой души, когда она, въ избыткѣ силъ, творитъ для себя новую природу лучше и полнѣе той, къ которой она прикована!

Въ эту минуту Лугинъ не могъ объяснить того, что съ нимъ сдѣлалось; но съ этой минуты онъ рѣшился играть, пока не выиграетъ; эта цѣль сдѣлалась цѣлью его жизни: онъ былъ этому очень радъ.

Старичекъ сталъ метать: карта Лугина была убита. Блѣдная рука опять потащила по столу два полуймпериала.

— Завтра! сказалъ Лугинъ.

Старичекъ вздохнулъ тяжело, но кивнулъ головой въ знакъ согласія, и вышелъ, какъ наканунѣ.

Всякую ночь въ продолженіе мѣсяца эта сцена повторялась. Всякую ночь Лугинъ проигрывалъ, но ему не было жаль денегъ: онъ былъ увѣренъ, что наконецъ хоть одна карта будетъ дана, и потому все удваивалъ куши. Онъ былъ въ сильномъ проигрышѣ, но за то каждую ночь на минуту встрѣчалъ взглядъ и улыбку, за которые онъ готовъ былъ отдать все на свѣтѣ. Онъ похудѣлъ и пожелтѣлъ ужасно. Цѣлые дни просиживалъ дома, запершись въ кабинетѣ; часто не обѣдалъ. Онъ ожидалъ вечера, какъ любовникъ—свиданія, и каждый вечеръ былъ награжденъ взглядомъ болѣе нѣжнымъ, улыбкой болѣе привѣтливой. Она — не знаю какъ назвать ее—она, казалось, принимала трепетное участіе въ игрѣ: казалось, она ждала съ нетерпѣніемъ минуты, когда освободится отъ ига несноснаго старика, и всякій разъ, когда карта Лугина была убита, она съ грустнымъ взоромъ оборачивала къ нему эти страстные, глубокіе глаза, которые, казалось, говорили: «смѣлѣе, не упадай духомъ, подожди: я буду твоею, во что бы то ни стало; я тебя люблю!»—и жестокая, молчаливая печаль покрывала своей тѣнью ея

измѣнчивыя черты. И всякій вечеръ, когда они разставались, у Лугина болѣзненно сжималось сердце отчаяніемъ и бѣшенствомъ. Онъ уже продавалъ вещи, чтобъ

поддерживать игру; онъ видѣлъ, что не-вдалекѣ та минута, когда ему нечего будетъ поставить на карту. Надо будетъ на что нибудь рѣшиться. Онъ рѣшился...

Другой отрывокъ изъ начатой повѣсти.



Я хочу рассказать вамъ исторію женщины, которую вы всѣ видѣли и которую никто изъ васъ не зналъ. Вы ее встрѣчали ежедневно на балѣ, въ театрѣ, на гуляньѣ, у нея въ кабинетѣ. Теперь она уже сошла со сцены большого свѣта; ей тридцать лѣтъ, и она схоронила себя въ деревнѣ; но когда ей было только двадцать, весь Петербургъ шумно занимался ею въ продолженіе цѣлой зимы. Объ этомъ совершенно забыли—и слава Богу! потому что, иначе, я бы не могъ печатать своей повѣсти. Въ обществѣ про нее было въ то время много разногласныхъ толковъ. Старушки говорили объ ней, что она прехитрая и прелукавая, пріятельницы—что она преглупенькая, соперницы—что она предобрая, молодые женщины—что она кокетка, а раздушенные старики значительно улыбались при ея имени и ничего не говорили. Еще прибавлю странность. Иные жалѣли, что такой правильной и свѣжей красотѣ не достаеъ фizioноміи, тогда какъ другіе утверждали, что хотя она вовсе не хороша, но неизъяснимая прелесть выраженія въ ея лицѣ замѣняетъ всѣ прочіе недостатки. При томъ мужъ ея, пятидесятилѣтній мужчина, имѣлъ графскій титулъ и сомнительно-огромное состояніе. Всего этого, кажется, довольно, чтобы доставить молодой женщинѣ ту соблазнительную, мимолетную славу, за которой онѣ всѣ такъ жадно гонятся и за которую нѣкоторые изъ нихъ такъ дорого платятъ.

Подробности моего разсказа покажутся не очень нравственными, но ручаюсь вамъ, что въ немъ будетъ заключаться глубокий нравственный смыслъ, который не ускользнетъ ни отъ кого, развѣ отъ 18 лѣтнихъ барышень—да имъ моей книги не дадутъ; а если она имъ и попадетъ случайно, то умоляю ихъ, послѣ этихъ строкъ закрыть ее и не класть на ночь подъ подушку, потому что отъ этого находятъ дурные сны. Молодые же дамы, прочитавъ эти правдивыя страницы, вѣрно, отдадутъ справедливость моимъ описаніямъ и замѣчаніямъ, вспомнивъ нѣчто подобное въ своей жизни; но онѣ, конечно, этого никому не скажутъ, тогда какъ многіе молодые франты станутъ увѣрять, что такія приключенія были съ ними на дняхъ, тогда какъ съ болышею частію изъ нихъ ничего такого случиться даже не можетъ. Всѣ почти жалуются у насъ на однообразіе свѣтской жизни, а забываютъ, что надо бѣгать за приключеніями, чтобъ они встрѣтились; а для того, чтобы за ними гоняться, надо быть взволновану сильной страстью или имѣть одинъ изъ тѣхъ безпокойно-любопытныхъ характеровъ, которые готовы сто разъ пожертвовать жизнію, только бы достать ключъ самой незамысловатой, повидимому, загадки; но на днѣ одной есть уже вѣрно другая, потому что все для насъ въ мірѣ тайна, и тотъ, кто думаетъ отгадать чужое сердце или знать всѣ подробности жизни своего лучшаго друга, горько ошибается. Во всякомъ сердцѣ, во всякой

жизни пробѣжало чувство, промелькнуло событіе, которыхъ никто никому не откроетъ, а они-то самыя важныя и есть; они-то обыкновенно даютъ тайное направление чувствамъ и поступкамъ.

Въ нашемъ равнодушномъ вѣкѣ любопытныхъ и страстныхъ людей немного; но, около десяти лѣтъ тому назадъ, случился одинъ такой чудакъ въ Петербургѣ, и судьба, какъ нарочно, поставила его передъ непонятной женщиною, которой исторію я хочу вамъ рассказать.

Александрѣ Сергѣевичу Арбенину было тридцать лѣтъ—возрастъ силы и зрѣлости для мужчины, если только молодость его прошла не слишкомъ бурливо и не слишкомъ спокойно. Извѣстно, что въ природѣ противоположныя причины часто производятъ одинакія дѣйствія: лошадь равно падаетъ на ноги отъ застоя и отъ излишней ѣзды.

Вотъ какова была молодость Арбенина.

Начнемъ сначала.

Онъ родился въ Москвѣ. Скоро послѣ появленія его на этотъ свѣтъ, его мать развѣхалась съ его отцомъ по неизвѣстнымъ причинамъ. Сообразивъ всѣ городскіе толки, можно было сдѣлать только одно вѣрное заключеніе, а именно, что Сергѣй Васильевичъ развѣхался съ своею супругой.

Саша остался на рукахъ отца. Когда ему минуло годъ, его посадили съ кормилицей и няней въ карету и отвезли въ симбирскую деревню. Сергѣй Васильевичъ вскорѣ самъ туда пріѣхалъ и поселился на житѣе. Деревня эта находилась на берегу Волги. Отъ барскаго дома по скату горы до самой рѣки разстилался фруктовый садъ. Съ балкона видны были дымящіяся села луговой стороны, синѣющія степи и желтыя нивы. Весной, во время разлива, рѣка превращалась въ море, усыпанное лѣсистыми островами; по ней мелькали бѣлые паруса барокъ и вечеромъ раздавались пѣсни бурлаковъ. Бар-

скій домъ былъ похожъ на всѣ барскіе дома: деревянный, съ мезониномъ, выкрашенный желтой краской, а дворъ обстроенъ былъ одноэтажными, длинными флигелями, сараями, конюшнями и обведенъ валомъ, на которомъ качались и сохли жидкія ветлы; среди двора красовались качели; по воскресеньямъ дворня толпилась вокругъ нихъ и, порой, двѣ горничныя садились на полусгнившую доску, висящую межъ двухъ сомнительныхъ веревокъ, и двое изъ самыхъ любезныхъ лакеевъ, взявшись каждый за конецъ толстаго каната, взбрасывали скромную чету подъ облака; мальчишки били въ ладони, когда пугливыя дѣвы начинали визжать—и всѣмъ было очень весело. Надо замѣтить, что качели среди барскаго двора—признакъ отечески-добраго правленія, а между тѣмъ вотъ какъ хорошо судятъ о насъ иностранцы: въ путевыхъ запискахъ одного француза я недавно читалъ, что у насъ противъ господскаго дома обыкновенно торчитъ висѣлица. Французъ замѣчалъ остроумно, что это, должно быть, злоупотребленіе, ибо смертная казнь въ Россіи уничтожена. Бѣдныя качели!...

Мужики Арбенина большею частью занимались рыбной ловлей. Во время бури жены и дочери рыбаковъ выбѣгали съ плачемъ на берегъ; въ жаркіе лѣтніе дни толпы крестьянскихъ дѣвокъ купались въ студѣныхъ струяхъ Волги; ихъ русыя косы мелькали надъ пѣнистой влагой; ихъ громкій смѣхъ раздавался далеко. Зимой горничныя дѣвушки приходили шить и вязать въ дѣтскую, во-первыхъ потому, что нянѣ Саши было поручено женское хозяйство, а во-вторыхъ, чтобъ потѣшать маленькаго барченка. Сашѣ было съ ними очень весело. Онѣ его ласкали и цѣловали непрерывъ, рассказывали ему сказки про волжскихъ разбойниковъ, и его воображеніе наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и понят-

ями противуобщественными. Онъ разлюбилъ игрушки и началъ мечтать. Шести лѣтъ онъ уже заглядывался на закатъ, усѣянный румяными облаками, и непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный мѣсяцъ свѣтилъ въ окно на его дѣтскую кроватку. Ему хотѣлось, чтобъ кто-нибудь его приласкалъ, поцѣловалъ, приголубилъ, но у старой няньки руки были такія жесткія! Отецъ имъ вовсе не занимался, хозяйничалъ и ѣздилъ на охоту. Саша былъ преизбалованный, пресвоевольный ребенокъ. Онъ семи лѣтъ умѣлъ уже прикрикнуть на непослушнаго лакея. Принявъ гордый видъ, онъ умѣлъ съ презрѣніемъ улыбнуться на низкую лестъ толстой ключницы. Между тѣмъ природная всѣмъ склонность къ разрушенію развивалась въ немъ необыкновенно. Въ саду онъ то-и-дѣло ломалъ кусты и срывалъ лучшіе цвѣты, усыпая ими дорожки. Онъ съ истиннымъ удовольствіемъ давилъ несчастную муху и радовался, когда брошенный имъ камень сбивалъ съ ногъ бѣдную курицу. Богъ знаетъ, какое направление принялъ бы его характеръ, если бъ не пришла на помощь корь—болѣзнь опасная въ его возрастѣ. Его спасли отъ смерти, но тяжелый недугъ оставилъ его

въ совершенномъ разслабленіи: онъ не могъ ходить, не могъ приподнять ложки. Цѣлые три года оставался онъ въ самомъ жалкомъ положеніи, и если бъ онъ не получилъ отъ природы желѣзнаго тѣлосложенія, то вѣрно бы отправился на тотъ свѣтъ. Болѣзнь эта имѣла важныя слѣдствія и странное вліяніе на умъ и характеръ Саши: онъ выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновенными забавами дѣтей, онъ началъ искать ихъ въ самомъ себѣ. Воображеніе стало для него новой игрушкой. Не даромъ учатъ дѣтей, что съ огнемъ играть не должно. Но увы! никто и не подозревалъ въ Сашѣ этого скрытаго огня, а между тѣмъ онъ обхватилъ все существо бѣднаго ребенка. Въ продолженіе мучительныхъ безсонницъ, задыхаясь между горячихъ подушекъ, онъ уже привыкалъ побѣждать страданья тѣла, увлекаясь грезами души. Онъ воображалъ себя волжскимъ разбойникомъ, среди синихъ и студѣныхъ волнъ, въ тѣни дремучихъ лѣсовъ, въ шумѣ битвъ, въ ночныхъ наѣздахъ при звукѣ пѣсенъ, подъ свистомъ волжской бури. Вѣроятно, что раннее развитіе умственныхъ способностей немало помѣшало его выздоровленію...



ПРИМѢЧАНІЯ КО II ТОМУ.

ДЕМОНЪ.

часть I.

Страница 4, строфа IV, строка 6. Въ изданіи 1857 года, выпущенномъ въ Карлсруэ, напечатано: *руины*.

Страница 4, строфа V, строка 1. Въ рукописи въ этомъ мѣстѣ зачеркнуты четыре стиха; тамъ жемъсто *широкій*, было прежде написано *крѣпкій*.

Страница 4, строфа VI, строка 4. Зурна—музыкальный инструментъ въ родѣ волынки. Прим. Лермонтова.

Страница 4, строфа VI, строка 11. Этимъ стихомъ кончалась строфа и начинались слѣдующіе стихи, потомъ зачеркнутые:

И вотъ невѣста молодая
Беретъ свой бубень расписной;
Въ ладони мѣрно ударяя,
Запѣли всѣ; одной рукой
Кружа его надъ головой,
Увлечена летучей пляской,
Она забыла міръ земной.
Ея уворною повязкой
Играетъ вѣтеръ. Какъ волна,
Нескромной думою полна,
Грудь подымается высоко;
Уста блѣднѣютъ и дрожатъ;
И жадной страсти полонъ взглядъ,
Какъ страсть палящій и глубокой.

Страница 5, строфа VII, строка 2.—Слово „Лучемъ“ было вычеркнуто, потомъ восстановлено точками.

Страница 5, строфа VIII, строка 1. Первые девять стиховъ восьмой строфы замѣнили семь стиховъ первоначально написанныхъ:

На ней былъ свѣтлый отпечатокъ
Небесной родины людей,
Величья прежняго остатокъ,
Отливъ померкнувшихъ лучей.
Въ ней было то *полуземное*,

Сочин. Лермонтова. т. II.

Что ищетъ сердце молодое
Въ пылу затѣйливой мечты.

Страница 5, строфа VIII, строка 3, вписана послѣ.

Страница 5, строфа VIII, строка 6. Слово *чуждал* перечеркнуто.

Страница 5, строфа VIII, строка 8. Въмѣсто: *и часто*, было сначала написано: *но рѣдко*.

Страница 6, строфа X, строка 18. Чуха—верхняя одежда съ откидными рукавами. Прим. Лермонтова.

Страница 6, строфа XI, строки 19 и 20. Стремлена у грузинъ въ родѣ башмаковъ изъ звонкаго желѣза. Прим. Лермонтова.

Папахъ—шапка въ родѣ эриванки. Прим. Лермонтова.

Страница 6, строфа XII, строка 2. Слово *на труны* зачеркнуто; было написано другое, котораго разобрать нельзя.

Страница 7, строфа XIII, строка 17. Въмѣсто словъ: *лихой ты*, было сперва написано *надежный*.

Страница 7, строфа XIV. Послѣ третьяго стиха, прежде былъ написанъ стихъ:

Кто блѣдный всадникъ у воротъ?
и за нимъ слѣдовалъ стихъ одиннадцатый и слѣдующіе.

Стихи отъ 5-го до 10-го включительно приписаны послѣ съ боку, а стихъ *кто блѣдный* и проч. зачеркнутъ.

часть II.

Страница 9, строфа 1. Въ изданіи „Демона“ 1857 года, послѣ первыхъ четырехъ стиховъ десять стиховъ текста были замѣнены слѣдующими:

Не буду я ни чьей женою—
Скажи моимъ ты женихамъ;
Супругъ мой ваять сырой землею,—
Другому сердца не отдамъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ трупъ его кровавый
Мы схоронили подъ горой,

Меня тревожить духъ лукавый
Неотразимою мечтой;
Въ тиши ночной меня смущаетъ
Толпа печальныхъ, странныхъ сновъ;
Молиться днемъ душа не можетъ:
Мысль далека отъ звука словъ;
Огонь по жиламъ пробѣгаетъ...
Я сохну, вяну день отъ дня.
Отецъ! душа моя страдаетъ...
Отецъ мой, пощади меня!

Стран. 10, строфа II, строка 17, вмѣсто *тихо* прежде было поставлено другое слово, котораго нельзя разобрать.

Стран. 10, строфа III, строка 7. Въ изд. 1857 г. Вмѣсто „грѣшницы“ *схимницы*, въ выносѣ же сказано: „прежде было: *грѣшницы*“.

Стран. 10, строфа V, строка 9. Вмѣсто *божественной*, было другое какое-то слово, котораго нельзя разобрать.

Стран. 10, строфа V, строка 13. Въ изданіи 1857 г. приведенъ слѣдующій вариантъ:

И трель живу ю соловья,
Сквозь шумъ далекаго ручья.
Порою, разбросавъ на плечи
Волну кудрей своихъ, она
Стоитъ безъ мысли, холодна...
И страстныя лепечутъ рѣчи
Ея дрожащія уста.
Желанье грудь ея волнуетъ,
И чудный призракъ ей рисуетъ,
Предъ нею въ сумракѣ, мечталъ

Стран. 10, строфа VI, строка 19. Вмѣсто этого стиха, прежде былъ написанъ слѣдующій:

Трепещетъ грудь, пылаютъ плечи.

Стран. 11, строфа VII, строка 17. Чингарь, чингара—родъ гитары. Прим. Лермонтова.

Стран. 12, строфа IX, строка 9. Въ изд. 1857 г. въ выносѣ сказано: „прежде было: *улыбнулся*“.

Стран. 12, строфа X, строка 2. Въ изд. 1857 г. въ выносѣ: „Прежде: *ужасна*“.

Стран. 12, строфа X, строка 36. Въ изданіи 1857 года вмѣсто семи стиховъ, начинающихся этимъ стихомъ, прежде были слѣдующіе:

Когда я въ первый разъ увидѣлъ,
Твой чудный, твой волшебный взоръ,
Я тайно вдругъ возненавидѣлъ
Мою свободу, какъ позоръ.
Своею властью недовольный,
Я позавидовалъ невольно
Неполнымъ радостямъ людей.

Страница 13, строка 21. Въ этомъ стихѣ послѣднія два слова измѣнены: кажется прежде было написано: *сильнѣе живутъ*, или что-то въ этомъ родѣ.

Стран. 13, 2 столб. строка 15. Въ изд. 1857 г. въ выносѣ: „прежде было: *сѣло*“.

Стран. 14, 1 столб. строка 11. Въ изданіи 1857 года, напечатаны слѣдующіе шесть стиховъ, не помѣщенные въ изданіи 1856 года, какъ неразобранные:

Какъ часто на вершинѣ лдяной,
Одинъ, межъ небомъ и землей,
Подъ кровомъ радуги огнистой,
Сидѣлъ я мрачный и нѣмой.
И бѣлогривыя мятели
Какъ львы у ногъ моихъ ревели.

Стран. 14, 1 столб. строка 35. Въ изд. 1857 г. въ выносѣ сказано: „передъ словомъ *надеждъ*, одно слово зачеркнуто“.

Послѣ предъидущаго монолога въ изданіи 1857 года внесены въ текстъ слѣдующіе стихи, не бывшіе въ изданіи 1856 г.

ТАМАРА.

Зачѣмъ мнѣ знать твои печали,
Зачѣмъ ты жалуешься мнѣ?
Ты согрѣшилъ...

ДЕМОНЪ.

Противъ тебя ли?

ТАМАРА.

Насъ могутъ слышать...

ДЕМОНЪ.

Мы одни.

ТАМАРА.

А Богъ?

ДЕМОНЪ.

На насъ не кинетъ взгляда:
Онъ занятъ небомъ, не землей!

ТАМАРА.

А наказанье? Муки ада?

ДЕМОНЪ.

Такъ что жъ? Ты будешь тамъ со мной!

Страница 14, столбецъ 2, строка 9. Вмѣсто *ты видишь*, было *конечно*.

Страница 14, столбецъ 2, строка 12. Вмѣсто *конечно*, было *надъ мною*.

Страница 14, столбецъ 2, строка 13. Вмѣсто *клянися мнѣ*, было *клянися теперь*.

Вмѣсто *стяжаній*, было *желаній*.

Страница 14, столбецъ 2, строка 16. Вмѣсто *больша*, было *въ міръ*.

Страница 15, столбецъ 1, строка 34. Вмѣсто *узнай*, было *повторь*.

Страница 15, столбецъ 1, строка 46. Вмѣсто *присуждена* прежде было написано *назначена*.

Страница 15, строфа XI, строка 2. Было: *Прижался* жаркими устами.

Страница 15, строфа XI, строка 13. Послѣ слова *ужасный* было *но минутный*; *мучительный* приписано послѣ.

Страница 16, строфа XIV, строка 10. Вмѣсто *Не намекало*, было *Не говорило*.

Страница 16, столб. 1, строка 1. Вмѣсто *толпой*, было *но вотъ*.

Страница 17, столб. 1, строка 25. Вмѣсто *по-смертное*, написано было *последнее*, но потомъ зачеркнуто.—Последніе четыре стиха этой строфы вписаны послѣ.

Страница 17, строфа XVI. Вмѣсто этой строфы, сначала была написана слѣдующая:

Едва послѣдній стихъ прочли
Надъ прахомъ дочери Гудала,
И горсть послѣдняя земли
О крышку гроба простучала,
И воскурился къ небесамъ
Кадильъ прощальныйъ фиміамъ;
Едва лишь за скалой сосѣдней,
Утихъ рыданій звукъ послѣдній,

Послѣдній шумъ людскихъ шаговъ,—
Сквозь дымку сѣрыхъ облаковъ
Спустился ангелъ легкокрылый,
И надъ покинутой могилой
Приникъ съ усердною мольбой
За душу грѣшницы молодой;
И въ то же время царь порока
Туда примчался издалека.
Страданій мрачная семья
Въ чертахъ недвижимыхъ таилась;
По слѣду крылъ его тащилась
Багровой молніи струя;
Когда жъ онъ предъ собой увидѣлъ
Все, что любилъ и ненавидѣлъ,
То шумно мимо промелькнулъ;
И, взоръ пронзительный кидая,
Посла потеряннаго рая
Улыбкой горькой упрекнулъ.

Страница 17, строфа XVI, строка 11. Вмѣсто *Къ нимъ* было *Къ ней*.

ПРИМѢЧАНІЯ КЪ „ДЕМОНУ“,

Составленные по рукописи В. Г. Бѣлинскаго.

Въ текстѣ „Демона“, переписанномъ рукою В. Г. Бѣлинскаго, встрѣчаются нѣкоторыя несходства съ текстомъ нашего изданія. Здѣсь помѣщаются всѣ эти несходства.

Ч А С Т Ь I.

Стран. 3, строфа 1. Послѣ стиха: „Счастливыи первенецъ творенья“, слѣдуютъ стихи:

Не зналъ ни *страха*, ни *сомнѣнья*,
Бесплодной муки *сжалѣнья*,

Стр. 3, строфа II начинается такъ:

Въ пустынѣ міра онъ блуждалъ
Давно безъ цѣли и пріюта;

Стр. 4, строфа III, послѣ 8 стиха измѣнены два слѣдующихъ стиха такъ:

Съ косматой гривой на *спинѣ*,
Ревѣль,—и *хищный* звѣрь и птица,

Стр. 4, въ IV строфѣ вмѣсто стиха „Пещеры, гдѣ палящимъ днемъ“:

Ущелья, гдѣ палящимъ днемъ

Въ той же строфѣ вмѣсто стиха „Какъ взоръ грузинки молодой“, стихъ:

Грузинки жарко молодой

Стр. 4, строфа VI. Послѣ стиха „Ужъ

спрятанъ солнца полукругъ.“, слѣдуютъ стихи:

И вотъ Тамара молодая
Беретъ свой бубень расписной;
Въ ладони мѣрно ударяя,
Запѣли всѣ: одной рукой
Кружа его надъ головой,
Увлечена летучей пляской,
Она забыла міръ земной;
Ея летучею повязкой
Играетъ вѣтеръ; какъ волна,
Нескромною думою полна,
Грудь подымается высоко,
Уста блѣднѣютъ и дрожатъ,
И жадной страсти полонъ взглядъ,
Какъ страсть палящій и глубокий!
То вдругъ помчатся легче птицы,
То остановится,—глядитъ,—
И влажный взоръ ся *горитъ*...

Далѣе какъ въ нашемъ текстѣ.

Стр. 5, строфа VII. Вмѣсто „Своей жемчужною росой“:

Своей *алмазною* росой

Стр. 5, строфа VIII. Вмѣсто: „Отчизна, чуждая по нынѣ,“ —

Отчизна, чуждая *до нынѣ*,

Стр. 5, та же строфа. Въмѣсто: „И частотайное сомнѣнье Темнило свѣтлыя черты;“ и т. д.—

И часто *мрачныя сомнѣнья*
Темнили свѣтлыя черты;
Но были всѣ ея движенья
Такъ стройны, полны выраженья,
Такъ полны чудной простоты,—
Что еслибъ *врагъ небесъ и рая...*

Далѣе какъ въ нашемъ текстѣ.

Стр. 5, строфа IX. Въмѣсто: „О прежнемъ счастья, цѣпью длинной,“—

О *прошломъ* счастья цѣпью длинной,

Вмѣсто: „Онъ съ новой грустью сталъ знакомъ,“—

Онъ съ новой *думой* сталъ знакомъ,

Вмѣсто: „Забутъ? — Забвенья не далъ Богъ,“—

Забутъ?... Забвенья не далъ Богъ

Въ рукописи написано *забытъ*, но потомъ *тъ* перечеркнуто и сверху написано надъ *тъ*—*ль*. При окончаніи строфы въ рукописи нѣтъ строки точекъ.

Стр. 5, строфа X. Въмѣсто: Ремнемъ затянуть ловкій станъ;“—

Ремнемъ затянуть *стройный* станъ,

Стр. 6, строфа XI. Въ рукописи Бѣлинскаго эта строфа оканчивается стихомъ: „Уста невесты цаловалъ...“ XII строфа его рукописи начинается непосредственно за послѣдующимъ стихомъ и оканчивается также, какъ въ нашемъ текстѣ.

Стр. 6, строфа XII. Въмѣсто: „Затихло все... Тѣснясь толпой“ и т. д.

И *тихло все*. Тѣснясь, толпой,
Верблюды съ ужасомъ смотрѣли
На трупы всадниковъ; порой
Ихъ колокольчики звенѣли.

Дальше какъ въ нашемъ текстѣ.

Стр. 7, та же строфа. Въмѣсто: „Покрыты длинными чадрами“—

Покрыты *бѣлыми* чадрами

Та же строфа. Въмѣсто: „Не разъ усталый пѣшеходъ“—

Порой, усталый пѣшеходъ...

Стр. 7, строфа XIII. Въмѣсто: „Скакунъ лихой, ты господина“.

Скакунъ *надежный* господина

Стр. 8, строфа XV. Въмѣсто: „Небесный свѣтъ теперь ласкаетъ“—

Безмерный свѣтъ теперь ласкаетъ

Та же строфа. Въмѣсто: „Ты объ нихъ лишь вспомни,“—

Ты о нихъ лишь *вспомни*,

Стр. 9, строфа XIV. Въмѣсто: „Какъ будто онъ объ ней жалѣлъ.“—

Какъ будто-*бы* онъ о ней жалѣлъ...

ЧАСТЬ II.

Стр. 9, строфа 1. Послѣ стиха: „Уже не первые они.“ Десять стиховъ нашего текста замѣнены слѣдующими:

Не буду я ничьей женою,
Скажи моимъ ты женихамъ;
Супругъ мой взять сырой землею,
Другому сердце не отдамъ.
Съ тѣхъ поръ, какъ трупъ его кровавый
Мы схоронили подъ горой,
Меня смущаетъ духъ лукавый
Неотразимой мечтой.
Въ тиши ночей меня тревожитъ
Толпа печальныхъ, странныхъ сновъ;
Молиться днемъ душа не можетъ:
Мысль далека отъ звука словъ...
Огонь по жиламъ пробѣгаетъ,
Я сохну, вяну день-отъ-дня...
Отецъ! Душа моя страдаетъ,
Отецъ мой, пощади меня.

Стр. 10, строфа II. Послѣдніе два стиха этой строфы замѣнены слѣдующими:

Онъ такъ смотрѣлъ, онъ такъ манилъ,
Онъ, мнилось, такъ несчастенъ былъ...

При этомъ сдѣлана ссылка на первый вариантъ, помѣщенный въ концѣ тетради. Вариантъ этихъ двухъ стиховъ тождественъ съ тѣми же стихами нашего текста.

Стр. 10, строфа III. Въмѣсто: „Когда ложилась ночь въ ущельи,“—

Когда ложилась *тѣнь* въ ущельи,

Стр. 10, строфа IV. Въмѣсто: „Зовутъ къ молитвѣ музезины,“—

Зовутъ къ молитвѣ *музины*

Вмѣсто: „И въ часъ заката одѣвались“—

А въ часъ заката одѣвались

Стр. 10, строфа V; эта строфа въ рукописи Бѣлинскаго начинается слѣдующими стихами:

Но Демонъ огненнымъ дыханьемъ
Тамары душу запятналъ,
И божій міръ своимъ блистаньемъ
Восторга въ ней не пробуждалъ.
Страсть безотчетная какъ тѣню

Жизнь осынила передъ ней;
И стало все предлогъ мученью...

При последнемъ стихѣ сдѣлана ссылка на второй вариантъ; въ этомъ вариантѣ написаны тѣ самые шесть стиховъ, которыми начинается V строфа нашего текста.

Въ той же строфѣ послѣ стиха: „Тревожить путника вниманье“, вставлены слѣдующіе два стиха:

Сквозь шумъ далекаго ручья
И трель живую соловья;

Въ той же строфѣ, вмѣсто: „Прикованный въ пещерѣ стонетъ!“—

Прикованный къ пещерѣ стонетъ!

Стр. 10, строфа VI, послѣ стиха: „А сердце молится ему“, идутъ слѣдующіе стихи:

Порою, разбросавъ на плечи
Волну кудрей своихъ, она
Стоитъ безъ мысли, холодна,
И странныя лепечуть рѣчи
Ея дрожащія уста;
Желанье грудь ея волнуетъ,
И чудный призракъ все рисуетъ
Предъ нею въ сумракѣ мечта...

Далѣе какъ въ нашемъ текстѣ, кромѣ стиха „Пылаютъ грудь ея и плечи“, который замѣненъ стихомъ:

Трепещетъ грудь, пылаютъ плечи,

Стр. 11, строфа VII. Вмѣсто: „Чингара стройное бряцанье“—

Чанурии стройное бряцанье

Стр. 12, строфа VIII. Вмѣсто: „Хранитель грѣшницы прекрасной,“—

Хранитель схишницъ прекрасной,

Стр. 12, строфы VIII и IX въ рукописи соединены въ одну VIII строфу.

Стр. 12, строфа X. Вмѣсто: „Но молви, кто ты?... Отвѣчай!...“

Но молви—кто же ты?—Отвѣчай...

Стр. 12, строфа X. Послѣ стиха: „Я рабъ твой, я тебя люблю!“ слѣдующіе стихи замѣнены такъ:

Когда я въ первый разъ увидѣлъ
Твой чудный, твой волшебный взоръ,—
Я тайно вдругъ возненавидѣлъ
Мою свободу, какъ позоръ.
Своею властью недовольный,
Я позавидовалъ невольню
Неполной радости людской;

Далѣе какъ въ нашемъ текстѣ, кромѣ стиха „Зашевелилася какъ змѣя“, который замѣненъ стихомъ:

Вдругъ шевельнулася какъ змѣя...

При этомъ стихѣ сдѣлана ссылка на третій, слѣдующій вариантъ:

Въ безкровномъ сердцѣ лучъ нежданный
Опять затеплила земля,
И грусть на днѣ старинной раны
Зашевелилася какъ змѣя.

Въ той же строфѣ, вмѣсто: „Молиться... гибельной отравой“—

Молиться... Тайною отравой

Вмѣсто: „И этой вѣчною борьбой“ (стр. 13, столб. 2-й, 5 стр. сверху).

И этой долною борьбой.

Въ той же строфѣ послѣ стиха: „Богъ вѣсть откуда и куда!“ (Стр. 13, 2-й столб., 8-я строка снизу) вмѣсто 21 стиха нашего текста написаны слѣдующіе:

Какъ часто на вершинѣ льдистой;
Одианъ межъ небомъ и землей,
Подъ кровомъ радуги огнистой,
Сидѣлъ я, мрачный и нѣмой,—
И бѣлогривыя мятели,
Какъ лвы, у ногъ моихъ ревѣли;
Какъ часто, подымая прахъ,
Въ борьбѣ съ могучимъ ураганомъ,
Одѣтый молніей и туманомъ,....

Далѣе какъ въ нашемъ текстѣ.

Стр. 14, строфа X. Вмѣсто: „Надеждъ погубившихъ и страстей“.

Мечтаній прежнихъ и страстей

Въ той же строфѣ, къ стиху: „Ктобъ ни былъ ты, мой другъ случайный“, въ рукописи сдѣлана ссылка на четвертый слѣдующій вариантъ:

Тамара.

Зачѣмъ мнѣ знать твои печали,
Зачѣмъ ты жалуешься мнѣ?
Ты согрѣшилъ...

Демонъ.

Противъ тебя-ли!...

Тамара.

Насъ могутъ слышать.

Демонъ.

Мы однѣ.

Тамара.

А Богъ?...

Демонъ.

На насъ не кинетъ взгляда:

Онъ занятъ небомъ, не землей!

Тамара.

А наказанье—муки ада?...

Демонъ.

Такъ что-жь?—Ты будешь тамъ со мной!
Мы, дѣти вольнаго эфира,
Тебя возьмемъ въ свои края,
И будешь ты царицей міра,
Подруга вѣчная моя.

Въ той же строфѣ (стр. 14, 1 столб., 2-я строка снизу) вмѣсто: „Но если ты, обманъ тая....“

Но если ты... обманъ... то я...

Тамъ же вмѣсто: „На что душа тебѣ моя?“

На что тебѣ душа моя?

Тамъ же (стр. 14, 2 столб., 6-я строка сверху) послѣ стиха: „Не смято смертнаго рукой!..“ выпущены послѣдующіе шесть стиховъ и сдѣлана ссылка на пятый вариантъ:

Нѣтъ! Дай мнѣ клятву роковую...
Скажи,—ты видишь—я тоскую,
Ты видишь жалкія мечты...
Невольно страхъ въ душѣ ласкаешь...
Но ты все понялъ, ты все знаешь—
И сжалишься конечно ты...

(Было выпущено за безмыслицею. NB.) Примѣч. В. Г. Бѣлинскаго.

Стр. 14, строфа X (монологъ Демона, 8-я строка). Вмѣсто: „И вновь грозящую разлукой!“—

И вновь *грозящую* разлукой,

Стр. 15, строфа X. столб. 1, строка 16. Вмѣсто: „Подруга первая моя;“—

Подруга *вѣчная* моя!

Въ той же строфѣ, послѣ стиха: „И своеправія мечты?“ написаны слѣдующіе стихи:

И пусть другія бѣ утѣшались
Ничтожнымъ жребіемъ своимъ;
Ихъ думы неба не касались,
Міръ лучший недоступенъ имъ...
Нѣтъ, не тебѣ, моей подругѣ,
Злой предназначено судьбой,

Далѣе какъ у насъ въ текстѣ.

Стр. 15, строфа XI, при стихѣ: „Соблазна полными рѣчами“ сдѣлана ссылка на шестой вариантъ:

И лести сладкими рѣчами.

Въ той же строфѣ вмѣсто: „Мучительный, ужасный крикъ“.

Мучительный, но слабый крикъ.

Стр. 16, строфа XII. Вмѣсто: „И возлѣ каменъ дѣвы юной“—

И *подъ окошкомъ* дѣвы юной

Вмѣсто: „Крестить дрожащими перстами“—

Крестить дрожащими *руками*

Въ рукописи этой строфой оканчивается вторая часть поэмы и XIII строфа нашего текста составляетъ въ рукописи 1 строфу 3-й части.

Стр. 16, строфа XIII. Вмѣсто: „Но кто бѣ, о небо! не сказалъ,“—

И кто бѣ, взглянувши, не сказалъ,

Стран. 16, столб. 2, строка 2 сверху. Послѣ стиха „Ничто не въ силахъ ужъ сорвать!“ Въ рукописи помѣщены слѣдующіе стихи:

И все, гдѣ пылкой жизни сила
Такъ внятно чувствамъ говорила,
Теперь одинъ ничтожный прахъ!...
Улыбка странная застыла,
Едва мелькнувши на устахъ;
Но темень, какъ сама могила,
Печальный смыслъ улыбки той:
Что въ ней?—Насмѣшка ль надъ судьбой,
Непобѣдимое ль сомнѣнье?
Иль къ жизни хладное презрѣнье?
Иль съ небомъ горлая вражда?

При послѣднемъ стихѣ сдѣлана ссылка на седьмой вариантъ, помѣщенный въ концѣ тетради, который въ нашемъ текстѣ начинается стихомъ: „Улыбка странная застыла“ (стихъ 17, строфа XIV); вариантъ продолжается до конца XIV строфы нашего текста.

Затѣмъ текстъ въ тетради Бѣлинскаго продолжается такимъ образомъ:

Какъ знать?—для свѣта навсегда
Утрачено ея значенье...
Она невольно манитъ взоръ,
Какъ древней надписи узоръ,
Гдѣ можетъ быть, подъ буквой странной,
Таится повѣсть прежнихъ лѣтъ,
Символь премудрости туманной,
Глубокихъ думъ забытый слѣдъ...
И долго бѣдной жертвы тлѣнья
Не трогалъ ангелъ разрушенья;
И ничего въ ея лицѣ
Не намекало о концѣ
Въ пылу страстей и упоенья;
И были всѣ ея черты
Исполнены той красоты,
Какъ мраморъ, чуждой выраженъ,
Лишенной чувства и ума,
Таинственной, какъ смерть сама.

Затѣмъ въ тетради начинается новая строфа стихомъ: *Ни разу не былъ въ дни веселя и кончается стихомъ—Какъ бы прощается съ землею.* Слѣдующая строфа начинается такъ: *Ужъ собрались въ печальный путь друзья, соседи*

и родные.... и затѣмъ продолжается какъ въ нашемъ текстѣ XV строфы послѣ первыхъ двухъ стиховъ.

Стр. 17. Послѣ послѣдняго стиха XV строфы нашего текста слѣдуетъ IV строфа 3-й части рукописи; строфа начинается такъ:

Едва на жесткую постель
Тамару съ пѣньемъ опустили,
Вдругъ тучи гору обложили
И разыгралася мятель;
И громче хищнаго шакала
Она завывала въ небесахъ,
И бѣлымъ прахомъ заметала
Недавно ввѣренный ей прахъ;
И только за скалой соседней
Утихъ моления звукъ послѣдній,
Послѣдній шумъ людскихъ шаговъ,—
Сквозь дымку сѣрыхъ облаковъ
Спустился ангелъ легкокрылый,
И надъ покинутой могилой
Приникъ, съ усердною мольбой
За душу грѣшницы молодой...
И въ то же время царь порока
Туда примчался съ быстротой
Въ снѣгахъ рожденнаго потока.
Страданій мрачная семья
Въ чертахъ недвижимыхъ таилась;
По слѣду крылъ его тащилась
Багровой молніи струя...
Когда жъ онъ предъ собой увидѣлъ
Все, что любилъ и ненавидѣлъ,
То шумно мимо промелькнулъ,—
И взоръ пронзительный кидая,
Посла потеряннаго рая
Улыбкой горькой упрекнулъ...

.....

Послѣ строки точекъ сдѣлана ссылка на девятый вариантъ, который состоитъ изъ всей XVI строфы нашего текста съ слѣдующими измѣненіями:

Вмѣсто: „И слѣдъ проступка и страданья“—

Слѣдъ преступленья и страданья.

Вмѣсто: „Онъ говоритъ: „она моя!“—

Онъ говорилъ: „она моя!“

Стр. 18, столб. 2-й, стихъ 15. Вмѣсто: „Забутый въ полѣ давнихъ сѣчь,“—

Забутый въ полѣ *розовыхъ сѣчь,*

Послѣ 23-го стиха: „Но церковь на крутой вершинѣ,“ сдѣлана ссылка на десятый и послѣдній вариантъ:

И тамъ, гдѣ кости ихъ истлѣли,
На рубежѣ зубчатыхъ льдовъ,
Гуляютъ нынѣ лишь мятели

Да стаи вольныхъ облаковъ...

Скала угрюмаго Кавбеса

Добычу жадно сторожить,

И вѣчный ропотъ челоуѣка

Ихъ вѣчный миръ не возмутитъ!...

Стр. 19, столб. 1, строка 5. Вмѣсто: „Плоскими снѣжными покрыты.“—

Плоскими снѣжными покрыты.

Вмѣсто: „Услыша вѣсти въ отдаленнѣ О чудномъ храмѣ въ той странѣ,“—

Услыша вѣсти въ отдаленнѣ

О чудномъ храмѣ, къ той странѣ

Съ востока, облака однѣ

Слѣшать и т. д.

Этимъ оканчиваются всѣ несходства нашего текста съ рукописью В. Г. Бѣлинскаго. Въ заключеніи, считаемъ не лишнимъ сдѣлать небольшое описаніе его тетради, въ которой помѣщенъ текстъ „Демона“. Тетрадь въ четвертую долю обыкновеннаго листа старинной толстой, писчей бумаги, она переплетена въ зеленый кожаный переплетъ съ золотымъ тисненіемъ, на верхней крышкѣ выбито золотыми буквами:

Демонъ.

Поэма Лермонтова.

Внизу:

М. О.

Кромѣ бѣлаго листа муарной бумаги, которымъ подклеенъ переплетъ и заглавнаго листа, въ тетради 30 листовъ текста перенумерованныхъ рукою Бѣлинскаго. Послѣ текста идутъ 4 листа вариантовъ, которыхъ первый листъ озаглавленъ такъ:

ВАРИАНТЫ.

Такъ-какъ поэма эта была авторомъ переправляема, то въ различныхъ спискахъ, ходящихъ по рукамъ, нѣкоторые мѣста въ ней болѣе или менѣе разнятся между собою. Здѣсь прилагаются всѣ такіа мѣста поэмы.

Всѣ варианты указаны нами въ ономъ мѣстѣ.

Свѣрять П. Канчаловскій.

М Ц Ы Р И.

Страница 20. При заглавіи выноска: *Мцъри*—на Грузинскомъ языкѣ значить „неслужащій монахъ, нѣчто въ родѣ „послушника“.

Къ страницѣ 22, послѣ стиха: „И съ каждымъ днемъ примѣтно явля“. На первомъ листѣ рукописи были написаны и потомъ зачеркнуты слѣдующіе стихи:

И близокъ сталъ его конецъ.
Тогда одинъ святой чернецъ
Уговорилъ его сорвать
Молчанья гордую печать.
И сердце, полное тоской,
Предъ смертью высказалъ больной.
Старикъ, качая головой,
Ему внималъ; понять не могъ
Онъ этихъ жалобъ и тревогъ,
И рѣчью холодною не разъ
Онъ прерывалъ его расказъ.

Страница 22, строфа III. Послѣ 8-го стиха были написаны и потомъ зачеркнуты:

И если бъ могъ я эту грудь
Передъ тобою распахнуть
Ты не нашелъ бы въ ней слѣдовъ
Пороковъ низкихъ и грѣховъ;
Одна лишь страсть владѣла мной
Ее предъ небомъ и землей...

Страница 22, строфа III. Послѣ 12-го стиха было написано и потомъ зачеркнуто:

Когда-бъ я былъ хоть вольный звѣрь,
Я не томился-бъ какъ теперь
Души болѣзнію нѣмой,
Я бъ отыскалъ врага и бой
Я бъ разомъ умеръ не грустя
Судьбѣ покорный, какъ дитя.

Страница 22, строфа III, послѣ 13-го стиха зачеркнуты въ рукописи:

Я зналъ одну лишь только страсть
Ее мучительная власть—
Мой умъ тревожила и жгла;
И думы первыя авала
Отъ мрака келій и молитвъ
Въ тотъ чудный міръ страстей и битвъ
Подъ тѣнь заоблачной скалы,
Гдѣ люди вольны какъ орлы.
И эту страсть въ груди моей
Вскормилъ я въ тишинѣ ночей;
Она терзала грудь мою
Но я безумный все люблю
Подругу дикую мою;
Она какъ червь во мнѣ жила...

Страница 22, IV строфа. Послѣ 14 стиха зачеркнутое начало строфы:

Не знаю, гдѣ я былъ рождень,
Порой лишь помню я какъ сонъ
Громады горъ, крутыхъ, сѣдыхъ
И тучи спящія на нихъ.
Я слышалъ люди говорятъ,
Что я тобой ребенкомъ взятъ,
И выросъ въ сумрачныхъ стѣнахъ,
Душой дитя, судьбой монахъ;

Безъ игръ и ласки, одинокъ
Гровой оторванный листокъ!
Никто мнѣ здѣсь не могъ сказать....

Страница 23, въ V строфѣ, послѣ 17-го стиха:

Ты много жилъ, и въ столько лѣтъ
Успѣлъ узнать людей и свѣтъ—
И много горестей и бѣдъ
Перенесла душа твоя.
Но, Боже, вѣрно такъ какъ я
Ты не страдалъ...

Страница 29, строфа XX. Послѣ десятого стиха первоначально было написано:

Тотъ край казался мнѣ знакомъ...
И странно, страшно стало мнѣ!
Вотъ снова мѣрный въ тишинѣ
Раздался звукъ... и въ этотъ разъ
Я понималъ смыслъ его тотчасъ:
То былъ предвѣстникъ похоронъ—
Большаго колокола звонъ.
И слушалъ я безъ думъ, безъ силъ;
Казалось, ввонъ тотъ выходилъ
Изъ сердца, будто кто-нибудь
Желѣзомъ ударялъ мнѣ въ грудь.
И вдругъ унылой чередой
Дни дѣтства встали предо мной.
И вспомнилъ я вѣтъ темный храмъ
И вдоль по треснувшимъ стѣнамъ
Изображенія святыхъ
Твоей земли. Какъ взоры ихъ
Слѣдили медленно за мной
Овъ угровой мрачной и нѣмой!
А на рѣшотчатомъ окнѣ
Играло солнце въ вышинѣ...
О, какъ туда хотѣлось мнѣ,
Отъ мрака келій и молитвъ,
Въ тотъ чудный міръ страстей и битвъ...
Я слезы горькія глоталъ
И дѣтскій голосъ мой дрожалъ,
Когда я пѣлъ хвалу Тому,
Кто на землѣ мнѣ одному
Далъ вмѣсто родины—тюрьму...

Послѣдніе 18 стиховъ варианта были замѣнены другими, тоже потомъ перечеркнутыми:

О Боже! думалъ я: зачѣмъ
Ты далъ мнѣ то, что далъ Ты всѣмъ—
И крѣпость силъ, и мысли власть,
Желанья, молодость и страсть.
Зачѣмъ Ты умъ наполнилъ мой
Неутолимою тоской
По дикой волѣ?... почему
Ты на землѣ мнѣ одному
Далъ вмѣсто родины тюрьму?
Ты не хотѣлъ меня спасти!

Ты мнѣ желаннаго пути
 Не указалъ во тмѣ ночной...
 И нынѣ я—какъ волкъ ручной...
 Такъ я ропталъ. То былъ, старицъ,
 Отчаянья безумный крикъ,
 Страданьемъ вынужденный стонъ...
 Скажи? Вѣдь буду я прощенъ?...
 Я былъ обманутъ въ первый разъ!
 До сей минуты каждый часъ
 Надежду темную дарилъ:
 Молился я, и ждалъ, и жилъ.

Страница 29, въ XX строфѣ, послѣ 31-го стиха
 въ рукописи зачеркнуты слѣдующіе стихи.

Въ туманный ранній утра часъ
 Меня будилъ онъ столько разъ
 И уносилъ живые сны
 Про горы милой стороны,
 Про ласки близкихъ и родныхъ,
 Про вольность дикуу степей.

Страница 29, XXI строфа до окончательнаго ея
 исправленія начиналась такъ:

О, я узналъ тотъ вѣщій звонъ!
 Къ нему былъ съ дѣтства приученъ
 Мой слухъ.—И понялъ я тогда,
 Что мнѣ на родину слѣда
 Не проложить ужъ никогда!
 И быстро духомъ я упалъ.
 Мнѣ стало холодно... Кинжалъ,
 Вонзаясь въ сердце, говорятъ,
 Такъ въ жилы разливаетъ хладъ...
 Я презиралъ себя. Я былъ
 Для слезъ и бѣшенства безъ силъ;
 Я съ темнымъ ужасомъ въ тотъ мигъ
 Свое ничтожество постигъ,
 И задушилъ въ груди моей
 Слѣды надежды и страстей,
 Какъ душивъ оскорбленный змѣй
 Своихъ трепещущихъ дѣтей...
 Скажи, я слабою душой
 Не заслужилъ ли жребій свой?...

Стран. 29, строфа XXI, вмѣсто 8-го стиха было
 сперва написано: „То жаръ напрасный и пустой,“

Стран. 30, строфа XXIII, послѣ 30-го стиха
 слѣдуютъ два зачеркнутыхъ:

Я въ чудный міръ былъ унесенъ.
 О, если бѣ смерть—такой же сонъ!

Стр. 31, послѣ пѣсни были написаны и потомъ
 зачеркнуты, слѣдующіе стихи:

Но скоро вихоръ, новыхъ грезъ
 Далече мысль мою унесъ,
 И предъ собой увидѣлъ я
 Большую степь. Ея края
 Тонули въ пасмурной дали,

И облака по небу шли
 Косматой, бурною толпой,
 Съ невыразимой быстротой:
 Въ пустынѣ мчится не быстрѣй
 Табунъ испуганныхъ коней.
 И вотъ я слышу: степь гудитъ.
 Какъ будто тысяча копытъ
 О землю ударялись вдругъ.
 Гляжу съ боязнію вокругъ,
 И вижу—кто-то на конѣ,
 Взивая прахъ, летитъ ко мнѣ;
 За нимъ другой, и цѣлый рядъ...
 Ихъ бранный чуденъ былъ нарядъ:
 На каждомъ былъ стальной шлемъ
 Обернуть бѣлымъ башлыкомъ,
 И подъ кольчугою надѣтъ
 На каждомъ красный былъ бешметъ.
 Сверкали гордо ихъ глаза!
 И съ дикимъ свистомъ, какъ гроза,
 Они промчались близъ меня.
 И каждый, наклонясь съ коня,
 Кидалъ презрѣнья полный взглядъ
 На мой монашескій нарядъ,
 И съ громкимъ смѣхомъ исчезалъ...
 Томимъ стыдомъ, и чуть дышалъ,
 На сердцѣ былъ тоски свинецъ...
 Послѣдній ѣхалъ мой отецъ...
 И вотъ кипучаго коня,
 Онъ осадилъ противъ меня,
 И, тихо приподнявъ башлыкъ,
 Открылъ знакомый блѣдный ликъ.
 Осенней ночи былъ грустнѣй
 Недвижный взоръ его очей,
 Онъ улыбался—но жестоко
 Въ его улыбкѣ былъ упрекъ!
 И сталъ онъ звать меня съ собой,
 Маня могучею рукой;
 Но я какъ будто бы приросъ
 Къ сырой землѣ: безъ думъ, безъ слезъ,
 Безъ чувствъ, безъ воли я стоялъ,
 И ничего не отвѣчалъ.

БѢГЛЕЦЪ.

Стр. 33, столб. 1, строка 11. Вар. Безъ гнѣва
 вытерпѣвъ упрекъ,

БОЯРИНЪ ОРША.

Стр. 48, столб. 1, строка 7. Вар. Къ калиткѣ
 сторожъ подошелъ.

Стр. 50, столб. 1, строка 21. Вар. Тоской неволь-
 ности томимъ,

Стр. 50 столб. 1, строка 25. Вар. Придумалъ я свой
 край родной

Стр. 50, столб. 2, послѣ 11-й строки Точки замѣняютъ зачеркнутые стихи:

Свѣчи дрожащій красный лучъ,
Какъ будто молнія изъ тучъ,
Прервавъ любви послѣдній пылъ,
Всѣ чувства ихъ оледѣниль...
Она при немъ, безъ думъ, безъ силъ
Едва успѣла отомкнуть
Уста отъ устъ, отъ груди грудь.

Стр. 50 столб. 2, строка 22. Вар. И тяжело на цвѣтной коверъ.

Стр. 51, столб. 1, строка 11. Вар. И шумъ шаговъ умолкъ вдали.

Стр. 53, столб. 1, строка 24. Вар. Укоръ готовый на устахъ.

Стр. 53, столб. 1, строка 26. Вар. И такъ онъ плѣннику вѣшалъ:

Стр. 53, столб. 1, строка 33. Вар.

И казнь назначилъ судъ людской,
Но въ небесахъ Судія другой:
Предъ нимъ съ раскаяньемъ теперъ
Ты мнѣ дѣла свои повѣрь!

Стр. 53, столбецъ 2, строка 25. Вар. Мое мученье, мой поворотъ!..

Стр. 54, столб. 1, строка 29. Вар. Взглянуть на пышныя поля.

Стр. 55, столб. 2, строка 22. Послѣ этого стиха, въ подлинникѣ зачеркнуты слѣдующіе два стиха.

И жертва ненасытныхъ,
Онъ разрушается гнѣтъ.

Затѣмъ точки въ подлинникѣ. Вмѣсто нихъ прежде было написано:

Безчувственно внималъ онъ имъ,
Какъ мертвый образъ божества
Внимаетъ кликамъ торжества:
Въ толпѣ шумящей тихъ, одинъ
Онъ все—и рабъ и властелинъ,
Безъ чувства самъ—предметъ страстей;
И выше всѣхъ—и всѣхъ слабѣй!
Такъ бурей брошенъ на песокъ и пр.

Стр. 56, столб. 1. Послѣ 18 строки были написаны, и потомъ зачеркнуты, слѣдующіе стихи:

Досада, любопытство, страхъ
Видѣлись въ постныхъ ихъ чертахъ.
Прошла обѣдня въ суетахъ,

Стр. 56, столб. 2, строка 23. Было еще написано:

Когда жъ бояринъ все узналъ,
Онъ поблѣднѣлъ, затрепеталъ,
Глаза его покрылись мглой;
Не зря, смотрѣлъ онъ предъ собой,
Рука на небо поднялась;

Отъ синихъ губъ оторвалась
Не рѣчь, но звукъ—ужасный звукъ,
Отзывъ еще сильнѣйшихъ мукъ,
Невыятный, какъ далекій громъ...
Три дня, три ночи цѣлый домъ
Дрожалъ, встрѣчая мрачный взоръ.
— Они прошли—но съ этихъ поръ
Какъ будто отъ рожденія нѣмъ,
Онъ слова не сказалъ ни съ кѣмъ...

Стр. 57, столб. 1, строка 9. Вар. Точить ножи, сѣдлать коней;

Стр. 59, столб. 1, строка 5. Вар. И это блѣдное чело.

Стр. 60, столб. 2, строка 19. Вар. Вотъ свѣтъ блеснулъ его очамъ.

Стр. 61, столб. 1, строка 1. Вар. И ткани научились сѣдыхъ.

Стр. 61, столб. 1. Послѣ 12 строки были написаны и потомъ зачеркнуты:

Исчезнуть радъ бы онъ съ земли,
Но муки жизньъ ему спасли.
Одежды длинной лоскутокъ
Который сгнилъ, увялъ, поблекъ,
Громаду... и пр.

Стр. 61, столб. 2. Послѣ 11 строки были написаны и потомъ зачеркнуты слѣдующіе стихи:

Жить и страдать теперь на что?
Она ничто—и все ничто!
Передъ людьми преступникъ я.
Меня казнить судьба моя,
Но о спасеніи не молюсь,
Небесъ и ада не боюсь!
Пусть вѣчно мучусь—не бѣда,
Вѣдь съ ней не встрѣчусь никогда!

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ.

Къ стр. 99. Мы жалуемся только на недо-разумѣніе публики, не на журналы: они почти всѣ были болѣе чѣмъ благосклонны къ нашей книгѣ, всѣ, кромѣ одного, который какъ бы нарочно въ своей критикѣ смѣшивалъ имя сочинителя съ героемъ его повѣсти, вѣроятно, надѣясь на то, что его читать никто не будетъ, но хотя личность этого журнала и служить ему достаточной защитой, однако все-таки, прочитавъ грубую и неприличную брань—на душѣ остается неприятое чувство, какъ послѣ встрѣчи съ пьянымъ на улицѣ. И такъ, если уже нужно у насъ для всякой басни нравоученіе, то пускай тѣ, которые хотятъ его узнать, прочтутъ слѣдующее: Герой нашего времени, милостивые государи мои, точно портретъ, но не одного чело-

вѣка—это типъ. Вы знаете, что такое типъ? Я васъ похваляю. Вы мнѣ опять скажете, что человѣкъ не можетъ быть такъ дуренъ; а я вамъ скажу, что вы всѣ таковы; иные немного лучше, многіе гораздо хуже. Если вы вѣрили возможности существованія Мельмота, Вампира и др., отчего же вы не вѣрите въ дѣйствительность Печорина? Если вы извиняли вымыслы“ и пр....

Стр. 125, столб. 1, строка 21. ...вѣрный признак рѣшительности въ характерѣ. Если вѣрить тому, что каждый человѣкъ имѣетъ сходство съ какимъ нибудь животнымъ, то, конечно, Печорина можно было бы сравнить съ тигромъ. Сильный и гибкій, ласковый или мрачный, великодушный или жестокий, смотря по внушенію минуты; всегда готовый на долгую борьбу; иногда обращенный въ бѣгство, но неспособный покориться; нескучающій одинъ, въ пустынѣ съ самимъ собою, а въ обществѣ себѣ подобныхъ требующій безпрекословной покорности. По крайней мѣрѣ такимъ, казалось мнѣ, долженъ былъ быть его характеръ фивическій, то-есть тотъ, который зависитъ отъ нашихъ нервовъ и отъ болѣе или менѣе скорого обращенія крови. Душа — другое дѣло! Душа или покоряется природнымъ склонностямъ, или борется съ ними, или побѣждаетъ ихъ. Отъ этого—злодѣи, толпа, и люди высокой добродѣтели. Въ этомъ отношеніи Печоринъ принадлежалъ къ толпѣ, и если онъ не сталъ ни злодѣемъ, ни святымъ, то это, я увѣренъ, отъ лѣни. Впрочемъ, это мои собственные замѣчанія, основанныя на моихъ же наблюденіяхъ, и я вовсе не хочу васъ ваставить вѣровать въ нихъ слѣпо.

Стр. 129. Я пересмотрѣлъ записки Печорина и замѣтилъ по нѣкоторымъ мѣстамъ, что онъ готовилъ ихъ къ печати, безъ чего, конечно, я не рѣшился бы употребить во зло довѣренность штабсъ-капитана. Въ самомъ дѣлѣ, Печоринъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обращается къ читателямъ; вы это сами увидите, если то, что вы объ немъ знаете, не отбilo у васъ охоты узнать его короче. На тетрадяхъ не было выставлено чиселъ. Нѣкоторыя, вѣроятно, потеряны, потому что между ними нѣтъ большой связи, а я, не смотря на дурной примѣръ, поданный намъ нѣкоторыми журналистами, никакъ не рѣшился поправлять или доканчивать чужое произведеніе, за что, конечно, онъ самъ на меня сердиться не будетъ.

Стр. 141, 2-й столбецъ, послѣ девятой строки. Но я теперь увѣренъ, что, при первомъ случаѣ, она спроситъ, кто я и почему я здѣсь, на Кавказѣ. Ей, вѣроятно, расскажутъ исторію дуэли, и особенно ея причину, которая здѣсь нѣ-

которымъ извѣстна, и тогда... Вотъ у меня будетъ удивительное средство бѣсноты Грушницкаго.

Стр. 172, 1 столбецъ, 5 строка снизу вмѣсто точекъ: Какъ нарочно, я всегда являлся къ пятому акту ихъ драмы; невидимая сила кидала меня посреди ихъ надеждъ, намѣреній и связей, и все разрывалось, все погибало отъ моего прикосновенія... Моя любовь никому не принесла счастья...

Стр. 173, 1 столбецъ, 3 строка сверху, вмѣсто точекъ: Неужели шотландскому барду на томъ свѣтѣ платятъ за каждую минуту, которую дарить его книга....

Стр. 178, столбецъ 2, строка 6: Я его храню какъ сокровище. Стыдно признаться! я нахожу утѣшеніе въ мысли, что былъ любимъ какъ многіе на этомъ свѣтѣ.

Стр. 179, столбецъ 1, послѣ 11 строки сверху было прежде: „Прощай, мой бѣдный другъ; я рада, что не увидимся передъ разставаньемъ. Я знаю, ты нынче долженъ драться съ Грушницкимъ, но увѣрена также, что ты останешься живъ. Мое сердце иначе бы мнѣ скавало противное. Прощай! Не все ли равно? Во всякомъ случаѣ, я тебя теряю на вѣки! Мери тебя любить... Если что нибудь доброе проснется въ душѣ твоей, женись на ней, она тебя любить... Ребенокъ! Вчера она мнѣ рассказала все. Мнѣ стало жаль ее. Она думаетъ, смотря на твое поведеніе, что ты ее любишь, потому что защитилъ такъ горячо ея честь. Она думаетъ, что ты хотѣлъ испытать ее.... Я ей ничего не скавала, поцѣловала ее и благословила!... О, не погуби ее!.. Одной довольна! Я не стану тебя увѣрять, что не переживу нашей разлуки... къ чему?... Однѣ лишніе, горькіе, прощальныя поцѣлуи не обогатятъ твоихъ воспоминаній, а мнѣ послѣ него труднѣе съ тобой разстаться... Вѣра.

Р. S. Одно меня мучаетъ: что, если ты въ самомъ дѣлѣ любишь Мери? О, не правда ли, этого не можетъ быть!...

Стр. 180, столб. 1 стр. 9-я. Когда ночная роса и горный вѣтеръ освѣжили мою горящую голову и мысли пришли въ обычный порядокъ...

Съ этихъ словъ и до словъ: противъ дула пистолета (14-я строка) въ первоначальномъ видѣ написано слѣдующее:

Я сталъ припоминать выраженія письма Вѣры, старался объяснить себѣ причины, побудившія ее къ этой странной, трагической выходкѣ.

Вотъ послѣдовательный порядокъ моихъ размышленій:

1) Если она меня любитъ, то зачѣмъ же такъ скоро уѣхала и не простаясь, не полюбопытствовавъ даже узнать, убить я или нѣтъ? Не вѣрю я